

CARDINAL POINTS

СТОРОНЫ СВЕТА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗБРАННОЕ

9-10



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
“СТОРОНЫ СВЕТА”. ИЗБРАННОЕ №№9-10

www.stosvet.net
info@stosvet.net

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Вульф

РЕДАКТОР
Ирина Машинская

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Владимир Гандельсман
Кирилл Кобрин
Лиля Панн
Слава Полищук
Игорь Фролов
Эдуард Хвилковский
Роберт Чандлер

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЛОЖКА
Сергея Самсонова

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА

Владимир Репин
sales@stosvet.net

ОТДЕЛ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

Всеволод Ермолаев
info@stosvet.net

Купить этот и другие номера журнала,
а также книги, выпущенные
Библиотекой журнала Стороны Света,
можно по адресу www.stosvet.net.
Заказы на книгоиздание: books@stosvet.net.
Разработка интернет-сайтов: web@stosvet.net.



СТОРОНЫ СВЕТА

СТОСВЕТ
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА 'СТОРОНЫ СВЕТА'
НЬЮ-ЙОРК
2009

Нина Горланова

ПОВЕСТЬ ЖУРНАЛА ЖИВАГО

Приснилось, что в России XXI века не только цензура, но и снова миллионы стукачей — кишмя кишат. Поэтому народ придумал имя... «Оттепель»! В память о хрущевской оттепели. Я вижу, как в свидетельстве о рождении вписывают: «Оттепель Ивановна»...

— Мама, лучшие торты — в ресторане «Живаго».

— Что?

— К твоему юбилею.

— Мне сейчас не до этого — сосед пинает нашу дверь...

Дальше так: всю ночь он носился по кухне и падал, как Железный Феликс, сотрясая дом.

— Тихо падали

Груши с ясеня.

Ни хрена себе.

Ни хрена себе... (мой муж — со стоном).

В семь часов утра в дверь позвонили. А нынче говорят: незваный гость хуже налогового инспектора.

Открываем — милиция! Нетерпеливо ждем: сержант и лейтенант сейчас объяснят причину столь раннего визита.

— Нина Викторовна? Вячеслав Иванович? Приказано пинками доставить вас в отделение!

Я сначала посмотрела на них, как на динозавров.

Но, резко проснувшись, подошла на шаг поближе и внимательнее вгляделась в эти два уральских лица — во взглядах у них клешни какие-то словно.

— А кто вам приказал?

— Начальник и приказал.

В эти минуты неизменный спутник беды — тик — проявился у меня возле левого глаза.

— Сейчас мы напишем об этом в Интернете!

— Только попробуйте! Доказать не сможете, и за клевету мы вас!.. — И они вцепились в меня клешнями-взглядами.

И все же разум, бедный мой воитель, не пошатнулся. Я сказала Славе:

— Спокойствие! Эти два милиционера — результат отплытия философского парохода.

— Кого угодно запинают.

Кто-то сомневается?

— Быстрее собирайтесь! — закричал лейтенант. — У нас еще настоящие преступники есть — некогда с вами возиться.

— Если мы — ненастоящие, то почему вы к нам в семь утра с пинками заявились?! — вопия, я уже начинала собирать аптечку — на случай, если сейчас они меня силой увезут.

Вечером — 22 августа 2007 года — мы легли спать людьми, а проснулись 23-го числа — мелкими букашками, которых нужно пинками гнать в отделение.

К тикку моему уже добавился треск — в левой части головы. Я разбудила Агнию, младшую дочь, в то же время названивала старшим детям:

— Не отключайте телефоны! Что тут творится...

Лейтенант в форме и сержант в штатском в форме наслаждались своей властью. Они не могли сдерживаться да и не хотели — скалились, сколько хотели. Еще бы — я пью горстями таблетки, а муж с тростью мечется, как раненая птица, пытаюсь вызвонить по мобильнику хоть какого-нибудь знакомого юриста. Агния на Яндексе читает уголовно-процессуальный кодекс:

— Если по гражданскому, то должны были ЗАРАНЕЕ вручить копию постановления о возбуждении...

— Почему нет копии? — спрашиваю.

Не сразу сержант в штатском нашелся:

— Вы же... не открывали дверь и не брали повестки!

— А вам открыли? Почему? Потому, что не знали ничего...

Господи, ну чего я хочу от этих милиционеров?! Ведь Ты их уже наказал — лишил совести.

Так началась эта история.

Заведено на меня уголовное дело по части 1, ст. 130!

Якобы я оскорбила мать соседа по кухне...

Но все же наоборот! Она нас оскорбляет день за днем уже десять лет! «Нищеёбы» — это еще самое невинное ее ругательство (и не советуй мне, компьютер, писать: «нищее бы»!).

В первую же ночь, как сосед переехал в нашу квартиру (почему ночью нужно переезжать — не дать людям выспаться?!), часа в четыре утра я попросила:

— Дайте нам отдохнуть!

Сосед ответил:

— Я тебе живот разрежу — ты будешь мне ноги целовать и просить прощения (вот мечты его: чтоб он животы разрезал, а люди ему ноги целовали!)

Конечно, мы — в потемки тычась — много раз искали спасения. Союз российских писателей просил губернатора помочь нам с квартирой. Но пришел отказ. Я писала в министерство культуры — напрасно.

В ПЕН-клуб рано звонить (в Москве 5 утра). Пока могу связаться с пермскими правозащитниками. Затем — зажечь свечу, взять молитвослов. Где про нападение врагов? Вот — во время бедствия и нападения врагов! Псалом 90. Да, это бедствие, это нападение врагов! Как же случилось, что часть народа переродилась во врагов?! Когда родина-мать превратилась в родину-жуть?!

Агния и Слава звонят уже из милиции:

- Мама, дознаватель нас второй час не принимает.
- То в семь утра пинками хотели доставить, то в десять утра не принимают.
- Не плачь, нам сейчас нужны будут силы!

Вдруг позвонил незнакомый человек и сказал:

- Нина Викторовна?
- Да.
- У меня для вас важная инфа!
- Про уголовное дело?
- Это — чистая заказуха. Причем — с самого верху!
- С самого верху: от мэра или губера? Надеюсь, что не из Кремля...

Пи-пи-пи — положили трубку.

Кто и откуда — таинственный доброжелатель? И что значит — с самого верху? Почему? Или — для чего? Над левым ухом у меня словно работает маленький трактор. Горсть таблеток полетела в мой организм. Организм Обезьянович — как у нас было принято шутить еще вчера. Как резко стало понятно, что эти, с большой догоги, провели черту между вчера и сегодня.

И вдруг я вспомнила! Недавно мне Люда говорила: слышала по местному радио, что Горланова собирается уезжать из Перми (я еще подумала: не намекают ли).

И тогда же к нам приходил незнакомый якобы коллекционер (общедворянское лицо) — посмотреть мои картины.

— Только ранние! — несколько раз повторил он.

Если искусствовед в штатском, то все понятно (я за ранними полезу на антресоль, а он в это время может прослушку установить или что-то еще сделать — только я никуда не полезла, так как раннее все раздарено).

В десять часов позвонили с радио «Эхо Перми», затем — звонки из разных агентств и редакций. Кто-то из журналистов спросил:

— Нина Викторовна, вы завели страницу в «Живом Журна-

ле»?

— Да, совсем недавно я начала писать в своем блоге Журнала ЖИВАГО...

— Идет зачистка — перед выборами. В Перми не на вас первую завели дело!

— Опять всех в стойло. Понятно.

А на самом деле — ничего не понимаю. Я-то тут при чем?!

Уже давным-давно перестала я интересоваться политикой. Губернатора не знаю в лицо.

Все же занесла в записную книжку детскими буквами: «СУДЯТ ЗА БЛОГ ЖУРНАЛА ЖИВАГО?»

И тут краем глаза я зацепила лежащее на столе письмо от Сутягина. «ЗА ПЕРЕПИСКУ С СУТЯГИНЫМ?» Я переписывалась с ним, потому что меня попросила Наташа Горбаневская. Да, та самая, что выходила на Красную площадь с плакатом «За нашу и вашу свободу!» в 1968 году.

В Живой Журнал я пришла, потому что не могла год сбить температуру! Если близок конец, то пусть читателям мои рассказы останутся. Муж качал головой:

— Надо и о детях подумать — они могли бы получать гонорары... А так — кто будет тебя печатать после смерти, если все бесплатно висит в интернете.

— Но читатель важнее денег.

Тревожит меня треск в левой половине головы!

Но сейчас есть кое-что поважнее: вспомнить, что я вчера написала на последней странице Журнала Живаго!

А вот не вспоминается... Пересохло русло памяти.

Открываю свой ЖЖ.. Так... здесь жалобы на «Скорую помощь» — не могли ночью дозвониться. Ну да — рванул камень из почки и Слава пытался вызвать «скорую», а там не брали трубку. Агния посоветовала обратиться в платную «Скорую».

«Можно накопить какое-то количество денег и один раз вызвать платную, но — куда же идут деньги от нацпроекта «Здоровохранение»?!» — написала я в своем ЖЖ.

Неужели за эти слова хотели нас запинать?

Кстати, пора написать в Живом Журнале про милиционеров, которые в «светлый» свой визит сделали меня ближе к Наташе Горбаневской и другим пострадавшим!

Буковки, собирайтесь же в слова! В голове словно кто-то вершит — трудно собраться... уф, написала: «приказано пинками доставить».

Еще в ЖЖ ставят «метки».
Музыка: гудок философского парохода?

Забегая вперед, расскажу: через 3 дня на улице ко мне подошел «бомж» и тихо сказал: «Закрывать уголовное дело стоит 300 тысяч рублей».

Возможно, это вообще левый кто-то — просто прочел в Живом Журнале мою запись и захотел срубить капусту.

А у меня тридцать рублей до пенсии. И это весь наш оборотный, он же постоянный, капитал.

Позвонила университетская преподавательница:

— Ниночка! По «Эху Перми» я услышала... вот что хочу сказать... у меня умер муж. Это трагедия. А у вас драма.

Звонок от Рудика:

— Слушай: суд, уголовное дело — все сюжет для повести.

Да, да, все, что плохо для жизни — хорошо для повести. Но хочется других сюжетов...

Сам Рудик был осужден за антисоветскую деятельность. В молодости. И то в лагере у него пошла горлом кровь... а я в 60 лет и с моими болезнями ничего не вынесу — ни тюрьмы, ни лагеря.

В тот же день на мою страницу в Живом Журнале пришли анонимы: «Подставьте вторую щеку»...

Все-таки, до чего наши люди бескорыстны!

Милиционерам хотя бы приказали пинать. А этим скорее всего никто ничего не приказывал. Как же их много — целые стаи! «Продолжайте плакать и молиться, молиться и плакать...». Им ответил мой друг Аркадий Бурштейн:

«Это Вы кому говорите? Горлановой с Букуром? ... Видите ли, Нина со Славой не только молятся и плачут, они еще пишут прозу, а то, что перед хамством и произволом беззащитны, так это не повод для сарказма. Стыдно, дружок».

24 августа.

С утра не работает Интернет.

Хожу по дому: то инициалы на картине поставлю, то выброшу в мусорный пакет тапки старые, которые еще можно было разочек предложить гостю на мой юбилей (какой теперь юбилей!).

Дискету с новыми записями... вообще вынесла на улицу и спрятала в душе старого дерева — никому об этом не сказав.

Если останусь жива — достану.

А нет — так пусть родные мои отдыхают, чтоб на них уголовные дела не заводили.

Полный дом гостей к вечеру. Хорошо, что у нас есть настойка сабельника в большом количестве.

— Опять сидим и дрожим под кусточками, под болотными прячемся кочками.

— Нина, ты не пьешь — вот и дрожишь.

— Кто закусил письмом Михалкова? (Слава ищет письмо — для прокуратуры).

— Нина, выпей немного! Спирт — это в первую очередь транквилизатор.

— Неизвестно, что есть спирт в первую очередь — все в первую очередь...

— А почки?

— Нина, перестань упиваться своей трезвостью.

Вот я вернулась из прокуратуры. Там долго не брали жалобу, но я не ушла, пока не взяли. Теперь — дам телеграммы генпрокурору и в Госдуму.

...А как не хотели принимать телеграммы: мол, можно брать только от тех, кто уполномочен посылать! Я почему-то сказала так:

— А я уже посылала.

— Ну, если посылали...

Раньше бы я сказала: «А покажите мне документ, где написано, что нельзя». Но сейчас — осторожность и еще раз осторожность! Для себя я шлю эти телеграммы. Чтоб душа жива оставалась — бьюсь за свое достоинство.

По пути зашла в «Цветы». Не насмотреться! Видела вазу необычную, хорошо бы ее в натюрморте изобразить... если буду жива.

Приходили дочери — принесли овощи и котлеты, и я вдруг поела, хотя все эти дни вообще не вспоминала о пище.

Из дома почти не выхожу. Если отрубили Интернет, значит, и меня, тиком изъеденную, могут... что? Могут все...

Теперь о том событии, по которому возбуждено уголовное дело.

В Журнальном зале уже год как вывешивают раз в месяц мой дневник писателя. Но раз Интернет отключен, я скопирую этот отрывок прямо из компьютера.

«6 апреля 2007 года. Всю ночь сосед на нас напал, Славе повредил правую руку, я ужасно испугалась, так страшно закричала! (искусственный сустав может повредиться, если защищаться). Аг-

ния вызвала милицию, соседа увезли... К утру Славина рука очень распухла, но он выпил «Дону», и мы стали собираться на регистрацию брака Антона. Я спросила — с рыданиями — Агнию: «Неужели святая Ксения и святой Александр Свирский не знают, что вы едете к ним, и не помогут нам сейчас?»

— Они помогли, мама! Милиция ночью приехала, а ведь много лет не приезжала.

Агния с нами собиралась идти на бракосочетание брата, но... не может — после такой ночи. Мы ее долго крестили, затем побрели в ЗАГС, вообще ничего не соображая (а заранее ведь обдумывали, что надеть, как поздравить).

... Сейчас уже домой пришли и читаем беспрерывно «Да воскреснет Бог». Пишу о регистрации. Купили мы букет. Наша Анечка и Антон выглядели очень торжественно! Перед ними женился слепой на полуслепой женщине. Жених все время держался за невесту. У них такие светлые лица! Мне стало стыдно за свое уныние... Регистраторша была та же, что регистрировала Дашу с Мишей. И вот она по-прежнему нежно спрашивает невесту: «Вы согласны?», а потом грозно: «ТЕПЕРЬ ПРОШУ ОТВЕТИТЬ ЖЕНИХА!» (Видимо, были отказы со стороны жениха).

После мы заглянули в кафе «Хлебное место», которое рядом с ЗАГСом. Тост Славы: «На иврите «жениться» означает нести, а «выйти замуж» — быть несомой. Так выпьем же за то, чтобы муж не устал нести жену, а ей — чтобы было удобно на его руках!»

Домой заходим, а сосед ждет в коридоре! И как даст Славе по очкам (новым, между прочим)!.. Слава положил его на пол в коридоре и держал руки за спиной, а мы с Агнией связывали — варежками внука — на резинке. Мать соседа тут пришла, открыла дверь и закричала: «Мальчик мой! Что они с тобой сделали!!! Бандиты! Трое на одного!». А «мальчик» столько сделал другим плохого, что я два раза повеситься пыталась из-за него! Мать его тут побежала к соседям: «Вот что с моим сыночком сделали!» Но соседка в бигуди вышла и закричала: «Уходи, у меня ребенок спит!» От такого крика любой ребенок мог слегка сдвинуться умом! Мать нашего соседа не уходила, соседка в бигуди — шарах! — ударила своей железной дверью по нашей, замок — бедный — отлетел! И тут приехали милиционеры».

Конец цитаты.

Наше заявление на соседа — по этому дню — судья Кривдина (как я ее мысленно называю) нам вернула. И это уже не в первый раз.

Сейчас снова — к несчастному августу.

25 августа 2007 года.

Еще не могу привыкнуть, что меня судят! Звонил Аркадий Бурштейн: в Живом Журнале волнуются, почему я не выхожу на связь. Мы сказали, что отрублен Интернет.

Сосед напился, ходит голый — при виде нас хрипит от ненависти:

— Живы еще?!

26 августа.

Проснулась в 5 утра. Интернет вчера так и не подключили. Третий день без. И лгут, лгут! Всякий раз — разное. То нет заявки (хотя десять раз заявку я делала), то — не от них зависит, а от энергетиков. То — что уже нашли в подъезде неполадки, то — в целом районе — теперь устраняют. И так далее.

И вдруг! Да, вдруг! Приходит к нам смущенный мастер:

— Я применил один новый прибор... в общем, интернет в порядке.

Мы думали, что он смущается, потому что намекает на взятку. А денег нет.

Решили картину в подарок предложить — отказался.

И вскоре выяснилось, в чем дело. Сервер Журнала Живаго — в Америке. Аркадий Бурштейн (он в Израиле) написал о том, что у нас отрубили Интернет.

И из США позвонили в Пермь.

На моей странице Журнала Живаго более ста человек написали сочувственные слова! Оживаю.

Агния каждое утро встает со мной в пять утра, на флэшку пишем жалобы и ходатайства. Затем она идет в компьютерный клуб — распечатывает там на принтере. Снова к нам — я подписываю. И после этого она едет в районную прокуратуру, в краевую...

— Как Агния тебе помогает, — говорит Слава.

— Кому?

— Тебе.

— Что?

— Тебе Агния много помогает.

— А разве это не наша общая беда? Напали на меня — невиновную. Но могли и на тебя. А мы — муж и жена. Я думала, что — одно целое...

Да мало ли чего я думала до суда... Господи, держи, держи меня за руку!

Хотела уйти из дома, но Слава сказал:

— Ты что-то путаешь, здесь ведь не Ясная Поляна.

– Мама, а Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского», был обвинен в убийстве!

– Он был богат, и его обвинили, чтоб разорить на взятках.

По «Эху» передают: четырнадцать миллионов преступлений в России не раскрыто. Все понятно! В Перми, например, кто будет преступников ловить, если столько сил брошено на Горланову: и на лестнице ждут несколько человек, и в больнице подкарауливают...

С утра высыпала чайную заварку в... тарелку с мюсли. Уже совершенно не в себе.

Пришел из kiosка сосед, злобно на нас на кухне набросился: не ходите сюда! Но кухня общая, нам тоже нужно мыть посуду, готовить. Слава ответил:

– Нам еще пока пропуск не нужен, чтоб на кухню выйти.

Видимо, рыскал-рыскал человек, ничего выпить не нашел. А кто виноват? Горланова с Букуром. ТВ каждую минуту внушает: ты и этого автомобиля достоин, и того! А у него на водку не хватает – кто-то за это должен ответить!

И опять у меня подскочила температура. Пить суммамед? Тогда после него что?

Поместила в Живом Журнале открытое письмо министру культуры РФ: «Уважаемый господин министр! Я Вам писала год назад и просила помочь нам с мужем – двум писателям – получить социальную квартиру, но вы ответили, что не занимаетесь такими проблемами. Между тем квартира для писателя – это также и его рабочее место. Занимаетесь же Вы проблемами театра (здания) и т.д.

И вот – на меня заведено уголовное дело, хотя я ни в чем не виновата. Наш сосед по кухне, агрессивный и пьющий, бьет нас... Милиция обычно на стороне соседа (мы догадываемся, почему, но у нас нет доказательств). Только однажды его оштрафовали на 500 рублей.

Мы публикуемся ежегодно во всех толстых журналах, у нас много премий: мы были в финале премии Букера, имеем премии «Нового мира», «Знамени», «Октября», есть областная премия и т.д. И все это для славы Перми, для России.

Обо мне снят фильм «Горланова, или Дом со всеми неудобствами», который нынче демонстрировался на Международном кинофестивале в Москве.

Мы переведены на 7 языков, но только гонораров нет – не платят ни китайцы, ни французы, ни чехи. А те гонорары, которые мы получаем, позволяют нынче купить лишь один квадратный миллиметр жилплощади.

Прошу Вас помочь нам!»

Абротова выступила на моей странице в Живом Журнале: «Нина, состояние твоей психики не позволяет тебе сейчас не только принимать правильные решения, но даже изложить проблему на бумаге. Попробуй поискать среди знакомых психолога, который снимет это состояние».

Сейчас запишут в сумасшедшие и будут пиариться за мой счет все, кому не лень.

Налетели целые стаи! «Врача, врача!» (ко мне, значит).

Да загляните хотя бы в один мой рассказ: там первое слово связано с последним, второе — с предпоследним... а еще — мой выбор, монтаж, идея, подтекст, юмор, ритм, тайна, любовь! Сумасшедший никогда не напишет такого.

Одна все же не обзывает, а совет дает: «Журналистов не надо звать, надо юристов искать».

Юристов!!!

А кто дело уголовное завел незаконно?

Флористы, что ли?!!

«Господа любители писать мне гадости! Я понимаю, что не все вы работаете Иудами, что многие искренне тоскуют по несвободе, по рабству. Но уже пора и становиться людьми! Чтоб дети-внуки вас не стыдились».

Вам нужно меня выдавить из Живого Журнала — все понимают вашу задачу. Но когда я уйду, придут за вами. Таков закон».

Мне кто-то написал мне в Ж Ж: «Любой независимый человек вызывает у властей ярость. Рабы любят рабов».

Но одна моя родственница считает, что все проще — так ПОВЫШАЮТ ПРОЦЕНТ РАСКРЫВАЕМОСТИ... Назначили меня преступницей — преследуют, и процент повышается.

В полночь длинный-длинный звонок в дверь. Я — с надеждой:

— Может, все-таки, не милиция?

Не милиция! К соседу. Мы попытались разбудить его, но он был так пьян, что только начал икать, не проснувшись.

И полчаса мы сидели — дрожали: будут ломать дверь или нет? (уж бывало — ломали). Вдруг грохот. Выдохнули: наверно, собутыльник заснул и упал.

И только на следующее утро обнаружилась в замочной скважине записка для соседа: «Найден ваш паспорт. Верну за вознагра-

жение. Мой номер телефона...»

Все звонят и говорят: Абраторова в своем блоге обзывает тебя, Нина, с утра до ночи. Но я пока не читаю. Лишние тревоги мне к чему.

Однако прошло два дня, и все советуют читать.

— Если ей дали задание подготовить общественность к тому, что Горланову пора в дурдом...

— То лучше быть в курсе и вовремя спрятаться?

Подбор людей в ее блоге поражает! Это где же таких столько можно набрать! Одна пишет: «Горланова похожа на мою хитрую мать, которая лишь прикидывается больной, а сама кого хочешь сожрет».

Что будет с этой бедной девочкой, которая нарушает заповедь «чти отца и мать»?

Ну, я уж не цитирую здесь тех, что матерно меня оскорбляли, это просто выше моего понимания (или ниже?).

Вспомнилось, как перед путчем в 1991 году я получила в подарок... бесплатную путевку в санаторий! Так меня удалили из Перми. А сейчас — перед выборами — хотят активных людей удалить из Журнала Живаго.

Тогда мне дали бесплатную путевку в санаторий. А нынче и уголовное дело, и в блоге Абраторовой советуют ей съесть Горланову «с .овном».

Еще счастье, что я сейчас верующая и понимаю: это просто бесы, бесы налетели. А то бы с ума сошла от таких мерзостей.

Помню, в бытность атеисткой, не могла спокойно предательство друга пережить (Выражников выступил против выхода моей книги на литобъединении — сказал, что я пишу непроходимую прозу). Я думала тогда, что умру...

Прошу о помощи критика Е. Е.. И он написал в Живом журнале: «Уважайте достойную жизнь, которая прожита в глухом углу России и посвящена целиком словесности...».

Абраторова ответила: «А вы что — Нобелевский комитет? Мы такое .овно на эту номинацию не выбирали».

— Нина, такие запахи в блоге этой феминистки! Только обижаться не стоит. Они по заданию это делают.

— Да, я знаю: обижаться не стоит.

Клянемся? Клянемся...

С тех пор, как Андропов понял в Венгрии в 56-м, что восста-

ние может начаться с кружка молодых литераторов, он приказал следить за молодыми.

В Перми это и был мой круг. Как предупреждала меня Комина: «За вашим салоном следят».

Потом — во время перестройки — два стукача приходили и каялись.

Недавно прочла, что в 1992 году покаялся чекист, свидетель покушения на Солженицына (А. И. хотели убить уколом рицина, но он три месяца пролежал пластом, «покрытый волдырями размером с блюдце» и выжил, к счастью.)

Как мы узнавали, что это стукачи?

А очень просто — они помогали нам не тогда, когда нам нужно, а когда им поручили. Бывало, что мы сами попросим у них помощи (еще не подозревая, кто они), а они прямо говорят: «Не можем сейчас помочь»...

И вот снова — звонят и напрашиваются в гости те, кто не был двадцать лет...

Для нас каждый гость — это особая пульсация, которая несется в виде слов, чувств. А вчера пришла Б., и кажется, что образовалась воронка, которая втягивает в себя все сказанное. Ох, если бы только втягивала. Ну, а если ОНИ перерабатывают, чтобы звучало опаснее?

Я написала в Живом Журнале: «Булгаков за всю жизнь собрал двести ругательных рецензий, а я в блоге Абратовой за неделю могу больше собрать!»

Ну, тут в ее блоге еще более озверели:

«Горлановой нужно помогать не рыбой, а удочкой, а если нет сил удочку держать влагалищем... (дальше я не читала).

После этого я удалила свой блог.

Прощайте.

— Нина, подруга Абратовой сразу написала: «По сообщению агентства ДОЛБОЁБ: Горланова совершила виртуальное самоубийство — закрыла свой ЖЖ».

— Такой уровень — без слова с корнем «ёб» шагу не делают.

Как говорил один пятилетний мальчик: «Каждый раз от этого слова Богородица с Престола падает» (мы писали об этом в повести).

Позвонил из ПЕН-клуба Саша Ткаченко: в мою защиту он отправил факс губернатору и генералу — с подписями Вознесенско-

го и Битова.

А мне — для суда — послал по почте с печатью.

30 августа.

И в семь утра снова милиция! Вчера им сказал Слава: сделайте запрос о справке в поликлинику — Нина болеет. Но они — к моей двери!

Давая интервью радио «Свобода», я сказала:

— А может, это мне за то, что мало призывала Россию к покаянию...

Абратова-то еще не может успокоиться. Мало ей было пиара за мой счет?

Как говорит Слава:

— Вы уже кончайте там — материала на пьесу у нас поверх головы!

Но конца пока не видно. Она пишет так: «Общались с Ниной в прошлом году в Твери, бойня с соседями была уже тогда. Кидание грязи вслед удочеренной девочке тоже происходит лет 15».

Послушайте, ребята, в Твери у меня так подскочило давление, что я пробормотала свой доклад и буквально отключилась (головой на стол). Все феминистки могут это подтвердить.

И в чем наша вина перед соседями? Нас бьют, да, но мы нико-го не трогаем пальцем.

А уж приемную Наташу любили так, что я две недели не кормила грудью Агнию, когда родная тетка переманила девочку! Молоко пропало...

Аноним очередной пошел войной: «Нет сил смотреть, как хорошие люди озаботились, почему Горланова живет в коммуналке».

Какой сердечный: пожалел людей — они зря озаботились!

Чего ж испугался поставить свою фамилию? Почерк выдает с головой.

В общем, по всему видно, что проект у них масштабнее, чем я предполагала. Сидят много дяденек и голову ломают, как добить Горланову, которая всю жизнь писала о любви к родной Перми.

Аркадий Бурштейн, мой ангел, опять отвечает этому озабоченному:

«Забавно. Можно уточнить?»

1. Вы это своими ушами слышали, как Нина сказала: «Следующий мэр придет, и у него квартиру получу!»

2. Про то, что Горланова остается в коммуналке, так как у нее там много тем для творчества, она тоже Вам лично поведала?

Ну, просто спать не смогу от любопытства, пока не услышу ответов на эти вопросы.

А вообще-то, да простят меня читатели этого блога, чувствуется исходящий от поста jukka5 запах некоего амбрэ».

Света Василенко написала мне про «jukka 5»:

«Все в каких-то карнавальных нечеловеческих звериных масках, под какими-то паролями и псевдонимами, набросились на тебя вместо того, чтобы действительно помочь. Что-то в этом есть бандитское и бесовское, — набрасываться всей стаей на беззащитного человека, — впереди этой стаи атаманша-бандерша... оформляет идеологический заказ нашей высшей политической власти: бей слабого, бей бедного, бей талантливого, — и да здравствует серость. Нина, не поддавайся на эту провокацию черни. Все настоящие люди с тобой...». Я позвонила Свете:

— Они хотят запугать нас всех на моем примере, чтобы впредь молчали — «антилегенты».

— Нам уже пора вспомнить диссидентов, их опыт борьбы, — может, пришло уже такое время, а мы еще думаем, что свободны. 37 год ведь тоже наступил не сразу.

31 августа 2007 г.

Просыпаюсь каждый день и вспоминаю, что я под судом. Потом вытираю слезы и начинаю молиться.

Ушла из Живого Журнала, а вчера милиция опять ломилась два раза. Ничего не понимаю.

Кричат, что у них постановление о приводе меня в отделение. А там что со мной сделают, когда так ненавидят!

Сегодня Абратова цитирует мое интервью радио «Свобода»: сосед дал Славе по очкам, а Слава его скрутил (ну нельзя Славе с искусственным суставом драться, поэтому скрутил руки соседа за спиной).

И это она комментирует так: взаимная склока.

— Что же завтра она напишет в умоисступленьях? Падать вниз можно ведь долго.

— У Бога бесконечно количество сил, а у дьявола — нет, — Слава, предлагая мне нитроминт.

Аркадий Бурштейн написал: все мерзко — началась самая увлекательная из охот — охота на человека.

Пришли друзья с вином — поддержать. И тут звонят из «Пермского обозревателя»: нужно срочно два абзаца из Абратовой — в номер!

Я зашла в ее блог. А там уже бряцают голой силой зла! Якобы я (я!!!) учила ее технологии выбивания квартир, и приемная дочь

тоже была взята мною... для квартиры!

Но мы получили комнату для приемной дочери через шесть лет! И записали ее на Наташу! И в ТОТ ДЕНЬ тетя увела девочку.

Именно эту комнату купил наш сосед, который заедает нашу жизнь буквально: хрум-хрум.

И сил уже нет это объяснять в сотый раз. Нет моих сил. Слов тоже нет. Нет слов.

Пермь продолжает травлю. На сайте наших газет анонимы злобно обзывают меня.

Тогда я разослала по пермским газетам открытое письмо пермякам:

«Дорогие пермяки! Уже более 40 лет я живу с вами в одном городе. В Перми я вышла замуж, родила 4 детей, взяла еще приемную девочку и любила-растила ее 6 лет. Когда ее выставка должна была поехать в Париж, мы выхлопотали комнату этой девочке (картины должны где-то сохнуть). И тотчас появилась тетя, пообещала ей джинсы, и девочка ушла от нас. Джинсы в 1984 году были — как сейчас Мерседес...

Скоро мне исполняется 60 лет. У меня нет никаких званий, ветеранских удостоверений, наград, прибавок к пенсии. Я живу, как вы, как все. И даже иногда труднее, потому что сосед по коммунальной квартире очень агрессивен, не дает спать и работать, а после того, как муж стал инвалидом, сосед нас регулярно избивает.

В советское время меня не печатали, потому что НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРАВДУ ПУБЛИКОВАТЬ. А сейчас каждый месяц какой-нибудь толстый журнал публикует мой или наш с мужем рассказ, но время другое — гонорары символические...

Однако я все равно продолжала писать и не обижаться. И продолжала я любить родную Пермь, вместе с которой пережила советские годы — без мяса-чая-шампуня, вместе испугалась смертельно «атомной тревоги» в 87 году, а так же — разрушения дамбы в 89 году! Я написала обо всех этих тяжелых событиях рассказы, повести, романы. Я издала 8 книг в лучших издательствах страны. Я раздарила вам 40 тысяч картин за последние 15 лет.

ТАК КАК ЖЕ ТАК СЛУЧИЛОСЬ, что вы начали писать на разных сайтах обо мне такие грязные вещи? И все анонимно! Или под псевдонимами. Придумывая немислимые оскорбления! Пока еще только не назвали меня педофилкой и извращенкой, а все остальное уж выдумали!

Я целый год живу с температурой, анализы плохие. И поэто-му решила объясниться с вами.

Дело в том, что я всегда боялась закончить, как Пастернак после Нобелевской истории: он говорил, что пошлость его победила.

А я всегда думала, что не поддамся. Но вот уже неделю как я 20 раз в день говорю, что пошлость меня победила.

Многие из вас на ОДНОГО ребенка получили 4-х-комнатные квартиры! А мне на 4 детей дали один раз однокомнатную и один раз двухкомнатную, так это уж такой ведь острый повод затравить меня!

Да, когда женился сын и родился внук, работать стало мне трудно в большой тесноте, и я написала Ельцину. Он публиковал в «Урале» в 1981 году мой «Филамур», он помог и однокомнатную квартиру получить. Я отселила семью сына.

После развода сын оставил эту квартиру жене и сыну.

Затем вышли замуж дочери. Знаете, это мои дочери — из простой российской семьи, где мама — писательница, а папа — писатель. Не сватаются в такую семью сыновья олигархов. Но у писателя есть читатели. И я обратилась за помощью к ним. Примаков Евгений Максимович, в бытность премьером, получил мою телеграмму и помог мне получить двухкомнатную квартиру — на расширение.

Но чтоб съехаться, нужны были деньги. А денег у писателя нет. И я отселила 2 семьи дочерей.

Вот ведь какая я оказалась хитрая и подлая. Такая хитрая, что живу в коммуналке, бита соседом и нахожусь под судом. Кто хитрее? Нет никого?»

Есть такая притча: два монаха шли, и один перенес через ручей женщину. Вот наступил вечер, устраиваются они на ночлег, и второй монах возмущается:

— Как это ты взял на руки женщину!

— Так я ее там оставил давно, а ты все еще ее несешь.

А если вдуматься: это не по-христиански — гордо язвить. Он бы мог сказать: «Давай забудем это!» или «Ну, прости меня!».

Получается, что я, как тот монах, не сумела погасить ненависть Абратовой. Вот она и не уймется никак:

«Василенко, председатель Союза российских писателей передала Горлановой во имя всеобщей справедливости свой дом в Переделкино. Нине были также переданы: футбольная команда Челси, один миллиард долларов, все доходы от Олимпиады...»

Человек написал, и весь — как на ладони: о чем мечтает долгами осенними ночами!

2 сентября.

Мы падаем в еще одну беду... Пищу в четыре часа. Слава шел в синагогу — на урок, и у него лопнул искусственный сустав. Позвонил мне по мобильнику: «Взял такси и еду в больницу».

– Агния сейчас привезет костыли!

Нужны не только костыли, но и лекарства, электрочайник и т.п. Полетят деньги. И силы. А все мы в другой беде (суд, травля). И в трегей – моя температура почечная. Пугают, что Славина операция из-за осколков титана будет кровавой. Просят как можно больше доноров...

А двадцать лет тому назад мы участвовали в организации митинга, за что Славе сломали ногу. Попросили помочь – подержать бочку с квасом. И уронили ее на ногу ему!

Я полагаю: это был не случайный факт. Нам тогда даже дом отремонтировали! Чтоб имитировать застревание люльки на балконе и ходить три дня через нашу квартиру...

И вот опять нога! Я спрашиваю Славу:

– Кто-то проходил в это время мимо тебя? Что-то подозрительное помнишь?

– Нет.

3 сентября 2007 г.

Я вернулась в Живой Журнал – пишу мольбы о первой группе крови для Славы.

Вчера выбежала в сберкасса (это через двор) и встретила М. – он уклонился взглядом и прошел мимо, не поздоровавшись, а я тоже – конечно – не бросилась ему навстречу... Люди легко верят дурному. Написала про меня Абраторова очень много гадостей – ?

Абраторовские друзья сегодня обзывают меня... алкоголичкой(!).

Не только в Живом Журнале, но и во всех СМИ – объявление о том, что дл Славы нужна кровь первой группы. Но пока только один позвонил: ему 67 лет. Я деликатно говорю: только до шестидесяти. А он: «Скажите, что от меня еще рожают!» Мне стало радостно, что наши мужчины такие и от них рожают, но вряд ли это поможет нам...

Еще звонили старушки 70 лет – словно не понимали, что в таком возрасте не берут кровь. Но хотелось поговорить, видимо, людям. Уж я терпеливо объясняла, что не берут...

– Нина, вспомните царя Давида: какие ужасные гонения, унижения, и какие вдохновенные псалмы...

Все так. Да я не царь Давид – от любого оскорбления вяну и сохну.

5 сентября.

Не спится... Непредвиденные трудности начались вчера! Кто-

то из журналистов позвонил в горздрав: почему Букуру затягиваете операцию... и те — давить на хирургов... А хирурги теперь как относятся к Славе? Боюсь писать о своих мыслях.

Но ведь я еще просила журналистов: никакой лишней информации — мы в руках врачей! А они в горздрав... я уж рыдала-рыдала... Слава утром жаловался, что слабеет — кровь-то идет в ногу.

Невестка спрашивает:

— Нина Викторовна, зачем вы всю больницу настроили против себя?!

Ну не мы, ну не знаю, кто и зачем...

Сейчас Агния едет за донорами на такси. Господи, помоги, помоги!!!

6 сентября 2007 г.

Не спала. Голова болит... Но вот Агния позвонила из больницы, что крови, вроде, хватает — сдали 27 человек первой группы и еще пять — на обмен.

Филологини пришли сдавать — я на филфаке каждый год выступаю — спасибо, мои родные! А узнали они о нашей проблеме, потому что А. Ю. догадался повесить в универе объявление!

Начну донорам на подарки писать картины! И написала сейчас же необычного индюка (светло-сиреневого). Еще поверх одного букета пустила большую рыбу. Многие букеты осеняю рыбами — символом Христа (не сбоку, как ранее, а прямо по диагонали, поверх цветов)...

Слава попросил вызвать батюшку в палату — для причастия. А ведь он только что причащался! Я зарыдала (где взять деньги на батюшку?).

Завтра — на допрос. А у меня сильно подскочила температура! Но все же села готовиться. Сначала разложила документы в хронологическом порядке, затем думаю — нет, нужно в порядке важности...

В основном — это отказы. Когда сосед нас бил, мы подавали заявления в суд. Но нам отказывали — писали, что мой муж сильнее соседа. Хотя мы столько справок им принесли, что муж — инвалид! У него искусственный сустав! Как он может быть сильнее, если не может делать даже простых движений (не может ни присесть, ни отскочить).

Нина, терпение! Достоевский вообще сидел на каторге.

И тут звонок от мамы из Калитвы:

— Что случилось? — испуганно спрашиваю.

— У меня день рождения.

— Мамочка, прости меня! Я не спала три ночи — мы искали доноров Славе, а сейчас готовлюсь к допросу.

— Зачем ты готовишься — суд ведь разберется.

Я закричала в истерике:

— Какой суд разберется! О чем ты говоришь, мама? Зачем ты это говоришь своей дочери, которая пальцем никого не тронула, но на нее заведено уголовное дело! В какое время страшное мы живем — честного человека объявляют насекомым на весь мир...

Папа взял трубку:

— Ну что ты так! Мы ведь ничем не можем помочь.

— Так пусть хотя бы мама не говорит, что суд разберется! Зачем она это говорит своей дочери!

Из киоска возвратился сосед и опять затянул свою боевую песнь: «Ненавижу вас, ненавижу русских, ненавижу депутатов, ненавижу москвичей».

8 сентября.

И так всю ночь. Не дал выспаться! У нас утром все падало из рук, Агния выронила мобильник, и он сломался. А это снова расходы! Расходы!!!

Собираясь на допрос, лекарства я взяла, а вещи оставила — Агния в курсе, где и что. Шла со стонущим сердцем — не знала, как вбросить мое тело в отделение — крыльцо такое высокое... И вдруг я возле УВД вижу нищего: сидит на куртке и кормит голубей. Я дала ему 50 рублей.

Нина, подумаешь — крыльцо высокое! Ты еще не сидишь на асфальте.

Полный коридор милиционеров. Глядя на них, я мысленно задавала им один вопрос: «Ребята, как же так случилось, что вы переродились?»

Адвокат опоздал на 20 минут. Говорит: пробки. А я уже пошла искать своего дознавателя — не нашла. Оказывается — в отпуске. Спрашиваю у нового дознавателя:

— Где копия с постановления о возбуждении дела?

— Сейчас сделаю.

— А в УПК написано, что вы должны прислать до допроса.

— Я вам ничего не должна.

— В следующий раз принесу УПК.

— У меня есть.

— Так изучайте....

На этом месте вошел адвокат.

Какой толстенный том — мое дело! По всем стенкам кабинета сплошь рамки, рамки с благодарностями, а мое дело полностью

сфальсифицировано.

Соседка из квартиры 32 сначала говорит обо мне хорошо, а через неделю — очень плохо. Что они с нею сделали за эту неделю?

А вот что! Слава шел в булочную и услышал, как она говорит нарочито громко дворничихе:

— Есть подлец — пишет на меня заявления в милицию, что я пьянствую. Интересно, кто это пишет?! (и взгляд в сторону Славы).

После допроса мы с адвокатом вместе вышли, и вдруг вечером он... отказался от дела. Где и когда они успели его запугать, можно только гадать. Еще вчера он смотрел на мои картины и выбирал, какие возьмет в подарок после процесса (верил, что выиграем)... и вот тебе на!

9 сентября.

День рождения Даши. Хорошо, что вчера мне Наденька напомнила! Так я отключилась от календаря, настолько я вся в Славе... Он слабеет, теряет кровь, и мы ничего не можем сделать. Хирурги не могут разработать план операции. Если из кости выпилить часть и достать обломок искусственного сустава, то — с таким диагнозом — кость вообще может рассыпаться. А как-то нужно закрепить новый сустав. Наконец решились заказать кольцо на заводе-изготовителе...

Вот поздравила Дашеньку. Четверть века тому назад я ее родила. Как сейчас помню: врач уснул, я в предродовой, головка идет, я на четвереньках — в коридор, чтоб не выронить дочку, там акушерка спит.

— Акушерочка, я рожая!

Она один глаз приоткрыла, видимо, подумала, что ей снятся женщины на четвереньках, и снова заснула. Я легла на кровать, и тут Дашина головка показалась. И крик раздался: уа-уа! Прибежала сестра и стала толкать головку обратно.

— Что вы делаете! — из последних сил закричала я.

— Здесь нельзя рожать!

— Уходите немедленно!

Она побежала за врачом. Долго бегала по всем этажам и выкрикивала его имя-отчество. Наконец, он проснулся и пришел. А я уже родила...

10 сентября

— Нина, летний биотлон так успокаивает нервы — ты посмотри ТВ.

11 сентября 2007 г.

— Ты видишь: Америка до сих пор не может понять, что было 11 сентября, а ты одна разве можешь понять, кто и почему организовал этот суд...

Коммунисты в Живом Журнале мне пишут: «жрите свою демократию — вас каждый алкаш может судить»...

Капитализм крепчает. В Горьковском саду розы. При социализме ноготки были.

Но если при капитализме так же меня судят, как Бродского при социализме, то какая мне радость от капитализма.

А храмы, Нина!

Да, храмы.

В этом году «Звезда» опубликовала материалы о суде над Бродским! Оказывается, он был пешкой в борьбе Москвы с регионами. Питер стал отличаться в области культуры и искусства — хотели приструнить. Вот и организовали процесс — поэта обвинили в тунеядстве.

Я хотела сказать детям:

— Если через тридцать лет опубликуют материалы о том, кто организовал суд надо мной — придите ко мне на могилу и скажите: «Мама, мы все узнали...».

Нет, не нужно ничего говорить — я же с первых секунд после смерти буду знать все!

ТАМ секретов нет.

Звали за тысячу рублей выступить в школе в Добрянке.

Но дети — личинки судей-прокуроров-дознавателей... Отказываюсь.

12 сентября 2007 г.

Сосед вчера напился, всю ночь носился:

— Ненавижу — ненавижу (ну, мы уже знаем, кого он ненавидит: нас, депутатов, русских и еще какого-то одноклассника, я имя не разберу, он кричит неразборчиво)...

Слава по телефону слабым голосом: еще поживем, попишем.

— Люди не стоят того, чтоб мы для них писали.

— А подумай: если есть хотя бы немного хороших, то все равно их создало человечество...

И вдруг Ш. позвонила:

— Нина! Это тебе все за маловерие.

Мне — за маловерие? Да я только на Бога и уповаю! Бросаю трубку.

Но она еще два раза звонила и твердила: да, за маловерие!
Я вынуждена была отключить телефон.

Каждый день кто-то звонит и отнимает последние силы у меня, едва дышащей, в тике. О. на днях звонила:

— Это Славе за то, что он с нехристями в синагоге общается.

Я тут как закричала:

— С ума сошли, что ли: Сам Христос сказал, что нет ни иудея, ни эллина!

13 сентября.

Сейчас в 7-30 утра мы все — я и дети — вставали на молитву за Славу. И за врачей! В одно время в разных квартирах. Так отец Лука посоветовал. И вдруг мне стало легче!

А то всю ночь думала: как же люди режут вены, если обе руки никак одновременно нельзя, а одну порезал — она уже не будет действующая? Или будет?

Да ванны-то нет. И даже бритвы нет. Но все время хочется ку-пить...

И вот я стала представлять мысленно каждого из 5 хирургов, крестя их.

Звонит дознаватель: давайте очную ставку в понедельник. Я говорю:

— Не знаю еще, как пройдет операция.

Она — свое. Я — свое. После десятого раза я закричала:

— Да вы почему ничего не понимаете!

Агния тут взяла трубку и сказала:

— Звоните нам в понедельник — у папы очень сложная операция.

Я пошла и написала трех рыб — довольно агрессивных. Рыбы времен судебного процесса, так сказать...

14 сентября

Всем гостям дарю по 4-5 картин, самых лучших!

Вот что хочу написать — была я так сломана внутренне... думала, что никогда уже не буду прежней — веселой и дарящей картины, но вот Славу удачно прооперировали, и я снова стала почти собой, хотя и с оттенком печали... до конца собой уже не стану, видимо. Суд — даже если закончится — всегда будет вокруг меня в воздухе носиться, да.

Вчера сутки дежурила в больнице Агния, а сейчас еду я. Бульон свежий готов (пока там с утра Дашенька).

16 сентября 2007 г.

«Инсульт?» — написала я в Живом Журнале.

Я позавчера с трудом приехала от Славы, вчерашний день не помню, сегодня проснулась и долго озиралась — не могла понять, где я, и какой звонок (в дверь или по телефону).

— Мама, что у тебя с дикцией?

— Дикции нет от мармеладной конфеты (еще надеюсь, что так).

17 сентября.

Инсульт отрешает от всего. Говорят: у Шнитке после инсульта вся музыка пошла. Да, инсульты тоже нужны.

Язык и губы кажутся распухшими... не знаю, что будет. Антон с Аней настояли, чтоб Агния вызвала скорую.

Прощай, мой компьютер — со слезами я расстаюсь с тобой. Увидимся ли снова? Видит Бог, я не хотела ехать — надеялась с помощью кавинтона и тромбоаса спастись. Но невестка — врач — говорит, что еще вчера нужно было вызвать скорую.

Милиции боюсь — в больнице она меня замучает.

18 сентября.

Лежу в коридоре
инсультного отделения.

И вижу: мужчина
Ухаживает за женой
Семидесяти лет.

А говорили, что мужья
Никогда не приезжали
К женам в лагеря...

Пишу в записной книжке. Сегодня не могла вспомнить, где мой дом... Но пошла из детства: вот я жила в поселке Сарс, поступила в универ и получила место в общежитии, затем — коммуналка. О, вспомнила, где мой дом — коммуналка на Чкалова!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г.ПЕРМИ

ОТ АМЕРИКАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ

Уважаемые дамы и господа!

Выражаем свою озабоченность тяжёлой ситуацией, сложившейся вокруг российской писательницы Нины Викторовны Горлановой. 10.08.07 в её отношении возбуждено уголовное дело в связи с бытовым конфликтом.

Нам стало известно, что Нина Горланова и ее муж Вячеслав Букур многократно обращались за помощью в местное отделение милиции, однако эти обращения по сей день остались без ответа. Мы надеемся, что эти заявления будут найдены и рассмотрены, и обвинения в сторону Горлановой сняты как бесосновательные.

... Во многом, литературная слава Перми и современной России создана и создаётся такими мастерами, как Горланова. Ее стихи и проза публиковались — вплоть до последнего времени — ведущими российскими и зарубежными русскоязычными изданиями. Произведения Нины Горлановой переводились на английский, испанский, немецкий, польский, французский языки. Нина Горланова является членом СРП с 1992 года, лауреатом Первой премии Международного конкурса женского прозы (1992), Специальной премии американских университетов (1992), премий журналов «Урал» (1981), «Октябрь» (1992), «НМ» (1995), Пермской обл. (1996). О ней пишутся диссертации и критические статьи...

Нина Викторовна Горланова — пожилой человек, ей необходима постоянная медицинская помощь. Совершающееся с нею сейчас может привести к непоправимым последствиям. Мы надеемся, что справедливость будет восстановлена в самый короткий срок.

Главные редакторы журнала СТОРОНЫ СВЕТА Ирина Машинская и Олег Вулф.

Члены реколлегии журнала СТОРОНЫ СВЕТА Эдуард Хвиловский, Григорий Стариковский, Владимир Гандельсман.

Главный редактор журнала ИНТЕРПОЭЗИЯ Андрей Грицман.

Главный редактор журнала СЛОВО/WORD Лариса Шенкер.

Бурштейн написал в Живом Журнале (а Агния мне прочла по телефону):

У Горлановой инсульт. Меня трясет от этой истории.

Сегодня утром Ирина Машинская прислала мне ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОТ АМЕРИКАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ, с просьбой срочно разместить его на моем сайте и где смогу. И сегодня же утром я узнал, что обращение запоздало, Нину Горланову госпитализировали с инсультом.

Знаете, меня трясёт от того, что происходит.

Непонятную травлю со стороны городских властей еще можно как-то объяснить, но чем объяснить ту волну грязи, которая поднялась в ЖЖ и обрушилась на Горланову — я не понимаю.

Нина прожила жизнь и так и не научилась закрываться от прошлого и хамства.

Ей было плохо, она заламывала руки, а ей говорили, что это скверный спектакль.

Там, где не было ничего, кроме боли, ей кричали, что она плохая актриса.

Финал, к сожалению, закономерен — инсульт.

Болезненно Нина воспринимала грязь и клевету, которой было так много за последние недели.

Мне стыдно, что я не мог и не могу найти способ, как остановить то, что происходило с ней, и больно, что мы дали тем, кто думал, что смотрит плохой спектакль, досмотреть его до сцены инсульта. Я прошу прощения за то, что сцена с инсультом на этом театре была сыграна не лучшим образом. Видите ли, Нину не учили красиво страдать. Она не актриса. Она большой писатель, которого вы, — да-да, в том числе, и вы, — равнодушные зрители — довели до больницы.

Я прошу тех, кто внес свою лепту в приближение Нининого инсульта, не писать комментарии на этот пост. Они будут удалены. Меня тошнит от вас.

«Просьба к тем, кто откроет письмо. (Может быть, Слава?)

Это пишет Людмила Агеева. Сообщите, пожалуйста, как Нина. В каком она сейчас состоянии? Передайте ей нашу нежную любовь. И мою и Ларисы Щиголь.

Информация до нас доходит такими немислимыми кругами. Через добрых знакомых и через интернет, конечно. Решила все-таки написать. Отзовитесь. Всем сердцем с вами. Мила А.»

Хожу по коридору
Инсультного отделения
И мажу всех
Маслом святой Ксении,
Приговаривая:
— Я тоже здесь лежала,
И вот уже хожу —
Скоро и вы
Пойдете ножками...

30 сентября

Пока на клавише сидит Слава. Я диктую (отпустили на дом помыться).

В автобусе было место против хода, я боялась, что закружится голова, и попросила молодого человека поменяться. Он слушал музыку. Я ему говорю:

— Можно с вами поменяться? Я после инсульта.

— Я тоже (не сдвинулся с места).

При выписке врач мне сказала, что они не смогли убрать спазм, и у меня теперь будет всегда что-то вроде хронического инсульта. Каждый квартал я должна к ним ложиться под капельницы. Андрей утешает:

— Луи Пастёр все свои главные открытия сделал после инсульта.

Оказывается, от меня скрывали, что из-за всех наших проблем заболела Агния. Ее увезла «скорая». Теперь врач настаивает, чтоб она переехала (от соседа — то есть и от нас тоже).

2 октября.

Сегодня от нас уехала Агния — ей нужно переменить место жительства, забыть стрессы. Вот и остались мы одни. Всего две зубные щетки стоят в стакане. А было шесть, когда дети росли... и уже две.

— Не дай Бог дожить, чтоб осталась одна зубная щетка (Слава).

4 октября

С утра вызвала врача. С речью нехорошо, рука немеет, но по сравнению с теми, кто остался лежать в отделении, я еще ничего. Ко многим не вернулось чтение-письмо... А ко мне вернулась моя работа! Только нет еще дикции и плохо хожу.

Навестила меня Н.Н. За полчаса трижды спросила: «Где ваш юмор? Где юмор?»

Я не выдержала:

— Юмор висельника подойдет?

Звонил дорогой друг Сеня:

— Знаешь, что говорят тренеры спортсмену, который бежит на 50 км?

— Знаю. Про второе дыхание.

— Нет, они ему говорят: «Терпи, милоч».

5 октября.

Проснулась среди солдат и автоматов. Что же было? А, вечером внуки играли в складках одеяла — у них тут были редуты.

И я тотчас вспомнила: ведь я же получила самое сильное объяснение в любви! Внук Ванечка (4 года) так наскучался по мне, пока я была в больнице, что как только вошел, так еще в коридоре мне заявил: «Бабушка, когда я вырасту, я буду жить рядом с вами!»

Но тут Слава спрятал одного солдатика Ваниного, и Ваня пришел ко мне со словами:

– Скажи дедушке: если он будет забирать моих солдатиков, я не буду жить рядом с вами!

Слава пообещал, как всегда, стать лучше, а в последние 15 минут жизни – сделаться совершенно хорошим...

Вечер с Линой и другими гостями. Правда, речь у меня была сначала затрудненная, но после 50 г водки полетела.

– А «Доктора Живаго» я каждый месяц открываю – на шмуц-титуде записываю показания счетчика соседа, чтоб не потерять.

– Пастернак бы тебя понял, Нина – он с почтением к домашним делам...

Слава к слову:

– Есть правило спасения от НЛЮ: если веришь – читай молитвы, если нет – стихи Мандельштама.

– А есть правила спасения от суда несправедливого?

– Правила те же самые!

Ну да, у Мандельштама все есть: «Мне кажется, как всякое другое, ты, время, незаконно».

6 октября

Внук Тема шепнул мне:

– Бабушка, я молюсь за тебя так: «Господи, сделай так, чтобы у бабушки голова не болела от соседа».

Пришел ответ из прокуратуры, что действия милиции были правомерны. Хотелось из этой страны в Америку или в космос по-даться.

Позвонил Асланьян: изъяли жесткие диски у них – в единственной оппозиционной газете «Пермский обозреватель». Тонкий слой правды стал еще тоньше. Эх, люди, че-ло-ве-ки...

Видела телефильм про Ахматову – Жданов ее блудницей обзывал! А я – по Абрамовой – только алкоголичка, квартирная спекулянтка, душевнобольная и угнетательница старушек. А Слава – скандалист, и приемную дочь мы взяли из-за квартиры.

Давление сразу идет вверх, стоит вспомнить, как в инсультное отделение приходили из милиции меня допрашивать, как хотелось кричать словами Пьера Безухова: по мою бессмертную душу вы пришли!

Но врачу я сказала своими словами:

– Они всех преступников переловили, осталась только главная мафиози Горланова.

Годовщина со дня убийства Ани Политковской – горячо помолись за упокой ее души.

Пришел другой ответ на мою жалобу — на этот раз из генпрокуратуры: действия милиции признаны правомерными! В семь утра пришли «пинками нас доставить в милицию» — и все правомерно!

Тут от правомерности на меня такое накатило, что я схватила ножницы и срезала верхушку нарыва на большом пальце левой ноги! Раз инсульт все сосуды слева блокировал — они на руке-ноге нарывают мучительно. Ну, вот я вскрыла нарыв, слава Богу. Боль адская, тикает, как часы: тик-так...

— Нина, как ни смешно это звучит, но добро побеждает зло!

Звонила Лена Хомутова из «Знамени»: они поместили в Журнальном Зале на первом месте мою просьбу о помощи (плавикс, липримар, диротон и билобил стоят восемь тысяч в месяц).

Рубинштейн пишет: как это Вас судят — какое-то Зазеркалье!

11 октября

С утра держала ногу в водке — никакого эффекта. Тогда начала пить антибиотики — не помогают. Я разозлилась, опять в трех местах нарывы разрежала, засыпала доксициклином — и вроде чуть полегче.

Разговор с сыном Т.: мол, если б его мама не писала стихов, то больше бы зарабатывала и сумела бы детям дать больше благ. Я так за покойницу обиделась! Говорю:

— Если бы все не писали бы стихов, то люди превратились бы в зверей.

Шведская переводчица написала, что хочет перевести мой рассказ «Письмо Путину».

А меня за него, может, судят?

Хорошо, что в Швеции не знают о суде, что мир так огромен.

...Пишу вечером. Нога инсультная нарывала так, что поднялась температура, я начала пить рулид. Дочери пришли вечером: Агния приготовила ужин, а Даша вымыла пол. Только сели за стол: стучат люди из прокуратуры!

— В девятом часу вечера что им нужно?

— Боюсь, что наркотики подложить хотят. Им Слава сказал и вчера по телефону, что я после инсульта — не должна волноваться, но...

Звонят уже полчаса, стучат еще и требуют, чтоб им открыли. Довели меня до инсульта, но все им мало!

Внук Тема был так травмирован, что кричал:

— Они дверь ломают!!! — И спрятался в детской комнате.

Ему пять лет, и он не может понять, что происходит. Но мне 60 лет вот-вот стукнет, а я ведь тоже не понимаю, что происходит. После Слава хотел его как-то привести в чувство — стал спрашивать:

— Когда еще к нам придешь, Темочка?

— Никогда.

Тут Даша стала говорить, что надо не пугаться, а защищать.

И Тема мне сказал:

— Нина, счастье — это когда посадят в тюрьму, выпустят, все радуются — вот и счастье...

(На другой день Дашенька приведет Тему к нам, а в руке его — красная роза для меня. Даша так придумала снять у ребенка стресс, прокуроров в памяти розой перекрыть.)

Дорогие друзья, журнал «Стороны света» и журнал «Слово/WORD» приглашают вас на вечер (скорее, день) поэзии и музыки. Александр Избицер с фрагментом своей знаменитой программы песен Вертинского, Олег Вулф с гитарой, Владимир Гандельсман, Григорий Стариковский и Ирина Машинская (все трое — без гитары). Сбор от выступления — в пользу Нины Горлановой, нуждающейся в связи с тяжелой болезнью в немедленной помощи.

12 октября 2007 г.

— Как жить, дышать день за днем?

Лиля ответила:

— А надо жить, чтобы не доставить радости врагам... А то они будут ходить счастливые и потирать руки.

Ночь не спала — внуков жалко, так их всех травмируют. Давление измерила — за двести. Думала, что будет новый инсульт. Пила диротон, ношпу, плавикс, снова диротон, включала ТВ, затем комп, затем «Эхо Москвы»...

Утром мобильник подал голос: дзынь-дзынь, СМС! Извещают нас, что есть много мобильных развлечений. Ждали, ждали их много лет!

Говорю Славе: «Все еще Некрасов актуален:

— Что ни год, уменьшаются силы,

Ум слабее и кровь холодней...

Мать Россия! Дойду до могилы,

Не дождавшись свободы твоей».

Слава:

— Печень надо было чистить Некрасову.

Это он по мне прошелся: раньше я говорила, что все мрачные мысли от застоя желчи...

13 октября.

Вчера смотрим ТВ. И вдруг сосед пинком распахивает нашу дверь, влетает — свекольного цвета и голый: «Что, живы еще?»

Мы его как-то отгеснили, закрылись, стали молиться, и вдруг он ушел и не был всю ночь. Сегодня с утра побрызгали святой водой в коридоре, на кухне.

Вчера без телефонного звонка прибежала дама из поликлиники:

— Я от заведующей. Дайте вашу медицинскую карту. Для прокуратуры.

Я просто обезглаголела. Но карту отдала. А то будут снова колотиться целый вечер в дверь.

14 октября

Олег Павлов — ангел мой — прислал деньги на плавикс и написал: «Вы же — главное — есть друг у друга!»

Врач-невропатолог сказала, что... никакого инсульта у меня не было, и группа инвалидности не нужна!!!!!!

А на днях говорила: скорее нужно оформлять группу, чтоб бесплатно получать лекарства...

Позвонил дорогой друг С. (у него сын в коме уже много дней).

— Я придумал такой способ выживания: к каждому глаголу добавлять частицу «Ну». Жена его спрашивает «Мусор вынес?» — «Ну не вынес» (и легче). Бесплатные лекарства будут? Ну, не будет их... Нина, ты также добавляй везде «ну». Судят? Ну, судят...

23 октября 2007 г.

Нарывы замучили — вчера просто уже жить не хотела (боли такие страшные), но все же напилась таблеток и заснула... утром Слава вышел на костылях (я уже сидела за компом):

— С днем рождения!

Я так смеялась, что жить захотелось... (Дэ рэ — через месяц).

Слава прочел псалом 70-й. «Да постыдятся и исчезнут оклеветавшие душу мою». И я пошла — написала 4 букета, затем — индюка и рыбу.

24 октября 2007 г.

А я вчера так намучилась с нарывами, что решила уж утром бежать к хирургу и просить отрезать ступню...

Сосед еще напился и пускал на нас жуткий звук сумасшедшего телевизора: ддррррр!

Мы постучали, он вышел со сломанной антенной в руке. Мы умоляли его выключить, но он ни в какую:

— Что хочу, то и творю!

Я всегда мечтала написать что-то в духе Некрасова «Вчерашний день часу в шестом» (там били женщину кнутом... и Музе я сказал: гляди — сестра твоя родная).

Так вот только сейчас, когда я под судом, когда меня довели до инсульта, пошли такие строки:

В инсультном отделении

Ангелы и святые

Становятся видимы...

Ну, кто-то их в бреду видел, кто-то так истово молился, что почти видел, а для меня ангелами стали медсестры (за копейки работают).

Температура, нарывы, антибиотики. Но тут как тут — дознаватель! Требуется, чтоб я явилась к ней:

— Нам врачи сказали, что вам можно общаться с милицией.

Да уж, наша больница скажет все, что нужно органам.

В. пишет мне в Живом Журнале: «Нина, чего ты боишься? Даже если бы подралась... ну и что. Писатели то и дело дерутся. Ну суд и суд... мало ли... от тюрьмы и от сумы... Перетерпи и всё запиши хорошенько, или лучше на диктофон, пригодится».

Люди думают, что я могу подраться.

Да если бы могла, я б давно была губернатором!!! Или хотя бы мэром!

День рождения Сони. Кое-как поздравила — дикции нет.

Собрала уже снова аптечку в тюрьму, вымылась. Сердце болит.

До почты дошла, а обратно не могу идти — и кое-как — внаклон добрела...

Господи, я едва жива. Ты бы помог мне чуть-чуть?! Ну ведь пальцем бы одним Ты меня освободил! Но Ты не освобождаешь... Да, понимаю — на все воля Твоя, но прошу, умоляю — немного помощи!!! Немного! Я погибаю.

Интернет отключили. И снова: то якобы в нашем районе проблемы, то у нас в подъезде, то через час, то не ранее 8 вечера...

Интернет включили в семь вечера! Наши подписи вывесили под письмом Чудаковой против третьего срока Путина.

27 октября

Написала двух Ахматовых на блюдах (левый профиль, правый профиль), двух рыб и подсолнухи. Как устроена жизнь: вчера жить не хотела, а сегодня пять картин. Откуда что берется? Само это желание писать, жить! Господи, прости! От Тебя и берется!

Про это сегодня читали в Евангелии. Если б вы были от мира сего, то мир бы вас любил как свое. А поскольку вы не от мира сего...

28 октября

Видела во сне, что у нас обыск, и следователи украли некую священную реликвию...

Сегодня давление за двести, хочу вызвать скорую. Инсульт отступает, огрызаясь и давая арьергардные бои.

А вот и голуби. Позвонил наш новый адвокат: был у матери соседа. Мол, она на примирение не идет, так обижена. Неужели он тоже думает, что я ее оскорбила!

У меня сразу сердечный приступ, руки задрожали. Я — глупо и громко стараясь дышать — пошла написать Ахматову, но она получилась тоже не верящая в людей... бедная АА, все от меня терпит.

Вчера по культуре Хворостовский, а я говорю Славе:

— До того меня довели, что я слушаю, а думаю вот что: поет, отдает всего себя, а завтра его хватить — и под суд.

— У него есть деньги на хорошего адвоката.

— Как будто у другого россиянина — Ходорковского — денег не было!

...пишу в 11-20 вечера. Как я еще жива?

После звонка дознавателя раскалывается голова... доживу ли я до завтра, так плохо, что уже не знаю, что делать. Таблетки горстями пью...

Сосед еще напился, как всегда, включил громко ТВ и орет, что мы падлы и мразь.

И сморкается-сморкается часами на кухне (у алкоголиков сохнет все). И так год за годом десять лет.

А послезавтра начнется все снова: допросы-очные ставки. После первого допроса я с инсультом свалилась. Что будет теперь — не знаю. И так уже тайная жизнь нейронов — увы — разладилась внутри меня.

Звонил Сеня: ты нам нужна.

— Но вы же не можете меня защитить, — и затянула свою боевую песнь: как на Каме-реке жила-была несправедливость, учи-

тельница моя...

А теперь стыдно — друзья не могут меня защитить, потому что в Перми это невозможно — нет общественного мнения.

1 ноября

Сосед носился агрессивный, врвался к нам... Вчера у него было в словаре только два слова: падлы-мрази, падлы-мрази. И у меня уже тоже только два: «Господи, Господи, за что?!»

В то же время я уже не хотела бы вернуться к прежней себе, наивной, думающей, что мир — это добро и смирение. То было смирение перед бедностью, я вслух не раз подругам говорила:

— Разве не стоит ничего наша чистая совесть! Крепко спим, а это немало.

И вот грянул суд. И нет сна! Не спасает чистая совесть.

В то же время эта жизнь, этот суд — они ближе к истине, потому что отражают суть вещей: мир злобен и кровожаден.

Но тем дороже крупичицы добра.

Встретила свою однокурсницу возле аптеки. Она на костылях с юности. А выглядит на 20 лет моложе! Вот не сдалась, не вышла на пенсию. До сих пор работает. Улыбается. А без мужа и детей. Значит, и без внуков... Как ей всю жизнь было обидно — мир к ней так несправедлив был! А нашла силы выстоять.

И мне стало не по себе от себя.

1 ноября

На допрос сегодня иду без адвоката.

Первый адвокат отказался от дела, и вчера дознаватель сказала, что тот допрос теперь не считается. Нужно все сначала повторять!

Это значит что? Второго адвоката запугают — мне в третий (пятый-десятый раз) повторять допросы и никогда не выбраться из этого.

Пойду одна. Раз дело заказано, то адвокат все равно не спасет.

Сосед снова всю ночь не давал спать. Мы закрылись, а он пинал нашу дверь и кричал: «Падлы, мразь!» Слава не выдержал и пробормотал: «А ты слизь!» Но тихо, чтоб никто не слышал. Потому что вонь такая усилится, что уже только повеситься... поэтому молчим.

Затем сосед поставил кастрюлю на газ и заснул. Если бы мы не выключили газ, начался бы пожар, потому что кастрюля уже начала плавиться. Два раза в жизни я уже спасала его от страшной смерти в огне: заснет с сигаретой пьяный, диван горит, комната в

черном дыму, который сквозь щели двери в коридор плывет. Вызову пожарных — они диван в окно сразу... а мне неделю перестирать все, что стирается в квартире (пахнет горелым).

Вернулась от дознавателя.

На меня встреча с нею подействовала так: левая половина головы опять трещит, глаз болит и т.д.

И тем не менее — удивительное дело! — дознавателю, видимо, немного стыдно за все, что она делает со мной. Она вишневеет при каждом моем вопросе. Становится цветом, как ее вишневая помада. Может быть, это и считать прогрессом у нас? Ведь дознаватели времен советской власти никогда не краснели!

И вдруг! О, это волшебное слово «вдруг»! В уголовном деле обнаружилось что-то, радующее душу. В самом конце толстой папки... письмо от американского журналиста из Нью-Йорка — Агниса (я впервые слышу это имя, теперь навсегда дорогое!).

Американский журналист защищает русскую писательницу!

В то время как Россия смешивает своего писателя с грязью!

Тут я решила воспользоваться прецедентом и попыталась приобщить к делу письмо ПЕН-клуба в мою защиту.. Оно было у меня с собой. Но — увы — не удалось. Письмо американского журналиста не посмели выбросить, а на свое — на российское — плевали. Тут прогресса не видно...

Возле овощного киоска мужчина пошутил с оттенком эротизма насчет «хермы» (хурмы), а кондукторша — лет так семидесяти, никак не моложе — оказалась с прекрасным маникюром морковного цвета. Хочет нравиться! Значит, есть еще в недрах моей родины какие-то соки, какое-то желание жить...

2 ноября 2007 г.

Ночь не спала. Давление-сердцебиение да еще и камень пошел.

Вчера вышла на улицу, смотрю: красные кисти рябины уже на голых ветках. Когда прошла осень, я и не заметила.

4 ноября. Сегодня день иконы Казанской Божьей Матери. Богородице, моли своего Сына о нас! Сосед пьяный, голый, но Ты нам помоги!

5 ноября

Внук Ванечка прибежал, сразу снимает колготки:

— Бабушка, гляди, я стукнулся... Почему у тебя такое печальное лицо?

Я не нашла, что сказать. Соня:

— Бабушка переживает из-за твоей болячки.

6 ноября 2007 г.

Агния часто говорит: «Мама, эта жизнь не самая важная, не нужно придавать ей много значения и так переживать!»

8 ноября 2007 г.

Ночь не спала (а кто бы спал), из последних сил добрела до райотдела, но...

Обвинительное заключение еще не подписала прокуратура.

Зачем тогда меня вызвали?

А, видимо, там большая программа, как еще можно поиздеваться над больным человеком.

Я шла и молилась: Господи, Ты иди впереди, а я за Тобой.

Да и что — наступит же и конец света, когда большинство людей будут служить антихристу. Наше дело — не поддаваться.

Для меня наступил такой конец света, и нужно сохранять независимость ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО, а не стелиться перед дознавателями.

...Агния едет сегодня ночью, наш ангел, по святым местам. Вымалывать облегчение мне в судебных напастях. Я написала две записочки с просьбами спастись от несправедливого преследования судебного (и Ксении, и Александру Свирскому).

И я вдруг в каком-то сомнамбулическом настроении пошла в ее комнату и написала Ахматову, так называемую — Ахматову на крови. Столько я крови из-за нее пролила сегодня! Шла из милиции, настроение ужасное, а возле подъезда стоит старое зеркало. Ну, думаю, возьму домой овальную деревянную основу. Я часто на таких пишу АА. Стала я выдирать плоскогубцами скобы, а после бессонной ночи не в фокусе — по руке гвоздем сильно прошлась! И я же пью плавикс, кровь разжижается, она никак не хотела оставаться — шла полчаса. Слава был на ЛФК.

9 ноября

Мой сон. Прислали пару новых черных валенок с номером на голенище. Это прислал некий тайный враг с намеком, что меня посадят в лагерь. Я в ужасе их выбрасываю, прихожу на почту, а там еще одна пара.

Сережа сказал, что моя корова на картине дает молоко с привкусом банана.

— Сегодня день милиции, давайте выпьем за повышение МЕНТалитета.

— Как говорит наш внук Тема: у него всегда есть план Б...

Тост у меня такой: за план Б, который спасает в случае провала плана А.

13 ноября

Вчера сосед, очень пьяный, куда-то ушел поздно вечером. Мы разволновались. Говорю: что с ним случись, опять нас обвинят. Он так до утра и не пришел.

Агния совершила паломничество по святым местам. Как я ей благодарна, что она съездила, помолилась! Будем ждать теперь помощи от святой Ксении Петербургской и святого Александра Свирского.

Внук Ванечка говорит: у него будет 40 сыновей. На мое возражение, что он с ними умается, отвечает: «А я буду, как папа, всегда на рыбалке».

— Жена рыбака встала в четыре утра, порубила удочки, порезала сапоги, вспорола надувную лодку и легла спать. Жить ей оставалось полтора часа (анекдот).

А я подумала: это про меня!

Можно все порубить-порушить в себе, думать, что зло победило, но тогда... это будет не жизнь (жить ей оставалось полтора часа)...

Поэтому нужно искать мгновения счастья, чтоб выжить...

Например? Например, ученики Славы пришли навестить его после операции.

— Предлагаю тост: выпьем за будущее двух великих языков — русского и иврита!

А есть ли у меня будущее?

17 ноября

Вчера пошла за обвинительным актом в таком стрессе, что чуть не попала под трамвай. Видимо, меня спас 90 псалом, который мы каждое утро читаем («Не преткнешь о камень ногу свою...»).

Обвинительный акт до такой степени сфальсифицирован, что даже свидетельница с нашей стороны приписана к обвинению. Из ее показаний убрана та часть, где она жалуется, что сосед за стеной все время бьет мебель, матерится. Даже из показаний Славы убрано, что сосед ударил его по лицу. Как будто мы связали тихого ангела!

Я выкурила три сигареты...

Потом посмотрела кусочек «Войны и мира» и заплакала вместе с Кутузовым, когда французы ушли из Москвы. А ведь думала, что мне уже эта родина ... уже...

Василенко дала мне за картину сало:

— Из стратегических запасов президента Украины.

21 ноября

Нужно до юбилея пришить подушечку к тому месту на диване, где торчит пружина — прямо острая — чтоб гости не поранились (а я сама недавно села и поранилась). Нужно еще как-то вымыть потолок на кухне — сосед все сжигает (черно там). Я шваброй надеюсь достать...

Вчера звонил Алеша Мелентьев, говорит, что написал в АиФ статью обо мне к юбилею.

— Вас называют летописец секунды.

Слава написал стихи мне для вечера:

Мы прожили тридцать лет и три года

У самого Камского моря.

Находили консенсус не при всякой погоде.

Разводились полтора раза,

О смысле жизни споря... (и т.д).

25 ноября

Сосед всю ночь носился в киоск — из киоска. Тогда мы решили помолиться да поработать.

Позавчера был мой юбилейный вечер в Пушкинке.

Дети все пришли. Антон — с лозунгом: «План Горлановой — победа России!» (А скоро этот юмор будет непонятен? Это сейчас на каждом углу висит: «План Путина — победа России»)

-Переименовать фонд «Юрятин» в «Нинятин»! (Боря?)

Сто моих картин разобрали читатели. Агния прочла лимерики, Соня и Даша говорили прозой. Внуки запомнили из речи Сени последнюю фразу: «С лягушками не расставайтесь!» С восторгом кричали это в коридоре.

Я сказала:

— Нет противоречия между Ницше (искусство помогает не умереть от истины) и Шкловского (искусство не для того, чтоб стало легче, а для того, чтоб стало труднее, чтоб человек не пропустил что-то важное). Простой читатель отдохнет на своем уровне, и ему станет легче. А глубокий человек задумается, и ему станет труднее...

Внук Ванечка поцеловал мне руку. Откуда он это взял в четыре года?

Притча Дрожащих:

— У Нины 30 лет назад был литературный салон, где она встречала молодых литераторов разговорами о Шкловском и так далее. А мы с Кальпиди шли мимо и увидели: пиво продают! Он говорит: зайди к Горлановой и попроси бидон. Я зашел, Нина говорит: «Проходи, я так рада — ты написал новую поэму? Прочтешь?» — Нина, дай бидон для пива! — «Сколько тебе лет?» — 26. — «А

Лермонтов в этом возрасте уже погиб».

Подарили мне сердце читателя — ну, из красной саржи.

Вера начала свое выступление так:

— От имени прототипов, обиженных тобой, хочу заявить...

Я даже лицо закрыла руками — думала, что будет скандал. Но она закончила так:

— ... мы простили тебя!

Игорь — под Маяковского:

— Горлань всегда,

Горлань везде!

До дней последних донца...

Раков сказал:

— Нина всегда была против лжи советской власти, «во главе сопротивления» — теперь против новой лжи.

Ванда весь вечер фотографировала, а сегодня по телефону сказала:

— На всех фотографиях у тебя скорбный рот.

Ну, уж теперь негде взять нескорбный рот...

29 ноября

Вчера «Знамя» прислало телеграмму: «Неделю пьем Ваше здоровье, верим, что теперь все печали и неприятности будут обходить вас стороной...» Спасибо, дорогие мои!

30 ноября

Б-овы пожелали мне все перенести мужественно. Прозвучали неизбежные Зощенко и Ахматова. Я говорю:

— Все еще сложнее. Гоголя не травили, так он сам себя затравил. Это, может, еще страшнее...

Сегодня день счастья — мы всю ночь спали! Так я была измучена, что сейчас испытываю какой-то восторг, будучи выпавшейся. А то пресмыкалась — два шага делала по квартире и ложилась скорее...и все время хотелось плакать из-за того, что жизнь уходит на подлеца...

Взломали сайт «Яблока», затем сайт «Гайдар. ру». Молю Тебя, Господи, чтобы все-таки завтра люди проголосовали за демократические партии!

В западных газетах Россию называют — Абсурдистан.

Напрягаю всю свою философию, чтоб не сойти с ума...

2 декабря

Гости: «Завтра момент истины — выборы. День унижения России».

Но у меня есть на один процент надежды на чудо.

Я им подарила портрет Солженицына (давно написан) — на «кирпиче» — то есть на таком деревянном брусочке.

Ю. читает книгу «Когда ваш ребенок сводит Вас с ума».

Почему нет книги «Когда ваша милиция сводит Вас с ума»?

3 декабря 2007 г.

Чуда не случилось. У Единой России ОЧЕНЬ много процентов. То есть «чудеса» были, но жалко бумагу на это тратить. Один только факт приведу: кое-где явка была 108 процентов!

4 декабря.

Вчера по «Эху» спорили Новодворская и Кургинян. В. И. сказала:

— Общество, как падаль, лежит у ног тирана.

Кургинян же призывал руку целовать Путину!

Слезы виноградом упали из глаз моих! Так жалко русский язык. А его не будет, страны не будет, если...

6 декабря

Видела во сне, что меня судят в большом зале. На сцене — очень длинный стол, покрытый серым материалом. Мне шепчут про судьбу: «Это не он и не она, а оно». Я отвечаю: «Да, понимаю, это государство меня судит».

Слава сделал мне массаж на больную ногу. Стало немного легче.

Вариант эпитафии: «Уже немного легче».

— Нина! А раньше нужно было доказывать, что ты не английский шпион!

— Но доказать, что я не оскорбляла соседку, так же трудно, как если бы — что не шпион.

11 декабря

Умер Саша Ткаченко. Мы зажгли свечу и помолились за упокой его души. Конечно, ждали мы помощи от него — от ПЕН-клуба — на суде, но...

Я начала антибиотиков. Уже полностью сгорала в температуре и не выдержала.

14 декабря 2007 г.

Вчера закончился сериал по «Преступлению и наказанию»! Раскольников на каторге думает: я оказался не сверхчеловком, вот

и мучаюсь...

У Достоевского все с точностью до наоборот! В гробу Федор Михайлович переворачивается?

— Сериал — это миф, а миф — это регулятор поведения. Герой должен побеждать, чтобы сохранился его мир. Мы хотели, чтобы раскаялся Раскольников, а мифу не нужно никакое раскаяние (Слава).

19 декабря 2007 г.

Были внуки. Саша говорил только одно слово «Якобы», но так многозначительно! Например, я произношу: «Сосед пришел с мадам».

— Якобы, — громко и иронично произносит Саша.

И так весь вечер! Ему 5 лет. И я подумала даже с каким-то страхом: неужели он у нас растет гением? Ведь мадам на самом деле никакая не мадам, а сильно пьющая и т.д.

И вдруг в конце Саша спросил:

— Дедушка, а что такое «Якобы»?

— Это значит: как будто.

Вот так. Внук просто хотел понять значение!

А я вот тоже хочу понять что-то про суд — так и этак задаю себе и другим вопросы о причинах... может, за то, что на памятник Пастернаку я собирала деньги? Или за то, что памятник Дягилеву, привезенный в Пермь год назад, назвала статуей Командора? Или за сказки? Или за эссе против сжигания отходов ракет («Ария мусора на слова отброса»?). За рассказ «Депутат с ружьем»? Еще говорят, что один депутат узнал себя в каком-то рассказе (хотя я вообще его не имела в виду).

Т. прямо говорит:

— Нина, да за все вместе! Если бы я так писала и так выступала! Меня бы уже засудили!

— А где я выступала?

— На Уральском совещании ты встала и прямо сказала: пермскому министру культуры все равно, что у нашего союза — СРП — нет помещения, нет бухгалтера...

20 декабря 2007 г.

Вдруг слышу свой голос:

— Господи, избавь и приголубь!

Оказывается во время приготовления обеда давно себе говорю вслух что-то умоляющее...

Позади тяжелая, просто невыносимая ночь с агрессивным соседом. Сейчас он ушел в киоск в очередной раз...

Наташа уверяла меня, что зарождается новая реальность, когда терпишь во имя Христа. Но пока меня с ног сбивает старая реальность. Интернет отключили, из подвала — испарения смрадные, по телефону — равнодушный голос: «Сами звоните слесарям, добивайтесь».

Ночью молилась: «Господи! Держи нас со Славой за руки!» И мерещилась виртуальная скульптура типа «Рабочего и колхозницы»: мы сплетенные руки протягиваем Господу, и Его рука подхватывает нас.

В Живом Журнале кто-то написал мне: «Причины суда — трансцендентальные. Если вы в своей прозе транслируете свет, то силы тьмы ополчились против».

В китайских мифах есть бог кистей для письма — Мэн Тянь. Порой хочется просить у него помощи для общения в ЖЖ.. Как ответить на эти слова? После бессонных ночей с соседом голова, как броня. А броня мыслить не может.

В ЖЖ кто-то написал: «Мозг! Пахать, сука! От твоих результатов зависит моя зарплата». Так я тоже не могу.

28 декабря

Сели писать рассказ — сосед заходит поминутно. И мы решили записи печатать. Писать прозу под его заедания невозможно.

И тут звонит Асланьян: Нина, министр культуры РФ дал тебе медаль. Я был в столице — привез. Сейчас за тобой приедет машина из редакции.

Я так долго хохотала: какая медаль — я под судом, не надо розыгрышей!

Но... на самом деле приехала машина. И вручили мне медаль!

Это очень много проясняет: значит, суд заказан не из Кремля. Иначе бы медаль не дали.

В редакции «Пермского обозревателя» висит большой портрет Ходорковского за решеткой. Я молилась за него, но после инсульта сил стало немного...

— Хотя бы он понимает, — говорю, — почему осужден — кто-кто захотел отнять его активы. А у меня что можно отнять?!

— Доброе имя, здоровье, покой.

30 декабря

Сосед празднует Новый год шестой день. Упал в туалете, свернул бачок. И это второй раз за месяц. Не дает ни копейки на ремонт бачка! И впереди еще все праздники...

Душа моя, голубка,

Стон изронила.

Была бы ты желудком,
Все переварила...
Была бы ты слухом,
Я б заткнула уши,
Чтоб ты отдохнула.

1 января 2008 г.

Вчера ходили к А. встречать Новый год. К аперитиву подали медвежатину.

— Я в детстве и мечтала встретиться с медведем, и боялась.

— Так выпьем же за то, что твоя мечта исполнилась в весьма благоприятных для тебя обстоятельствах!

Я этот диалог вывесила в Живом Журнале, и сразу мне кто-то написал: «А вы не думаете, что это не политкорректно — есть медвежатину в 2008 году». Он намекал на то, что грядут выборы президента и победит Медведев.

Быстро убрала и этот вопрос, и мои слова про то, что закусывали медвежатиной.

Это я или не я?

2 января 2008.

Вчера заболела, начала суммамед в двойной дозе. Ночь была очень тяжелой, но вроде бы сейчас чуть-чуть меньше кашляю.

Вчера звонил Боря: был в Израиле, для меня освятил крестик у Гроба Господня. Может, он меня спасет, если ничто другое не помогает.

Волгин по ТВ, говоря о Заболоцком: не может великий поэт не касаться оси добра и зла — непременно эта ось проходит через его судьбу, и Николай Алексеевич каждую минуту давал отпор силам зла и старался сохранить человеческое достоинство.

Я говорю Славе:

— Не только поэтов сажали при Сталине, но и простых людей миллионами загребали.

— Это тоже были люди, выделявшиеся или умом, или сметкой.

— Но как-то ведь возникли капитализм и демократия на Западе, и только у нас все судят да сажают.

— Про нас всё понятно. А демократия — это и есть чудо.

7 января

Рождество Христово! Мечтаю написать и Младенца в яслях, и Вифлеемскую звезду, и Богородицу, и вола с ослом. Мы с утра прочли главу Евангелия о Рождестве.

Вчера все деревья были по-рождественски убраны инеем (ви-

дела в детской из окна). Антон пришел, и я попросила его поставить в Живом Журнале мою картину «Церковь в снегу».

Одна жежистка к моему посту о суде написала: «А я хочу спросить: кто же растоптал сердце Данко?»

Вчера звонил С.: сын его 51 день в коме. Господи, другим еще хуже! Мне уж надо все терпеть.

Олег Павлов прислал молитву (читать перед судом). Помещаю ее здесь ДЛЯ ВСЕХ НУЖДАЮЩИХСЯ В НЕЙ:

«О, Мати Божия, помощи и защиты наша, егда попросим, буди избавительница наша, на Тя уповаем и всегда вседушно Тя призываем: умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наша скорбная и слезная молитвы приими, и якоже хоцещи, успокой и обрадуй нас, любящих Твоего Безначального Сына и Бога нашего. Аминь».

8 января 2008 г.

Сегодня не спала. Сосед призывно-протяжно-заунывно ухал на всю квартиру. Смысл его громких вздохов-уханий: бегите ко мне с бутылкой — видите, как я мучаюсь (а принесете выпить — тогда я вас ласково обматерю). В пять утра решила встать и включить компьютер...

По мере приближения дня суда я лишь чуть-чуть начинаю понимать, в чем дело.

Когда вернули советский гимн, я говорила: это начало конца! Сколько зла совершено под музыку советского гимна. Есть намоленные иконы, а тут все наоборот — сколько бесов в этой музыке. А с бесами куда мы придем-то...

Всегда есть предвестники будущего. Помню: перед концом советской власти все стали вдруг вырезать ангелов из бумаги! Именно что ангелов. У всех они в домах летали под люстрами или у окна. Словно предчувствие конца безбожной власти и начало возрождения веры...

А тут — старый гимн вернулся как предвестник всего, в том числе и суда надо мной.

Написала в Живом Журнале про сравнение с Кафкой (Грегор Замза лег спать человеком, а проснулся насекомым.) И некто мне ответил: «Помогай вам Босх». А я ему так: «Я вам этого не пожелаю. И никому. Бог Вам судья»...

Недавно убили в Перми известного балетмейстера, были торжественные похороны. Я сказала: «Меня так не похоронят». — «Зато — наверное — и не убьют», — ответил Слава.

А теперь что получается...

Нина, Нина, сама ты все знаешь: чтобы слова что-то стоили, нужно заплатить за это. Наши слова бы ничего не стоили, если бы не были оплачены...

А я хотела писать о преображении, устала вглядываться в бездны душ героев. Но меня снова поворачивают к безднам?

Вчера ездили к Сонечке. Который год она уже приглашает всех родных на Рождество. Таксист на обратном пути жаловался на жизнь, проклинал воровство властей, говорил: Сталина бы на полгода. Сердце мое екнуло: такие всегда обсчитывают. И в самом деле, он сдал на 60 рублей меньше, уверяя, что нет мелких. Сталин-то бы его не помиловал...

9 января 2008 г.

С утра написала Рождество Христово.

«Эхо Перми» уже второй день передает в новостях информацию о близящемся суде надо мной.

Агния вчера заходила:

— Мне снилось, что ты не спишь, мама (да, я не сплю уже 2 недели).

...пишу в полночь. С обеда стало мне снова плохо — озноб, почка болит, горло тоже, кашель усилился. То есть суток не прошло еще с тех пор, как я закончила принимать суммамед, а уже снова организм сдает. Слава считает, что это нервное...

13 января. Помолвившись, я надела медаль (это для судьи и прокурора). И мы отправились. Приехали освещать процесс пять телекомпаний и шесть газет. Только я никак не могла привыкнуть к слову «подсудимая» и не вставала. Но потом заставила себя все же привыкнуть...

Агния не могла даже говорить, пришлось сделать перерыв в заседании суда. Она была в таком состоянии, глаза ее безмолвно кричали:

-Как вам не стыдно нас всех мучить!

12 января

Мой сон: прокурор задает мне глумливые вопросы (как и было на суде). Видно, что ему доставляет наслаждение унижать меня. Но я не чувствую себя сдавшейся (и во сне, и наяву).

Когда брали интервью у соседа, он закричал (руки в боки):

— Телевиденье вызвала! Благородной хочешь казаться?

— Не казаться, а быть благородной хочу! А вы хотите всех втоптать в дерьмо, чтобы весь мир на вас походил!

В это время по коридору провели мужчину в наручниках. Его привезли из тюрьмы как свидетеля по другому делу. Он жадно глядел на модниц-журналисток: «Вот повезло увидеть кусочек большого мира».

Прокурор в перерывах затырался среди журналистов и слушал, что вокруг говорят. Слава меня толкнул в бок: мол, имей в виду, он тут. И прокурор Славе покачал головой: мол, почему не разоружаетесь перед следствием... Такое уж у него прокурорское рвение в преследовании старой больной писательницы!

Гражданская палата и Правозащитный центр предоставили мне двух адвокатов. Спасибо, дорогие Аверкиев и Исаев!

Они убедили нас подать встречный иск.

13 января 2008 г.

Проснулась — опять нет Интернета! За что платим? Каждую неделю отключают. Ну, если б знать, что не сверху, а авария на линии... А то ведь душат-душат, и Ты, ГОСПОДИ, ничего им не делаешь! А ведь Ты создал нас свободными! Что-то бы им показал тоже... прости, конечно, но я умираю, Ты видишь ведь, совсем нет здоровья, и последние крохи уходят на нервные срывы из-за властей!

В Живом Журнале мне написала одна поэтесса: «Нина, киска! Вас ненавидят по определению — как независимого человека (писательницу)».

А может, по кэгэбэшной линии (губер — из гэбистов)?

Ночью плакала: почему я забыла сказать на суде, что спасаю каждый день соседа от пожара! У Данте в последнем круге ада — неблагодарные.

14 января

С утра накатила депрессия — бессонная ночь сказывается. Битва за Интернет продолжается, но пока не включен. Но все-таки я написала пейзаж. Не сказать, что ужасает прекрасностью, однако можно поправить.

Позвонил внук Тёма — в свои пять лет он очень за нас боится. Говорит:

— Дедушка, ты где сидишь — в тюрьме?

Слава все перевел в шутку:

— Да нет, я в пещере. Гномики мне сказки рассказывают.

Ночью звонил Коля Овчинников с Карибского бассейна. Он в Интернете видел видеосюжет про суд и очень возмущался. Оказывается, мир такой маленький. На Карибы из Перми доходят вести.

15 января

Снова видела во сне суд, но все были в кринолинах. То есть тоже черно-белые фигуры судьи и прокурора, но покроей одежды — из прошлых веков. Слава говорит, что подсознание проводит детоксикацию этими кринолинами: как бы театрально и поэтому не сильно страшно.

На Яндекске мы иногда смотрим в блогах, кто о нас что пишет (Женя Минин научил). И сегодня прочли мы Туркину: «Суд над Горлановой — суд Божий». Вот не написала я про Буран, который ее муж делал! Так ты сама автор, Туркина! Почему не написала про это?!

Такого цинизма нет даже у нашего прокурора. Роль Бога взяла на себя!

А ведь она звонила 23 августа:

— Нин, по радио передают про суд! Я готова подписать любое письмо в твою защиту...

И вот тебе на — вместо защиты: «суд над Горлановой — суд Божий»! Что они с нею сделали: подкупили или запугали?

Аркадий прислал ссылку на «Комсомолку». Там написали: опять Горланова привлекла к себе внимание, но не книгой, а судом (как будто я сама себе суд назначила!!!).

Это люди, что ли? Наслаждаются чужой бедой! У меня инсульт от этого судебного преследования, а им так весело, так уж весело.

У меня вышло восемь книг — так их внимание не привлеклось!

Видеоролик суда (тоже в «Комсомолке») я посмотрела — там хорошо видно, что «потерпевшая» — совершенно глухая. То есть ей могло что угодно послышаться.

Вчера я вышла в киоск за овощами. И незнакомая женщина подошла:

— Я видела вас по ТВ — как с соседом?

— Плохо, — говорю.

А ТВ сняло меня в коридоре в дубленке — легко узнают поэтому.

«Урал» — номер 1 — опубликовал мои дневники за 2006 год (бр-тр). Я посмотрела их — уже висят в журнальном зале. Какая я была наивная еще год назад! Надпись на стене дома: «Мир безумен», и я комментирую: мол, сие написали какие-то сектанты, а мир

на самом деле разумен... Теперь-то я вполне вижу безумие мира!

Еще вот что интересное прочла в этом номере: оказывается, год назад на улице мне цыганка закричала: «Тебя ждут большие перемены — слаз...» Она хотела снять этот слаз, но я ушла. А перемены — большие — увы, пришли... но все же не христианское дело бы — снимать слаз у цыганки.

Письмо Коли Овчинникова в Комсомолку:

« Я отношусь к группе старых поклонников газеты «Комсомольская правда» и читаю эту газету с середины прошлого века... В последнее время газета помельчала и теряет своё лицо. Находясь в Тринидаде, я был шокирован, прочитав статью о Нине Горлановой, в которой с сарказмом смакуется процесс обливания грязью порядочного человека — писательницы. Я знаю Нину с наших студенческих лет начала шестидесятых годов как исключительно законопослушного и порядочного человека. Сосед терроризирует семью Нины своим пьянством, хамством и игнорированием элементарных норм проживания в коммунальных квартирах. В августе 2006 года я нанес визит семье Горлановых и ужаснулся условиями их проживания в коммунальной квартире... считаю, что идет травля писательницы и это дело сфабриковано. Потерпевшая очень плохо слышит и на достоверность её показаний о произнесенных оскорблениях полагаться не следует».

16 января 2008 г.

Аркадий Бурштейн в Живом Журнале отвечает одному журналисту из «Комсомолки»:

«Заявление, что картинка, отраженная в заметке — написана самими действующими лицами — демагогия и вранье. Вот цитата: а к соседу «время от времени навевдалась родная мать. И не нравилось это семье писательницы. Ведь когда сын объединяется с матерью, то это уже двойная угроза миру...» Что можно понять из этой фразы? Что стержневой семье Горлановой не нравится, что мать приходит в гости к сыну. И фраза эта сознательно написана так, и написана не действующими лицами в зале суда»...

17 января

Сосед бегает ночью, вскрикивает: «Да что такое, б...дь! Да что такое!» Понимай: да что такое, водка с неба не льется!

Заглянула на Яндекс — оказывается, Туркина убрала свой пост «Суд над Горлановой — суд Божий». Почему? Может, кто-то ее пристыдил? У меня недоумение: была Туркина моим ангелом, затем — дьяволом, а вот снова рванула к чистоте! И сразу так повысилось настроение! Оказывается, даже небольшое просветление

оживляет сердце.

А про «Комсомолку» мне сказала одна тележурналистка:

— Сейчас такие СМИ. Я говорю начальнице: «Гам авария. Семь машин столкнулись. Написать?» — «Жертвы есть?» — «Нет». — «Жаль».

19 января. Крещение Господне. Господи, в день Твоего Крещения прошу: помоги моему отцу Виктору исцелиться, избави его от мучений!

Вчера вечером позвонила мамочка: папу увезли на скорой...

А позавчера я разговаривала с папой по телефону, зазвонил мобильник, я говорю: мол, пока — звонит мобильник. А папа заметил: мол, вы уж так заняты. Я потом часа два чувствовала себя виноватой.

Вчера звонил Сеня — хочет прийти на суд как общественный защитник:

— Я им скажу, что у тебя литературный салон, что мы собирались у тебя стихи почитать.

Я закричала:

— Сенечка, дорогой, нас сразу обвинят в нарушении прав соседа. Мы не докажем, что тихо читали... Наши слова для них — комариный писк! Мы для них не люди. Вон по «Эху» слышала: один юрист заявил, что суд — не место защиты прав, а место оформления политической воли.

Звонок папы из больницы. Слава Богу, боли сняли, голос бодрый — говорит, что ночью молился (Привел Господь! Какое счастье, что начал молиться!)

21 января

Умер папочка. А я под подпиской о невыезде...

22 января 2008 г.

Как вчера сказала Люся Гашева: «80 лет — хороший возраст для мужчины».

Да, хороший. Почему же так тяжело? Потому что советская власть прошла по судьбе папы всеми своими тяжелыми ударами. Когда их семью раскулачили (или разорили), моя бабушка сразу умерла от разрыва сердца. А дедушка увел папу двухлетнего к крестному, который сдал его в детдом (чтоб в Сибирь не везти на погибель).

Второй день, а не верится, что нет папы на этой земле. Вот

он встречается меня у вагона поезда, вот он стоит на лестнице возле черешни. Вот молодой летит на мотоцикле...

Даша полетит на похороны, наша дорогая деточка.

– В такие дни особенно чувствуешь, что тот свет существует, – сказала Агния.

Да, я тоже чувствую, что папа жив ТАМ и как будто доволен, что нас не намучил.

24 января 2008 г.

Т. Н. пишет мне в Живом Журнале (после моего отрывка о строгости отца): «Нина!!! Да тебя, ласточка моя, в детстве недолюбили! Отсюда все твои горести. Детского запаса любви должно хватать на долгое-долгое здоровье. Как летние витамины печень накапливает на всю зиму».

Я ответила так: пока не нахожу связи моих горестей с папой – суд, что ли, с ним связан? Или квартирный вопрос, который в нашей стране до сих пор всех портит!

И кого в детстве долюбили? Чехова, которого в 5 утра поднимали в церковный хор?

Или Толстого, у которого мама умерла, когда он был кроха?

Или Достоевского?!

Вчера мы поминали у нас папу. Были Антон с Анечкой, Агния, Соня и Миша с малышами и Миша Мурашев (Даша улетела в Калитву).

Внук Саша (ему сейчас 6 лет) попросил Славу почитать ему Толкиена (как всегда), очень верно комментировал («Это кольцо зла внушило ему злые мысли»), мы похвалили его, и вдруг с радости Саша начал сыпать обещания:

– Я куплю всем вам машины: дедушке – субару, бабушке – субару! Я ведь буду пиццу развозить, много заработаю...

Поставила фотографию папы рядом с компьютером. Все еще не верится, что он умер. С мамочкой связываюсь по четыре раза в день, и столько же раз – она со мной.

Как мне трудно всех уговорить выступить в мою защиту на суде.

Вчера просила В.: мол, скажи, что я езжу по святым местам. А она сразу:

– Может, соседи скажут или Скворушка...

Я чуть не упала со стула. Какой Скворушка? Я его не видела лет двадцать. И так-то не просто быть судимой в том городе, где живет твоя первая любовь... но просить его меня защищать! Это уж просто не знаю что...

26 января.

Болею, пью антибиотики в двойной дозе...

Звонила Таня Шмидт. Мол, на выставке «Арт-Пермь» по 3 раза в день крутят фильм обо мне. В одном углу города крутят фильм обо мне, в другом — судят меня. Видимо, это как-то связано.

Одна писательница — мне — в Живом Журнале: запишите своего соседа на диктофон и дайте послушать на суде.

Я сто раз объясняла ей, что мы судимся НЕ с соседом, а его мать на нас подала в суд! Но люди иногда никого не слышат, кроме себя.

Еще она пишет: «Не будь на суде отсутствующе инертной (как на видео). Не сиди барыней».

Какой барыней можно сидеть в суде! Там только глотаешь таблетки без конца и думаешь: не умереть бы от разрыва сердца! И на видео в «Комсомолке» я не сижу барыней, а в полубомороке...

Из Живого Журнала: «Сейчас каждый алкаш может подать на вас в суд за оскорбление чести и достоинства! Суки, жрите свою демократию вместе с правами человека».

Как будто в советское время суды были не по звонку...

27 января

Мама вчера сказала, что сорок дней пройдет и она поедет к нам в гости. Я ей:

— Мамочка, да наш сосед бьет нас, спать не дает неделями!

Вот новая проблема теперь. Я вечером от бессилия перед жизнью долго плакала в темноте. Потом включила Эхо Москвы. Повторяли Латынину, в том числе она снова сказала: «Что вы хотите, если у нас судят матерей Беслана за то, что они не смирились со смертью детей».

28 января 2008 г.

Пью по семь капсул доксицилина вместо двух. И чуть-чуть стало мне легче. Но чуть. Но легче. Говорю Славе: хотя бы сто картин написать для посмертной выставки. А он отвечает: ты еще на пять выставок напишешь... Но я едва дышу. На сколько хватит сил горстями пить антибиотики...

Между тем моя фиалка синяя набрала цвет и вот-вот распухнет два цветочка. В январе! Чудеса. Никогда такого еще не было. Может, удастся мне выжить и пожить еще, полюбоваться на цветы, небо, на родные буквы?

...Сегодня пошел камень с такой силой, что я своими дикими криками испугала Славу. И он сказал: не будет больше читать

Евангелие!

Тут уже я сама испугалась за нас и стала говорить, что Господь лучше знает, что мне послать — чтоб я глупостей не наделала... — может — я бы взяла опять чужую девочку (а я хочу все время взять китаяночку приемную), и мы бы не справились.

И Слава сел читать очередную главу Евангелия. Прости нас, Господи!

Сейчас я вывешиваю в Живом Журнале побольше повестей, чтоб они остались людям.

29 января

Девять дней со дня смерти папочки. Я его фотографию целую, говорю:

— Папа, борись там за свое место в раю! Проси Господа о милости, о прощении.

О риэлторах: были за эти дни уже от двух фирм. Как мы и предполагали, без доплаты не переехать. А доплатить нечем. Страна лопает от нефтедолларов, а двум писателям невозможно уехать от садиста соседа в самую крошечную малосемейку! О, родина-родина...

А Чехов в одиночку

На 25 деревень —

Часто ночью —

Изо дня в день

Работал на холере!

Сейчас многим —

За компом и на пленэре —

До него, как до Бога.

Видела во сне, что у нас гости, а сосед ворвался. Гости его сбросили на пол, он лежит, как таракан, ручками-ножками сучит. Я хочу вызвать милицию, мне говорят: номер ее изменился. (Отголоски разговора с Л., которая спрашивала: «Нет ли какой частной милиции, которая на самом деле помогает?»)

Звонил из ПЕН-клуба Алексей Симонов. Он обещает поддерживать меня, если приговор будет ужасен. Даже сам звонок его — для меня большая поддержка. Я как-то внутренне повеселела. Правда, все равно не спится.

Вчера сын сказал: есть вариант на Кутаисской. Без горячей воды, но зато по цене подходит. Но пока я советовалась с Дашей, сколько стоит колонка газовая... квартиру уже перехватили.

1 февраля

Зимнее робкое солнце, жемчужный денек. Но радоваться-любоваться некогда. Вчера сосед упал в туалете и схватился за тру-

бу. С тех пор из стыка течет, сегодня уже и сильно. До пенсии все равно у нас нет денег на ремонт...

Слезы стекают за рукава и за обшлаг.

2 февраля.

Около двух утра еще. Не спится. Включила комп. Кажется, что завтра всех засудят, а не только меня. Что жить в этой стране нельзя.

4 февраля 2008 г.

Не сплю. Сосед носится из киоска и в киоск. Еще так воют собаки вторую ночь! И мне хочется тоже вот повыть...

Не выспавшись, мы шли рано в суд, а на улице — снегопад, мягкий такой, словно для нашего утешения. И на секунду показалось, что сейчас мне откроются тайны бытия и тайна этого суда тоже.

5 февраля

Вчера после суда я совсем расклеилась. Но вы будете смеяться: доксициклин опять помогает.

Агния мне брови покрасила перед судом. А я — такая хитрая! — зашла с пенсии в секунд и купила юбку к лету. Если жить не захочется, думаю, то вот юбка новая. Нина, давай держись — надо ее поносить, она прекрасна!

Вечером позвонила Вера: детская библиотека просит выступить со сказками. А я про себя думаю: часть этих детей вырастет милиционерами, часть прокурорами, кто судьей, кто дознавателем.

Милиционеры будут пинками гнать невинных в отделение, прокуроры — возбуждать дела против этих невинных, дознаватели будут доводить их до инсульта, а судьи осуждать. А Слава говорит:

— Если сказки детям читать, то, может, кто-то и порядочным будет.

— Еще кто-то, может, вырастет святым, — добавила Агния.

Когда Агния красила мне брови нежными касаниями рук, я вдруг в голос запричитала:

— Да как это все вынести! Тратить драгоценную жизнь на суды!

— Мама, всем приходили испытания. Пушкин два раза в ссылке был.

— Так Пушкин в ссылке — за стихи. Так и говорили: за стихи. А меня за что судят? За оскорбления, которые я не совершала?

— Ты вспомни, мама, как недавно закрыли НТВ: за долги яко-

бы...

Тут сосед с силой и ненавистью хлопнул нашей дверью. Весь дом затрясся. Я говорю: как это Господь не унесет его куда-то подлечиться!

— Сталина не унес, Гитлера не унес, а его унесет, что ли (Слава).

Когда мы в коридоре суда ждали адвокатов, пришел Асланьян и сразу:

— Где тут преступники? Ну, не бойся, Нина, больше 5 лет не дадут...

Были также Наденька, Наташа, Сережа Копышко, журналисты. Еще из «Пермобоза» Вадим и НН приехали домой потом к нам, брали интервью. Я подарила им пять картин.

В Живом журнале кто-то мне написал: «А может, губернатор — сам писатель — завидует?» Я не успела удалить — ответил другой блоггер:

«Этого не может быть — он уверен, что его проза лучше».

Мы подали встречный иск вчера. Судья Кривдина (так я ее мысленно называю) прокомментировала:

— Вы не думайте, что ваши дела равны! Дело против вас, Горланова, заведено прокуратурой!

Так мне в очередной раз напомнили, что все еще у нас государство ставится выше личности. Я спросила, почему прокуратура поддержала мать соседа.

— Потому что она — инвалид.

— Но мой муж тоже инвалид и подал заявление тем же числом, а вы его вернули. Почему?

— Вы будете спорить с судьей?

Кстати выяснилось, что тот наряд милиции, который забирал соседа 6 апреля 07г., куда-то якобы исчез. Искал его дознаватель и, якобы, не мог найти. Наши адвокаты только плечами пожимают: есть же график милицеских дежурств, и все вызовы записываются.

Когда мать соседа узнала, что мы подали встречное заявление, она вскочила:

— Мне некогда с вами тут сидеть, — и убежала из зала суда.

Ну, теперь о самом тяжелом. Трудно писать, но лучше пусть будет горькая правда, чем умолчание. Перед судом — утром, после бессонной ночи с соседом — я была в таком ужасном состоянии, отчаяния и бунта — что ли. Я хотела снять крестик и отказаться от Бога. Идти на суд без креста. Но от одной этой мысли я почувство-

вала такое одиночество, брошенность и пустоту, что спохватилась и покаялась... Так могу хотя бы молиться: «Господи, держи меня за руку!» А без молитв что делать? Только злиться на зло мира?

6 февраля.

С утра в Живом Журнале провокационное письмо от неизвестного: «Нина, сосед ваш долго не будет вас мучить, т.к. ваш адрес есть в мегаполисе».

Я ответила так: мы молимся, чтоб Господь унес соседа полечиться (что правда).

Что еще нужно властям, я уж не знаю. Никак не могут остановиться в преследовании меня. Теперь что-то сделают с соседом, а меня обвинят.

И вдруг ловлю краем уха разговор Славы с Агнией.

— Если бы тараканы умели улыбаться, мы бы не смогли их уничтожать, — сказал Слава.

И я подумала: меня вот лишили улыбки. А она так дорого ценится! Да, даже тараканов не смогли бы убивать, если б они умели улыбаться. А я умела, но...

7 февраля

Ночь-утро. Проснулась от грохота: сосед упал в туалете — сломал унитаз, который мы только что отремонтировали!!!

К счастью, Иртеньев, наш ангел, прислал деньги на месячный курс лечения — придется потратить на унитаз...

Зато на суде впервые молилась за врагов: за соседей, судью, прокурора.

9 февраля

Ночью случился криз, давление за 200, рвота. Но, все-таки, я сначала Славу будила, он подавал мне по две диротона, потом стала сама вставать и пить по три диротона...

Кто-то написал мне в Живом Журнале: ваш сосед упал исключительно неудачно в туалете; вместо того, чтобы сломать себе башку, он сломал унитаз.

11 февраля

Сосед вчера привел сразу двух женщин! И ночью носился в киоск — из киоска (дамы требовали водки), потом — часовые сморкания на кухне. На работу он с такой радости не пошел. Мать его заявила с утра и кричала сначала на него, а затем, как водится, на нас. Слава пытался еще что-то мне веселое протолкнуть в сердце:

— Надо жить, жить! Внук ведь обещал, что будет развозить

пищцу и купит тебе субару и мне субару.

14 февраля.

Вчера мать соседа не явилась в суд — ответчицей-подсудимой быть не хочет (а хочет владычицей морскою). Я вечером заболела — пью снова доксициклин, никуда не гоюсь совсем.

Россия заняла второе место в мире по числу самоубийств.

16 февраля

«Нина Викторовна, долго не решался написать об этом, потому что боялся сказать глупость, сделать какой-нибудь бестактный комплимент, но сейчас просто не могу промолчать: мне страшно нравятся в Живом Журнале эти Ваши услышанные разговоры, маленькие портреты, всё, что по-моему, можно объединить эпиграфом: «Слава с ними вышивал, а я»... тут, простите, просится — «закусывала», но нет — «записывала»! Спасибо огромное и будьте здоровы! Ваш А. Ф.»

Вот так! Живой Журнал временами буквально дает силы жить!

17 февраля.

Вчера мать соседа включила газ в духовке, но не подожгла. То ли спьяну, то ли с похмелья, то ли в маразм она впала — не понять уже. К счастью, мы со Славой именно в это время вышли на кухню и выключили! Со мной сделалась истерика, а Слава спокойно говорил:

— Ну если она нас взорвет — так это еще лучше! Мы перестанем мучиться от жизни рядом с такими ужасными людьми.

— Так это же, если сразу насмерть... а если взрыв только нас искалечит?

Но! Есть одно НО: не будь соседей — враги мои какое бы дело завели? Наркотики бы подбросили, а это еще хуже...

«Танечка, пишет Вам Нина Горланова — только не смейтесь надо мной! Сейчас видела по РенТВ, что жена Кудрина занимается благотворительностью. Нам позарез нужно уехать из коммуналки — просто мы гибнем! За месяц сосед несколько раз упал в туалете (все там ломает — он такой огромный)...ни копейки не дает на ремонт, конечно... и каждый день да через день газ они включают, но забывают зажечь...»

20 февраля

Вчера «Урал» вывесил вторую порцию моей «Бр-тр». Я прочла, говорю:

- До суда я была наивна и глуповата.
- Век бы этой мудрости не знать, (Слава).

22 февраля

- Ты успокой свое внутреннее животное (я соседу).
- Сама животное!
- Я подсознание имела в виду.

Ночью крики пьяного соседа.

- Глас пиющего в пустыне (Слава).

23 февраля.

... Вот пишу в два часа утра — ночи. Сосед и его мадам ужасно напились, делают мимо, запахи ужасные, а главное — лезут драться, и сил уже нет. Я пыталась милицию вызвать, но там занято все.

А ведь день был такой хороший: работали, потом пришло письмо из деревни от учительницы, которая победила в конкурсе на учителя года — давала урок по моим хокку.

После по культуре — «Линия жизни», но я вдруг перестала слышать, затем уже у меня и рука левая заболела... и соседи вышли делать мимо... и так стало плохо мне, что включила комп.

...Пишу утром. Металлический блеск снега за окном. Всю ночь не спала — щека ходуном ходила от тика, и я уже хотела скорую вызывать. Но все же пила горстями все таблетки, и вот встала... Мама позвонила — Славу хотела поздравить с 23 февраля (советское воспитание). Я говорю: он спит, болен гриппом, ночью не спал. Она приказным голосом: разбуди. Я тогда честно говорю, что сосед не давал всю ночь спать. Мама:

- Приезжайте жить ко мне!

Да, легко сказать, но она будет там приказным голосом каждую секунду меня строить под себя.

Вчера Игоря Волгина в «Линии жизни» спросили о самом страшном потрясении в его биографии. Он сказал: когда ребенком узнал про дело врачей и понял, что это конец.

А я сразу подумала: когда за мной пришли два милиционера и заявили, что приказано пинками доставить нас с мужем в отделение...

Еще Волгин говорил о литературе предупреждения (Достоевский). Да, подумала я, писала я в этом направлении («Наследство» и тп), а вот в XXI веке стала писать только рассказы о любви... и тогда меня под суд, чтоб вернулась к серьезным вещам?

О стремлении изменить судьбу: и Пушкин едет на дуэль, и Толстой бежит из дома. Можно к примерам Волгина добавить Ман-

дельштама, читающего стихотворение о Сталине, и Пастернака, напечатавшего роман за границей.

А я вот страдать не хотела. Так и говорила: гении страдали, но я-то не гений, буду писать только о любви.

Так что же в моей судьбе такое, чего не могут мне простить власти и судят?

Судьба — судьба! Как же я была наивна минуту тому назад! Сейчас вот позвонил незнакомый человек и сказал:

— Вы еще не поняли, что ли? Против вас заведено уголовное дело, потому что в вашем подъезде продают наркоту, и всем нужно, чтобы вас тут не было.

А я все про судьбу! Какая судьба, когда наркоту надо людям продавать. И в самом деле: шприцы валяются на каждой площадке в подъезде.

В Живом Журнале одна дама из Питера сегодня написала мне, что мой суд очень комфортабелен: с телевидением, друзьями в зале и адвокатами. Так и пишет: «Я сама не судилась, но...» (Я Пастернака не читал, но скажу...)

Как будто ТВ за меня! Все репортажи очень сбалансированы: пятьдесят процентов текста за меня, и столько же — за соседней. А газеты некоторые вообще против меня — на все сто.

И никаких друзей мировой судья в зал не пустила. Они сидели в коридоре.

Славу попросили как-то нарисовать несуществующее животное (тест для доклада). Он изобразил «веселюгу» с Юпитера. А теперь и Слава не тот, но все же старается чем-нибудь да подбодрить меня порой: — Если бы все люди были хорошими, о чем бы мы писали?

Прочла у Чуковского: «К нашему общему стыду, Пастернак живет бедно». Наверно, никакого общего стыда и не было. Чуковский один его ощущал за всех.

28 февраля.

Позвонил Сеня: по «Эху Перми» передали, что хотят завести уголовное дело на Аверкиева по статье «Экстремизм». Мы разволновались, зажгли свечу. Стали молиться...

Вчера видели передачу: восьминогие лягушки мучаются. Паразиты внедрились еще в головастиков, нарушили схему развития лап, и бедные восьминогие едва ползают. Нет у них языка, чтобы пожаловаться, нет врачей, чтобы оперироваться.

А ведь так же люди-паразиты внедрили в организм моей родины, и она превращается в чудовище...

Звонят в дверь.

— Кто там?

Юра:

— Сейчас осмотрю себя, идентифицирую, кто я.

— А может, заодно скажешь, кто я? К кому ты пришел? Преступница я или нет?

Давным-давно в сказке пришла девочка на земляничную поляну и возмечтала изобрести для людей лекарство от всех болезней. Неужели эта девочка была я?

Только что мне прислали статью Ксении Гашевой о моем юбилее: «Лекарством от всех болезней оказалась проза».

О, если вам нужна моя проза, то я напишу ее много-много! Только не судите меня!

А не погадать ли мне по «Мифам народов мира»? Почему суд, за что?

Открою наугад. Да, наугад.

И мне выпал... Прометей! Прометей должен быть прикован.

Но это уж слишком.

29 февраля.

Сон: якобы объявили, что можно приносить предложения об устройстве России. И я я несу некие предложения свои в академию. И даже понимаю, что так выявляют людей, которые хотят улучшить жизнь россиян (чтоб уничтожить этих активных людей). Но, все равно, несу свои листочки с идеями...

3 февраля

В Живом Журнале кто-то написал оптимистически: на Украине пришли к демократии, а мы ведь родственные народы. Может, и нам повезет.

В ЖЖ прочла сегодня, что в Перми на избирательном участке одна женщина пыталась себя сжечь...

Я говорю В.С.: якобы нас судят из-за наркотиков, которыми в подъезде торгуют.

— Нина Викторовна, ну что вы, право! При чем тут наркотики! Власть хочет, чтоб вымер народ, чтоб интеллигенция не повела его на баррикады, для этого ее надо угнетать, страх нагонять. Вот вузы гнобят по пожарной линии, а Вас — якобы за соседей...

— Кремль мечтает, что все мы вымерем — наймут турецких рабочих качать нефть?

— И не заметят, как турецкие рабочие превратятся в русских! (Слава).

— В русских можно превратиться среди русских, а нас же к вымиранию ведут!

4 февраля

Тост гостей:

— За успешное окончание судебного процесса!

— Много пить придется. (Я)

— Нас этим не испугать. (Слава)

Мы подписали письмо в защиту Тарусского кардиоцентра.

— За что же все-таки конкретно судят? Хочется, все-таки, понять. А Русь все по-прежнему: ждите ответа, ждите ответа.

— Ты так сойдешь с ума, гадая.

— Может, для того и судят, чтобы свести с ума.

12 марта

Не спала, видела по 1 каналу отрывочек фильма Познера об Америке. Когда полицейский искренне объяснял, что главная их задача — ПОМОГАТЬ людям, я заплакала. Как сокрушалась вчера по «Эху» Нарусова: когда же наши правоохранительные органы перестанут быть правоохранительными?

15 марта

Во сне мы со Славой засолили две банки: огурцов и рыбы. Пришли дети, я говорю Славе: «Давай огурцы откроем и угостим». Слава попробовал один огурец и говорит: «Нет-нет, их нельзя есть, горькие». А я догадалась тут сразу: «Горечь жизни даже сквозь стекло проникла».

Вчера из Германии с оказией прислали гонорар. Женщина, давно живущая в Германии, с ужасом рассказала, как шла к нам — в сапоги грязь ей заплеснулась (такие лужи). Я подарила ей Ахматову, оплакивающую Россию, и много других картиночек.

Еще много картин подарила студентам, их приводила Юля. Пока она писала диссертацию по моей прозе, я успела ее полюбить.

Вчера Кабаков по ТВ говорил о тревоге за русский язык.

— Падонский язык — это проверка языка на прочность (Слава).

А я:

— Могло бы быть все гораздо хуже. Вдруг бы Сталин захотел

отменить русский язык в угоду интернационализму и ввести указом эсперанто.

Вчера «Новый мир»-3 повесил нашу пьесу. Слава сказал:
— Голливуд, спешите купить у нас!!! Пора одуматься!
Я так смеялась, что резко подскочило давление.

По «Эху» слышала: пошли показательные суды над теми, кто подписывал листы Касьянову перед президентскими выборами. Опять суды! И все показательные! Как надо мной.

— Нина, ты стала слишком много молиться — вот бесы и налетели искушать.

Сосед и его мадам напились, вышли голые — сделали мимо в туалете, мы просили затереть, но получили... я — много мата, а мой муж — кулаком по лицу, а мадам ногтями разодрала Славе веко. Мы почти час не могли остановить кровь. Сейчас Слава ушел снимать побои в травмпункт.

Из-за искусственного сустава он не может отскочить или присесть — отклониться.

Да и сосед с мадам много моложе нас.

23 марта

Слава вчера ходил в травмпункт — зафиксировал побои. А соседка милиция отпустила еще до полуночи — он всю ночь бегал, не дал поспать...

Слава перед зеркалом обрабатывает сейчас раны на лице (зеленкой): фронтальные будни...

Шея у него тоже болит, и на скуле синяк, а вчера он не понял этого и снимок не сделал в травмпункте. Глаза налиты кровью... Но надо идти в синагогу на 2 урока. Ученики подумают, что жена бьет Букура... Уходя, Слава вдруг громко закричал в коридоре:

— Ну, Андрею передавай привет! — и начал мне подмигивать, то есть — для соседа крик, чтоб меня не обижал, боясь прихода мифического Андрея.

Прервалась: измерила давление. 70 на 40 (вообще, видимо, ушли из меня силы жизни)

И жить не хочу. А вот повесть дописать бы... и потом бы... а потом еще что-то, Нина. Держись ты, милая-родная деточка моя (слезы души)...

27 марта.

Пишу ночью. Сон не идет.

Вчера мать соседа опять не явилась на суд, хотя он — по ее за-

явлению! Это специальное издевательство, видимо...

Зато в суд Наденька неожиданно принесла... роскошный свитер для Славы (купила сыну в секонд-хенде, но велик). Такой с молдавским рисунком — просто чудо, а не свитер. И в коридоре стала рукава прикладывать к Славе, чтоб проверить, подойдет ли. И этот огромный свитер с национальным орнаментом расцвел так хорошо в коридоре суда! То есть это было и некстати, и в то же время так по-домашнему — скрасило полчаса в коридоре, когда решался вопрос о том, чтоб отложить и пр (это наш адвокат решал).

Вчера судью сменили. «Нашу» Кривдину повысили.

И все по новой начинается: всех свидетелей вызывают опять!

Более семи месяцев прошло со дня прихода к нам милиционеров, и когда процесс судебный приблизился к окончанию — его запустили с начала.

И что — через семь месяцев сменят судью еще раз?

А после еще раз, затем еще — так до смерти будут меня судить?!

Ох, хорошо продумано все! У них.

Пластмассовые сердца! Слава прав: в нашей стране во время сталинизма произошла антропологическая катастрофа.

Я заболела снова — начала пить антибиотики, а что делать...

Попросила Славу со мной делать алфавитный список всего, что написали. Он:

— Зачем? Я не буду заниматься переизданиями, если ты умрешь.

Я заплакала. Это же наши дети — рассказы, повести, романы. А он готов их бросить на произвол судьбы!

28 марта

Вышла я на почту — весна, пахнет первый день пробуждающейся землей, и я впервые подумала, что хорошо будет в ней лежать.

29 марта

Сегодня закончили рассказ «Жители фисташкового дома». Это после инсульта уже второй рассказ.

Приезжала Танечка, провела фотосессию. Слава положил апельсин между нами.

— Почему апельсин между головами?

— А почему суд?

30 марта 2008 г.

Нас вчера Сережа возил на юбилей. Люди выпили и как-то

особенно убедительно утешали меня:

– Нина, нужно глубоко насрать на все проблемы! Понимаешь? Глубоко!

Сереза прочел стихи о нас:

– Писали б детективы,
И были б взятки гладки.
Стояли бы под окнами
Красивые фанатки,
Просили бы автографы,
Дежурили фотографы... и т.д.

1 апреля.

Вчера звонят из газеты «Звезда»: мол, готовим первоапрельский номер — расскажите про то, как вы разыгрывали кого-то... Хотят меня судить и чтоб при этом я еще веселила их 1 апреля! Нет уж, увольте! Не дождетесь. Сказала так: сейчас пост и нельзя...

– Напилась, потому что стресс от суда.

– Брось, Нина. Стрессы — это когда выпил бутылку водки и с ужасом видишь, что не пьянеешь.

– Лучшие подруги считают, что суд надо мной — никакой не заказной, и что я схожу с ума.

– Нина, они прекрасно понимают, что это заказуха, но боятся властей...

Год назад на обоях возле своего дивана я написала: «Дожить до мая 2008 года!» И вот уже апрель, и видно, что в России все становится хуже, а не лучше, как я надеялась. Но те же подруги, которые говорят, что суд не заказной, помогают деньгами...

Иногда уж прямо их спрашиваю:

– Если суд не заказной, то что происходит? Вы-то знаете, что я никого не оскорбляю никогда!

– Это ошибка судьи.

– Но до судьи пришли — пинками нас доставить!

– Это у нас такая милиция.

– А группу инвалидности не дают почему?

– Такая у нас медицина.

– Ничего подобного! Заведующая поликлиникой прямо сказала, что медкарту не отдает прокуратура...

– Значит, такая у нас прокуратура.

– А на письмо ПЕН-клуба почему губер не отвечает?

– Такой у нас губернатор...

Вчера позвонила мне Л.

– Ниночка, за что России такая судьба?

— А за что Германии такая судьба? (Я)

— А за что всем такая судьба — в разное историческое время?
(Слава)

Л. упорно считает, что русский народ пьющий и ленивый. А кто все построил, что приватизировано? А мои зятя и дочери — все на двух работах.

Со времен Сталина мало что изменилось. Было две России: одна сажала, другая сидела. А теперь одна Россия ворует, а другая от этого страдает.

3 апреля

И, все-таки, жизнь движется вперед не благодаря хамству милиции, подлости дознавателей, продажности судей и прокуроров. Она идет вперед благодаря тому, что порядочные люди делают свою работу. То есть — благодаря нам! А все эти коросты на теле жизни должны отпасть и не попасть ни в историю, ни в рай.

Вчера были внуки. В коробке из-под компьютера они летали на Луну, Слава брал интервью у космонавтов от газеты «Космические слухи».

Все-таки, хорошо, что есть внуки!

А Кюхельбекер только во сне в остроге видел детей и каждый раз радовался таким снам.

А я все: суд, суд надо мной!

Но жизнь шире одного суда, в ней есть внуки!

Кстати, о суде. Году так в 2001-м Слава подал телеграмму на НТВ: «Уберите Мефистофеля из рекламы, пожалуйста, и тогда все закончится хорошо». Удивительно, но эту рекламу на следующий день с НТВ убрали. И закончилось в каком-то смысле хорошо: Гусинского из тюрьмы выпустили. Но НТВ все равно закрыли, а вместе с ним — свободу слова.

Вечером сосед привел свою сожительницу — ее голос — ржавое сверло — насквозь просверлил всю квартиру. Слава сказал:

— Давай уедем в Канаду. Там такой же климат, как на Урале.

Я промолчала. Через десять минут из его угла грянуло:

— А если во Францию, то в Бретань. Это на севере, и легче акклиматизироваться.

Пишу в полночь — то есть в начале 8 апреля.

Сегодня был исключительно хороший день — редкий! Почти хорошо себя чувствовала

(ну, на рулиде, на арбидоле. но, все-таки, вчера и на этом был озноб) и вот много-много писала картин, затем сняла сухие и по-

слала в Калининград — друг из Живого Журнала прислал мне лекарство, так я его хочу отблагодарить.

Но сейчас, вечером, страхи меня обуяли: мерещится, что кагэбэшник — прототип «Решения Валерия» — ходит вокруг нашего дома...

А поскольку с тика начался инсульт, я нервничаю, когда сно-ва тик. Слава говорит: «Подумаешь — тик. У меня часто тик».

Но инсульта у него не было, так что-то можно объяснить ему, что ли...

Искала для нового рассказа костюмы и закаты, нашла в записях за лето 2007 года — я в отделе культуры сказала про то, что в 2008 году может смениться мэр или губер, и они мне помогут... Еще там Славаина реплика: «Зачем ты это сказала чиновникам! Тебя убьют».

Это разгадка?

Ведь через несколько дней после этого разговора завели как раз уголовное дело.

Помню детали этого визита в отдел культуры — я была с пучком зеленого лука в руках. Сосед нас ночью сильно избил, и когда я увидела лук, мне нестерпимо захотелось его! Нервы-то горели. И все чиновники спрашивали, почему я с луком, но никто не спросил, почему я в слезах.

— Напиши такую картину: ты с луком и чиновники...

— Стукачи — самые несчастные. За них не молятся даже христиане. Они же тайные сотрудники. Их грехи никому не известны. И никто за них не молится.

Слышала по «Эху» экстренный выпуск: ОМОН разогнал демонстрацию жителей пермского общежития. Новый хозяин здания прямо сказал этим жителям, что у него хватит денег, чтобы КУПИТЬ ВСЕ СУДЫ.

Я заплакала. Стабфонд полон нефтяных денег, население России уменьшается каждый год на полмиллиона, но 200 человек с детьми гонят на улице. И злодеи могут купить ВСЕ СУДЫ!

Читатель, дорогой, тебе слышен гудок философского парохода? Мне тоже...

10 апреля

Видела во сне: Господь держит меня за руку, а ногами пинает моих врагов под дых.

— Он не пинает, Он на самом деле всех держит за руку, только

многие сами вырываются и начинают падать. (Слава).

12 апреля

Вот и еще один друг не верит в то, что дело заказано сверху...

— Почему из него не вышел большой писатель?

— Потому что из частей пулемета можно собрать только пулемет.

Но Агния повторила: эта жизнь не главная. И нечего переживать.

Слава:

— Если бы не пост, то можно было бы выпить бокал вина, и первый тост — за городские первоцветы!

А я вот думаю: наступит ли такое счастливое время в моей жизни, когда все тосты будут о первоцветах, и никакого суда, никакого прокурора!

Сегодня юбилей Островского. Много он тоже был под судом. Купцы писали жалобу царю, драматурга выгнали с работы и — под надзор полиции! А еще всю жизнь с ним судился друг, требовавший компенсации за моральный ущерб (в одной пьесе изобразил семью эту)...

У меня вышло 9 книг — ни один редактор не взял рассказ «Депутат с ружьем». Прямо так и говорили:

— Если напечатаем — убьют!

А я упорно всюду по конкурсам рассылала этого «Депутата»... пока он совсем не потерялся (написан в эру докомпьютерную). Неужели дошел до прототипа? И за это — суд? То есть этот прототип организовал процесс судебный надо мной?

— Да они не читают ничего (Слава).

— Тогда почему меня судят?.. Вы лет 30 не печатайте его — после моей смерти. Вам ведь жить в этом городе.

— Ничего не будет, — уверяет Слава.

— Ну, печатайте, только потом не бейтесь головой о крест и не кричите мне под крышку гроба: «Ниночка, мы не послушались, и вот получили!»

— А могильный холмик будет в ответ ехидно колыхаться...

13 апреля

Вчера по «Эху» Юлия Латынина прямо сказала:

— Мы живем в стране, оккупированной ментами. И сегодня в Москве прошел первый митинг против бесправных действий милиции (который был жестоко разогнан).

Когда-то Смирин говорил: победа хаоса — бои местного значения, как битву можно проиграть, а войну выиграть. Рано или поздно, повторял он, но наступает победа логоса над хаосом. Но что-то затянулось ожидание этой победы...

20 апреля.

Слышала по «Эху Москвы», что в Финляндии люди вышли на митинг к нашему посольству: протестуют против произвола милиции в России!

21 апреля.

Началась страстная неделя. Я бы хотела ее посвятить молитвам, как обычно, но... у меня очень уж тяжелая пора: в среду два суда (и надо мной, и по моему иску).

Сегодня не спала. Новый судья! Почему? Кто это все устраивает, каким будет этот новый (пусть кажется, что хуже уже некуда, но опыт подсказывает, что всегда есть куда)...

Ходила в книжный, купила внуку Ване книгу про подвиги Геракла (он заказал). Хотела позвонить Соне: мол, если умру в среду от судов, то книжка справа от телевизора... Но сдержалась.

...Выпила треть стакана кагора, разбавленного водой...

Господи, помоги мне в Чистый Твой Понедельник!!! Прошу Тебя горячо-горячо!!! Горячее некуда!!! Суд этот меня замучил, Ты же видишь!!!

Внук Тема причастился и для меня вчера нарисовал про это.

— Тема, а рядом с Распятием что у тебя?

— Ракета — Королев сделал для полетов в космос.

Сейчас, в шесть лет, это для него самое важное: Распятие и космическая ракета. Что-то тут чудится: может, в будущем от всей истории человечества только это и останется: Христос и Королев, Распятие и ракета...

А кто вот знает: может, от моей жизни только и останется, что этот суд, который не сломал меня. Пока еще не сломал.

Но глаз левый в тике, сердце стонет, кашель ужасный...

Сегодня читали: перед концом света зло должно нарастать. Сказано: не мир спасется, но человек...

22 апреля.

Великий Вторник. Во сне писала в центральную газету про суд. И в то же время говорю кому-то вслух: как бы это письмо не повредило! Не стало бы хуже! Само письмо в виде... воды на моей картине «Иоанн Креститель»: то есть сине-бело-черное, ведь он в черной шкуре, и она тоже отражается.

Проснулась от сердечного приступа... Ну, что делать. Выпила горсть лекарств и за компьютер.

Позвонила Оля: узнать, как я перед судом. Я говорю:

– Все время кажется, что я – та коза на веревочке – которая сейчас еще травку щиплет, а вот придет хозяин и поведет козочку, куда захочет... веревка натянется и придется идти. Раньше я была свободна, а теперь меня тянут в суд за веревку. И я эту веревку все время вижу-чувствую.

Не могу я суд («какую-то черную доведь») в мыслях на секунду отодвинуть – даже во сне. Слава вечером приехал из больницы и сказал:

– Коза не подает встречный иск, а мы подали, все-таки!

Слава о соседе по палате:

– Бывший зэк, он рассказывал: в тюрьме можно торговать мобильником или кипятильником.

– Но я, все равно, ничем не умею торговать, Слава!

– Ты смогла бы картины там писать.

– Так кто ж мне даст краски и холсты?

– Если начальство захочет торговать твоими сиренями – все достанет...

«Про сволочь властную пора бы написать

Роман с названием «Мать-Мать»...

– кто-то в Живом Журнале мне написал (а я удалила).

Встретив меня, Я. сказал:

– Кто это делает Вам такую рекламу? Все газеты, всё ТВ – о Вас. Книжки Ваши теперь будут раскупаться.

– Да, суд заказной, но дьявол действует в рамках промысла Божьего.

Я уж не стала говорить, что суд заказной, но не только сверху, но и снизу. Массы хотят зрелищ, крови и гибели врагов.

Брат Наташи сказал ей:

– Читаю «Братьев Карамазовых». Все улики против Дмитрия, а как судья с ним вежлив!

– А сейчас сплошные Понтии Пилаты (Наташа).

23 апреля

Ура!!! Примирение сторон!!! И сегодня еще моя новая книга вышла (в издательстве «ЭКСМО») – называется: «Линия обрыва любви». Это рассказы, написанные в последние годы.

24 апреля. Чистый Четверг.

Описываю суд.

С утра вчера еще и двигатель в груди начал отказывать. «Ну гони, мой двигатель, гони!» — умоляла я.

И пошла в комнату, где картины — попрощаться. Думала, что уже их не увижу. Не надеялась, что переживу два суда в один день.

Ведь все начинается заново — Кривдина-2 снова всех свидетелей вызвала. Маша с работы с трудом отпросилась. И Агния.

Судья так и сказала: процесс опять начнется с начала!

Но я чудом не потеряла сознание, все-таки. Агния все время совала мне под язык глицин, в большом количестве, и я почти ожидала всякий раз на пять минут...

Приехало телевидение (Рифей) — судья стала их не пускать, уверяя, что сегодня решения суда не будет. Но ТВ все-таки настояло — начали снимать.

Когда ТВ-ведущая спросила у Славы, что он думает о суде, он ответил:

— Это экзистенциально-абсурдистский сбой.

С самого начала судья для меня выработала такой голос, каким громили в советское время врагов народа (от имени народа):

— Подсудимая, встаньте!

— Я после инсульта не могу стоять. Только секунду...

— Получили обвинительное заключение?

— Да.

— Я вас спрашиваю: когда получили?

— Но я не помню даты.

— Я вас спрашиваю, когда получили?! (и долго так — все очень злым голосом — видимо, ее очень сильно кто-то настроил против меня).

— Я после инсульта — не помню всех дат.

— В деле есть число, но нет года!

А я тут в чем виновата — они же ведут это дело! Могли бы о своих ошибках молчать или устранять их, не травмируя меня... но...

И тут судья сахарным голоском обратилась к «потерпевшей»:

— Бабулечка-потерпевшая, встаньте за трибуночку.

Бабулечка-потерпевшая, скажите...

А эта «бабулечка» съела 10 лет нашей жизни и не поперхнулась ни на секунду!

И тут вдруг грянуло от «бабулечки»:

— Хочу забрать заявление!

Мы все (Слава, Агния, Маша, мои адвокаты) не поверили своим ушам!

– Если Горланова заберет свое, – добавила «бабулечка».

Почему же нет счастья в душе? Ведь суд прошел...

– Суд прошел, а страх остался?

– Да, страх остался...

Вечером проснулась: посмотрела телерепортаж про наш процесс. Запомнила слова про Кафку:

– Скоро Кафка сказывается, но не скоро дело делается...

Посмотрела по ТВ окончание репортажа про годовщину со дня смерти Ельцина. На могиле его открыли памятник – в виде российского триколора. То ли это памятник уже триколору и свободе нашей, которая умерла... то ли надежда на то, что еще не все потеряно.

На отрыгтии памятника мелькнуло трагическое лицо Вишневской. Я вот что подумала: ее и Растроповича выгнали из СССР, но они все простили и столько делают для российского искусства!

Нюночка, и ты все прости!

25 апреля.

Во сне у меня якобы государственный адвокат. Он предал меня, выбросив чемоданы с доказательствами виновности соседа. Я в растерянности стою и не знаю, что делать...

Галечка, читательница из Казани, написала мне в Живом Журнале: «Если я не ошибаюсь, то 23 апреля день рождения Шекспира, и, вот видишь, в этот день закончилась драма и произошло радостное событие, жизнь – это театртолько что-то слишком затянулся абсурдистский период».

26 апреля. Великая Суббота. Будем ждать схождения Благодатного Огня. Господи, не оставь нас своими милостями!!! Прощу Тебя горячо-горячо!!! Горячее некуда!!!

Видела сон: меня арестовали, везут в товарном вагоне, причем, там нет скамейки, я стою.

2 мая. Вчера я пожаловалась Наби:

– Сил нет – даже чай гостям не подаю, чтобы чашки не мыть. Только водку им наливаю, если они ее приносят.

– Нина, когда ты простишь всех, кто тебя судил, силы появятся.

Я брала с собой в гости все документы, потому что сосед и мадам оставались тут абсолютно пьяные. Господи, благодарю тебя, что они ничего не сожгли!

По ТВ видели вчера «Хрусталеv, машину!» Германа. Слава:

— Антропологическая катастрофа при сталинизме. Герой был высокого класса военным медиком, а после ареста и мучений выбрал себя каким-то чуть ли не шутком. И это почти хепши-энд. Для других все закончилось хуже...

Так что не могут наши люди быстро стать лучше. Вот почему нужно прощать их.

Позвонил Сеня. Мы поговорили о новой книге Флоренского, о красновцах, о новой пьесе Сени. Он в конце говорит:

— Знаешь, что в Горьковской библиотеке, в туалете, написано? «Дорогие Хеопсы! Смывайте свои пирамиды!»

Я, видимо, рассмеялась, потому что он, довольный, говорит:

— Вот теперь верю, что суд позади. Все эти месяцы я столько раз пытался тебя рассмешить — хотя бы глупыми шутками, а ты не смеялась.

Что будет дальше — завтра, послезавтра?

Ведь примирение было неожиданностью для кукловодов. Когда мать соседа сказала, что забирает заявление, у судьи от удивления буквально глаза стали, как ночь!

Будут ли снова меня прессовать другим способом? Или первое время после инаугурации станут выжидать, куда ветер подует?

Только молось: Господи, сделай так, чтоб кукловоды стали человечнее, прощу Тебя...

Научилась молиться за своих врагов — не так уж мало

Да ведь?

Подведем итоги после суда: последняя правда о людях какая?

Вполне утешительная: никто из друзей не предал — все сорок два были со мной. Некоторые утешали, все помогали материально. А Галя не могла — так она приходила и гречку перебирала (видит Бог, я не просила об этом).

Да, мои друзья не богаты. Но в Живом Журнале мне удалось до марта собирать деньги на плавикс, липримар, билобил, ди-ротон и т.п.

Я снова работаю! Голова будто из детства приставлена — свежая. Один рассказ хотела уже закончить словами: «Милые пермяки! Я знаю: все вы поэты в душе. Но не пейте!»

Потом одумалась! Это не милые пермяки! Они отдали меня под суд! Уверена, что в Екатеринбурге меня бы не отдали.

4 мая.

Пришлось спать утром. Каждую ночь меня судят во сне...

Сосед вечером напился и до семи утра бросал табуретки в

смежную с нами стену. Так прошла ночь, лишив меня сил и желания работать... спина отламывается, а при умывании коснулась левого глаза — острая боль. В общем, вся insultная сторона летит, если не посллю.

Ученица Славы была у Гроба Господня, когда сходил Благодатный огонь. Он облаком светящимся спускался из-под купола и — дойдя до кувуклии — пустил луч под прямым углом прямо в нее! И сразу там загорелись все свечи!

Меня все это поразило в самое сердце! Луч изогнулся под прямым углом! Именно возле кувуклии! Именно внутрь нее направленный! Словно все это вместе живое и разумное явление! Да, о чем я! Конечно, все живое — от НЕГО!

Значит, нет никаких случайностей, и суд был послан не зря, и не мое это дело — до конца понимать, задавать вопросы (для чего, почему)... Не дело человека — все понимать.

9 мая. Mamочка звонила уже — поздравила с Днем Победы. Ее отец — мой дед Михаил Кондратьевич Федосеев — дошел до Берлина. В каких частях он служил — у нас не сохранилось ничего — никаких документов-писем. Только мама помнит рассказы деда...

— Чувство истории в советском человеке не воспитывалось, считалось, что прошлое уже не важно, что скоро победит мировая революция. Фантастику мы знали лучше, чем историю. А надо бы наоборот (Слава).

Бодливая жизнь снова нанесла удар. Сосед когда еще ударил Славу по скуле, а сегодня врач сказал, что нужна операция...

Был вчера сын. Я спросила об успехах в учебе. Слава к слову:

— Я один раз сказал ученикам (супружеской паре, изучающей иврит): «Завтра с дочерью придете. Я ей все расскажу, как вы не выучили спряжение неправильного глагола». «Это был бы ужас», — с нервным смехом откликаются ученики.

Слава:

— Как я буду вести урок после операции на челюсти? Говорить ведь трудно!

— Напиши три плакатика: «Верно», «Неверно», «Придите с дочерью».

11 мая

Видела во сне суд, видимо, уже Страсбургский: говорила там по-английски. Хорошо так говорю! В жизни-то не очень...

Вчера ездила с зятем на вокзал встречать «Каму» (в багажном вагоне шла мне посылка). Увидела Борю — тоже встречал поезд. Привет, как дела и пр. Я про соседа, а он сразу: вы на магнитофон записали? Но как записать: звук табуретки!

...Прервалась: написала картину «Суд».

Еще днем индюка написала, Слава сказал, что он вышел растерянным. А индюку не идет быть таким. Слава считает, что у меня после суда все растерянные: котики, петухи и даже индюки вот... а что делать...

15 мая.

Вчера купила два экземпляра своей новой книжки.

Пишу в 3 ночи — сосед не дает спать (вчера пришла вечером мать и напоила его, ну, потом еще в киоск бегал).

Дописала картину «Пушкин выбрасывает Маяковского с парохода современности» и радовалась, что жизнь продолжается... но когда пришла мать соседа, я уже все поняла и молилась — так горячо молилась, но что делать... хотя без молитв могло быть хуже, может... во всяком случае в один момент отчаяние так меня захлестнуло, что я НЕ ПОШЛА ГАЗ ПРОВЕРЯТЬ! Под аккомпанемент рущащегося соседа я думала: пусть будет, что будет.

Вчера Асланьян присылал шофера, чтобы мы подписались под письмом против коррупции. Пока горит свеча, освященная у гроба Господня, молимся тебе: помоги России вырваться к нормальной жизни!

16 мая

Наташа зовет меня Нинчик, и хотя Нинчику 60 лет, но такие суффиксы и удерживают на родине. А ведь после всех ужасов суда так хочется в Канаду! Но кто же там назовет меня Нинчиком? Вот и сижу в Перми без лекарств и без квартиры. Виноват русский язык, любимый...

За выходные много гостей. Д. рассказал, как первую половину мая провел в экспедиции на севере. В Первой выпили, надули презервативы и провели демонстрацию на таежной поляне. На День Победы запланировали парад тяжелой техники — у них был трактор и вездеход. Но... водка к этому времени кончилась, и парад сам собой отпал.

Слава выслушал это все и сказал:

- Все люди такие и есть — безобидные чудачки...
- Жену у тебя судили — невинную, но все люди — безобидные чудачки, — я просто в изумлении.
- Да, тебя судили злые люди — это правда. Но правда — только часть истины...

Сейчас скажет, что цветы-реки рассыпаны по земле для утешения нашего или что лето скоро... но не говорит. Молчу и я. А вот почему бы мне самой не сказать это? Кому? Себе. Да, самой — себе.

Ничего умнее все равно никогда не придумать, потому что цветы-реки-лето придуманы не нами и — навсегда.

Позвонили из пермского землячества в Москве: мол, дают мне премию Строгановскую — 10 тысяч долларов. Нужно срочно при-слать факсом копию паспорта.

— Нина, в субботу тебя charterным рейсом — в Москву — пре-мию вручат в Большом Кремлевском Дворце.

А у меня ни туфель, ни даже зонта. Но все равно полечу в столицу! На деньги с премии можно доплатить и уехать от соседа! Уехать! Подальше!

Пришла в гости Наденька — я заняла у нее 600 рублей и купи-ла самые дешевые туфли.

И тут... звонят, что премию уже не дают. Причем так еще гад-ко: якобы моя дальняя знакомая (Лена) сначала звонит, что прочла в газете и она вот сейчас — сию минуту! — позвонит знакомым из жюри и узнает, точно узнает все... а потом звонит и говорит, что не дают. Ясно, что должны звонить организаторы, а они не звонят — Лену подговорили... ну мне наплевать, я не расстроилась из-за премии, а расстроилась из-за того, что заняла 600 р — как их трудно отдавать.

Мы с Линой столько лет имели девиз-пароль из Кушнера:

«Придешь домой, шурша плащом,

Стирая дождь со щек.

Загадочна ли жизнь еще?

Загадочна еще». (При прощанье всякий раз я спрашивала, а Лина отвечала).

Ох, загадочна. Вот новая загадка — кто отменил мою премию. Видимо, тот, кто и суд заказал. Но кто это? А не буду я голову ломать. И не думаю об этом! Не для того цвела.

Я совсем другим занята — любуюсь разгадкой, ДЛЯ ЧЕГО были эти 600 рублей потрачены! Для сохранения семьи — чтоб я на Славу не обиделась!

Он сегодня ходил на заседание союза, чтоб подписать там за-явления наши на мат.помощь, но забыл их подписать — вообще не вспомнил! Пришел домой спокойно. Я спрашиваю: подписал?

— А что?

— Мат.помощь.

Молчит (конечно, забыл, зачем приходил). Я бы в другой раз зарыдала, что ему все равно... деньги на лекарства где теперь до-ставать! (В Живом Журнале устали от меня и с марта ничего не присылают). Но раз я тоже 600 р потратила зря, то молчу. Вот так чудесно закончился день! Спасибо, пермское землячество! Вы очень

помогли нам!

22 мая.

Пишу в 3 утра. Вот получила в ЖЖ коммент от Гали Щекиной — она прочла в ЖЖ мои слова «Мир с мужем дороже любой премии» и написала:

«99 способов найти в плохом хорошее»...

Подойдет для тоста! Сегодня придут гости. Друзья всегда поддерживают — эта старая истина тоже подойдет для тоста. Правда в том, что премию отменили, но истина важнее правды. Ася звонила: несет пироги. Нужно выпить желчегонное. Слава, дай мне что-нибудь! Слава ответил, не вставая от компьютера:

— Самое лучшее желчегонное — это оптимизм.

Рыбка моя, родина, спасибо за вечные истины: что друзья всегда помогут, что деги утешат!

24 мая

День св. равноап. Кирилла и Мефодия. Что бы мы без них делали? Крестиками писали бы повести?

Видела идиотский сон. Будто после гражданской войны я иду писать репортаж о семье, которая месячный семейный доход отдала в фонд восстановления Перми. И я пишу: в будущем этими фамилиями откроется список святых. (В Перми меня судили, а я все еще о ней во сне беспокоюсь.)

Вчера в двенадцатом часу ночи позвонил Славе внук Ваня:

— Это вам звонит Геракл. Я сегодня совершил 21-й подвиг.

— Какой?

— На меня напала рыба-меч...

А Сеня сегодня рассказал, как они шли с женой на дачу по деревне Зайково. Навстречу мальчик лет четырех.

— Привет! — сказал он.

— Привет.

— Вы Машу не видели?

Теперь, если что-то Сеня с женой что-то дома ищут, то друг друга спрашивают:

— Ты Машу не видел(а)?

— А мы — как внук Ваня — сочиняем подвиги Геракла новые.

То картошки три кило поднимем к себе на четвертый этаж, то часть архивов на мусорку унесем.

Сеня:

— Я мечтаю знаешь о какой курточке? Вот Стасик Нейгауз привез Пастернаку легкую из-за границы, и на всех последних фото Б.Л. в такой курточке. Там много карманов, чтобы я не терял

ни проездной...

А я мечтаю, чтоб от меня отстали власти! Пусть не дают премий, чтоб не отменять, пусть успокоятся.

28 мая

Вчера ездили на праздник Кирилла и Мефодия, который в университете называют Днем филолога. Студенческий капустник понравился. Там еще был перформанс с зачеткой, которую нужно высунуть в форточку и крикнуть: «Халява, ловись!»

– Темная ночь, только светит компьютер в тиши...

– Как учителями быть и на тысячу прожить, нас научат, нас научат на филфаке...

Мы снова видели красавиц-студенток, которые сдали кровь Славе на операцию.

Филфак много значит в нашей жизни. От диалектологических экспедиций – умение СЛЫШАТЬ. Но когда говорят «Сри» вместо «смотри» мы даем это произношение только отрицательному персонажу. Подарила картину «Пушкин сбрасывает Маяковского с Корабля современности».

Потом было чаепитие, Сережа Гнядек пошел за «струментом», пел, хором исполнили «Великий российский писатель Лев Николаич Толстой не кушал ни рыбы, ни мяса, ходил по России босой...»

Потом поехали к нам, в том числе профессор из Словении. Я подарила всем по две картины. Что-то мы распелись: «Говорите, говорите, я молчу...», «Как это: юность, и сразу вдруг старость? Не понимаем, не понимаем...», «В склянке темного стекла...», в конце Сережа спел свою новую «Налейте, друзья, всем вина...».

– Анакреонтище! (Слава)

29 мая

Вчера ездила к Н. Позавчера на чаепитии она пообещала мне «Болосы Хуато» на целый курс. Ее подругу в Перми показательно судили, как меня. Она завуч. И хотели устроить показательный суд за то, что собирала деньги с родителей не через сберкассу. Все родители заступились и спасли, но маму Н. хватил удар.

Я воспринимаю эти болосы как чудо и знак свыше. Потому что на лекарства мне уже денег не шлет никто. И вот – посланы болосы! Абсолютно было не предсказать это счастье! Но оно есть. От святых Кирилла и Мефодия.

Подхожу к подъезду, а уже полночь, и вижу: возле сирени стоят четыре подростка. Они позвали меня: «Можно вас на минуточку?». Я не пошла. А в подъезде стоит избитый таджик и спрашивает:

– Они там стоят?

— Да, стоят. Заходите к нам, мы вызовем милицию.

Вызвали милицию, дали ему стул... Он сразу заплакал. Подбитые глаза опухали и наливались кровью. Я дала ему таблетку адвила и говорю:

— Зачем вы пьяный поздно выходите, да еще в День пограничника?

— Я к девушке шел.

— И к девушке не надо пьяным ходить.

В это время подростки ушли, и он направился домой, но в подъезде встретился с милицией. Мы послушали: с ним вежливо разговаривают — и решили лечь спать.

31 мая

Вчера отмечали выход моей книги.

Если есть в Перми человек, которого я бы никогда не хотела видеть — это Виразников. Когда он полчаса громил мою прозу на литобъединении, не привел ни одного примера их текста. Я спрашивала много раз: «Например?» — «Я говорю так, как мне удобно», — отвечал он.

Так вот — именно его Слава встретил, покупая водку для гостей. И пригласил к нам!!!

Таков мой муж: начисто забыл, что Виразников был против меня!

Но я подумала: Слава такой, а Виразников — не дурак ведь, и он-то уж понимает, что не имеет права приходить к нам!

Ну и что вы думаете? Звонит Виразников:

— Нина, водку я купил, а что еще нужно?

— Ничего, — пришлось мне сказать.

И вечер был испорчен. Я все ждала гадостей от него. Но было лишь несколько мелких укусов, а их уж можно не замечать.

По студенческому примеру, мы провели перформанс — Слава выставил раскрытую книгу в форточку и кричал:

— Издательская халява, ловись!

Гости добавляли:

— Ловись халява, большая и маленькая!

— По-моему, это делают в голом виде (Виразников).

Пока Шмидты из пробки звонили нам, что опаздывают, Сеня развлекал собравшихся гостей рассказами о любовной жизни дождевых червей. Они стремятся друг к другу из своих норок, делая арку из тел, оставаясь головой каждый в своем домике.

— Нина, запиши: следующая твоя книга будет называться «Червивая любовь» (Виразников).

Андрей:

— Давайте выпьем.

Слава:

— Если этот слоган запатентовать, то нам будет капать с каждого исполнения. И знаете, сколько может накапать?!

Сеня:

— Я нашел в твоей книге две неточности.

— И на солнце есть пятна. (Виразжников).

Слава читал стихи:

Славянские буквы, арабские цифры,

И дети, и наши друзья —

Все вдруг появилось, как чудо из тыквы

(Иначе представить нельзя).

Все в книжке вот этой ковром прихотливым

По белому черным легло... (и тд)

Я говорила тост:

— Пришел последний «Континент». Там написано, как наши олигархи начинали в девяностые. Гусинский купил медную проволоку и штамповал медные браслеты: себестоимость — 3 коп., а продавали по 5руб. А мы пишем рассказ месяц, и все наоборот (проедаем — образно говоря — пять рублей, а получаем свои три копейки). Так предлагаю выпить за то, чтобы наши ЧИТАТЕЛИ ПОЛУЧАЛИ какую-то прибыль вместо нас — в виде прибывающей чудесной силы души!

2 июня. Слава ходил в стоматклинику. В том месте десны, по которому ударил его сосед, появилась киста. Операция должна быть в четверг, но уже вчера снова лопнул там нарыв и пр. Теперь опять пить антибиотики. Оперировать пока не будет.

Вчера пришла участковая милиционерша — стала спрашивать, почему мы вызвали милицию таджику избитому. И за полчаса нас буквально измучила! Вопросы сформулированы так, словно мы зря потревожили органы. Я страшно разволновалась и в конце уже не выдержала — сказала:

— Если вы снова задумали исказить факты, то знайте — эта история описана мною и давно висит в Живом Журнале!

После этого она вдруг сразу ушла. Поможет ли в этом случае имя Журнала Живаго?

6 июня.

Слава сейчас уехал в правозащитный центр — мои книги для адвокатов и их руководителей повез.

Вот он вернулся. Видел на Сибирской народ у памятника Пушкину.

И у Славы появилась идея памятника: А. С. стоит вровень со

зрителем, на земле, руки раскинул для объятий, рук много.

— Но как сделать так, чтоб все поняли — это не эротические порывы, а гражданские и человеческие? — спросила я.

— Очень просто — по выражению лица...

И пишет мне некто в ЖЖ: «Пушкину надо глаза завязать, а то он голову в плечи втянет и руки все на груди сложит» (не я одна разочарована в пермяках, значит).

9 июня 2008 г.

Видела во сне, что меня судят точно за эссе «Ария мусора» (протыв сжигания ракет в Перми).

11 июня

Сосед не давал нам спать. На несколько минут утих, и мне приснилось, что Живой Журнал — это телеграфная лента, которая идет через квартиры по всему миру. У нас якобы она проходит в коридоре. Я выхожу, а сосед режет мою ленту ножницами — весь пол в обрезках...

Но тут снова заматерился он, и я проснулась. Сердце стучит где-то словно под потолком. Хокку:

К моим ногам дурной сосед привязан.

Нет, к горлу, к сердцу прямо!

К солнцу! Заслоняет...

Слава жалуется на куриные жилы на шее.

— Прямо Бунин. Показывал свою крепкую мышцу Чехову и приговаривал: «Ведь это все умрет, сгниет».

Что получается — я уже, как раньше, поддерживаю мужа. Снова я — это я?

Очень хочу сегодня написать Николая Угодника в украинском стиле — с фоном из роз, но болит голова.

12 июня

Вчера были сначала художники — два Сережи. Сразу сказали:

— Нина! Вы в митьковской манере.

Но в этом стиле только Пушкин и Пикассо с синяком.

Сережа Аксенов:

— 70% Митьков и 30 — Шагала.

— И 5% Руссо, добавил Слава.

Получилось 105%, как на выборах в Удмуртии.

— Хорошее дело браком не назовут, — бросил Сережа.

— «Брак» от «братъ»! «-к» был продуктивный суффикс, — ответил Слава.

И мне захотелось жить! Жить! Тем более, что Сережа стал на

цифру снимать мои картины, прямо на полу. Хотят сайт сделать мне.

Затем пришли поэты.

— Все идем сейчас в кафе — есть самсу и лагман.

— Я двадцать лет не ел лагман!

— Нина, отпусти Славу с нами. Мы с ним поспорим о постмодернизме...

— Постмодернизм мертв.

— Да. Но он зомби, продолжает двигаться, все отравлять...

— Нина, запишите: сейчас без пяти девять, зарегистрирована смерть постмодерна.

И вдруг кто-то предложил тост за низкие инстинкты человека.

— Ни за что! — выскочило сразу у Славы.

— Предлагаю выпить за игру на повышение, — сказала я. (Сама, правда, я не выпивала вообще).

Пришел отказ в возбуждении уголовного дела против нашего соседа.

Якобы нет с нашей стороны медицинских документов, подтверждающих нанесение побоев! Так куда же они делись-то?! Мы их предоставили сразу.

14 июня

Вчера за нами заехал Сережа и повез на день рождения Лили. Во время горячего вдруг Слава завел разговор о том, что я должна продавать картины свои. И так насели с Сережей: мол, только так я смогу собрать деньги на переезд в галактике Перми от созвездия «Сосед»... но я только что была под судом, я боюсь, что меня снова засудят за то, что не столько налогов заплачено и т.п. Я всего боюсь уже.

15 июня. Троица.

Попал на глаза мой ответ для справочника «Кто есть кто в Перми». «Значение Перми в Вашей жизни? — Город на всю жизнь».

Это год так 94? А теперь — в 2008-м — мечтаю уехать куда-нибудь...

17 июня

Вчера за нами заехал Наби, и мы поехали к ним на обед. После долмы и жаркого на видео смотрели мы фильм об Уайльде. Конечно, зашел разговор о грехе, о словах апостола Павла, затем — о том, что идеалов нет — разве что Кант, который сказал врачу перед

смертью:

— Я еще не совсем потерял чувство принадлежности к человечеству, чтоб сесть, когда мой гость стоит.

Наби заметил:

— Кант таким образом сделал комплимент человечеству, раз он равнялся на него, проявляя чрезмерные усилия стоять...

— Да, он думал: ради человечества стоило стоять, хотя смерть пришла... А я стала плохо думать о человечестве после суда.

Слава (уже дома) открыл «Знание — сила» номер 5 за этот год и стал горячо цитировать факты о прекрасности человечества:

— Уже в 1953 году 18 советских солдат отказались стрелять по мирной немецкой демонстрации. А в 68 году первый эшелон советских солдат вторжения пришлось вернуть из Чехословакии, потому что они тоже не хотели воевать с безоружными демонстрантами.

Это меня потрясло! Были — значит — и у нас герои! В послевоенное время!

Письмо Оли Роленгоф:

Нина Викторовна,

еще думала про воплощение вашего памятника трем сестрам такой вариант:

Пригласить для презентации исполнительниц трех главных ролей из театра.

Приурочить к дню, когда на вокзале не так много поездов.

Договориться с вокзалом.

Заранее сфотографировать актрис в полный рост в костюмах и с реквизитом.

Отпечатать их фото 1:1 на большом картоне.

Разыграть сценку.

Сделать эффектную вспышку.

Заменить их на картонных.

Как Вам?

Да, надо жить, еще ведь памятник трем сестрам я хочу поставить!

20 июня

Была в гостях Л. из Питера. С таксой. Она одинока, живет платонической любовью к барду Митяеву. Посвящает ему стихи. А я все в депрессии после суда! Когда кругом родные, друзья! Говорю Славе:

— Все, пора забыть о суде! У зла нет ни смысла, ни промысла, и нечего о нем много думать. Я не думаю о суде. О суде забыто! Все, ни слова...

— Тем более, что в России всегда можно наскрести на биографию, — ответил Слава.

24 июля

Прошло три дня, и снова тоска: хочется уже завить как-то — хоть на луну.

Едет в гости Наташа Горбаневская, а у меня сломалось два передних зуба, и деньги нужны на стоматолога. Но я не могу отказать Наташе — мы ее так любим! Что же делать?! Ну, что делать, а?

Только утешил отрывок фильма про Холмса — советский... видимо, искусство выше жизни. После суда я не могу видеть ни милиционеров, (сегодня видела на проспекте, так далеко обошла), ни по ТВ судов инсценированных, ни сериалов про Ментов, а вот хороший фильм про Холмса утешил.

Как же так получается? Я или не я? Мечта выше? Как-то это для меня ново — ведь истина важнее мечты... а если истина ужасна, потому что нищета ужасна, то, все же, нужна мечта. Видимо, так — иначе не выстоять.

26 июля

Вчера были Ванда и Наташа. Они хотела повидать Горбаневскую, но пришлось поболтать только со мной. Я говорю:

— Мы ночь не спали, дом убিরали. Всего наготовили-накупили. Почему Наташа не приехала?

30 июля

Оказывается, Наташа только сегодня получила мое электронное письмо с адресом нашим! Это случайность или опять кто-то помешал мне встретиться с нею? Ничего не понимаю.

Так хочется уехать из Перми!

Туда, где мне не будут мешать жить-писать.

Но Н. сканировала четыре моих рассказа у какого-то чудесного однокурсника. Он специально пришел на работу в выходной, чтобы это сделать. Говорил, что переживал, когда шел суд надо мной. Пермь лучше, чем я о ней думаю.

— Флоренция извинилась перед Данте за то, что преследовала его. Не прошло и 500 лет. В конце концов системам приходится просить прощения у личностей.

— Ну, и как Данте на это отреагировал? (Слава)

— Это мы узнаем ТАМ.

— Что еще по «Эху» передают? — спросил Слава.

— Дело Сутягина принял к рассмотрению Европейский суд в

Страсбурге.

Мы встали и горячо помолились за освобождение Игоря.

И с хорошим чувством я пошла через коридор в комнату Агнии — написать пару картиночек. А из своей комнаты сосед выскочил и набросился на меня с кулаками. Я думала: убьет. Но он лишь закричал:

— Ты что здесь шакалишь, сука?!

— Шакалят у посольств. А у тебя тут ничего нет, кто же будет шакалить.

Он стоял, пошатываясь, очень озадаченный: как это — ничего нет? А ненависть? Потом погрузился: неужели ненависть — уже переходовый товар? Повернулся и побрел к себе.

Господи, я знаю, что люди,

Живущие рядом,

Называются соседями,

А не ангелами.

Но прошу Тебя:

Сделай так,

Чтоб я никогда

Не называла их врагами!

7 августа 2008 года

Пермь

Александр Медведев

ПРИДУРКИ

Болезнь обычно сначала маленькая, как воробей, влетающий в открытую форточку.

Бьется это крошечное в новом пугающем объеме и хочет выпорхнуть вон.

«Кыш — ему говоришь, — кыш». И твои домашние тоже суетятся усердно, машут руками, распахивают окно настежь.

И он-оно-она выпархивает, исчезает.

Но ты вдруг ощущаешь пространство, объем своей жизни охладевшим и пустым настолько, что не находишь в нем себя самого.

И твоя виноватая улыбка говорит об этом.

Не болезнь улетела — ты вдруг исчез, вместо него в тебе и доме твоём поселился кто-то новый, и ему предстоит жить новую жизнь.

Таков инсульт.

В старых биографиях часто писали: апоплексический удар. Так же часто, как «умер в нищете и забвении».

Больницы — все больше белые, отгороженные от остального мира, а их окна, даже если они большие, глядят бойницами. Наша же — как аквариум из сине-зеленого стекла. Поток действительности катит мимо в три полосы с такой же скоростью и напором, как и обратно, и тоже трехполосо. Стоящему у окна делается непонятно, зачем с таким остервенением переть куда-то, если оттуда мчит поток жажущих поскорее покинуть это место.

Некоторые едущие туда и оттуда реагируют на наш зелено-синий дворец скорби.

Одни дают газку, другие, наоборот, подтормаживают. Вспоминается им, мимоедущим, свое бытgie-лежание здесь или беганье с продуктами в палату.

И они на мгновение, стоп-кадром, видят нас всех разом. И дежурненьких ангелов, дремлющих, пока не случилась рутинная беда.

Как будто обстрел какой или бой — суета, громкие шепоты и тихие крики.

Носилки, струйка из шприца. Увозят. И снова тихо. Соседи по палате делают вид, что ничего не слышат, что спят себе, и всё тут.

Таков больничный этикет.

Народ мы весёлый. Часть поклажи, положенной человеку на его житейскую дорожку делом, долгом, семьей, самим собой и государством, можно выложить из рюкзака и отрезивать со знанием путника и бывалого человека.

Вытряхнуть лишнее, какового оказывается немало.

Взвесить нужное, главное — самое тяжелое все-таки.

И желанные пустяки, которые то ли кажутся, то ли в самом деле — смысл жизни.

Зимняя рыбалка с пешней и фанерным коробом для рыбы, который ни разу за тридцать или уж поболее сезонов не бывал полон.

Или поездка в Паттайю, такую развратную и такую теплую... уже и путевка взята как раз на Новогодние праздники под пальмами. А теперь не то что на будущей неделе, когда и путевка сгорит но и — гори оно все огнем.

Или диссертация — куча текста, написанного по-старинному — от руки. И поговорено-переговорено, и очередь в ВАКе занята, как вот приехали — вылезай. Конечно, тема и тебя-то не сильно грела, а прочим и даром не нужна, но ведь годы, годы ухлопаны, лучшие годы. Ну, что лучшие — это только так говорить принято.

Вот на кандидатскую ушли, действительно, лучшие — пара лет после женитьбы. Но годы все равно уходят, летя, пишешь ты ученые труды или только пиво пьешь под Спэтрачок. Писал, сидя на унитаге, пристроив перед собой самодельный попитр-треножник. Больше было негде.

И много чего еще.

Остатки молодости и детства по углам твоего маленького, но и безмерного жизненного пространства, как иголки с новогодней елки и летний тополиный пух, которые находят друг друга где-нибудь под диваном и сваливаются в маленькие комочки.

Не знаю, как другие болячки, а инсульт — штука полезная для оценки «пройденных дорог», проветривания мозгов и ревизии последних. Как некий вихрь по ту сторону вихров проходится он во тьме сознания и делает delete ненужному, а нужное и важное сортирует.

Перезагрузка.

В больнице совсем неплохо. Мы тут, как на полянке, на привале. Недуг очертил малый круг возможного среди всего невозможного. И вот сидим мы, блаженные придурки.

И каждый думает о своем.

В такие растекшиеся мгновенья человек слышит в себе как бы

гул затухающий.

Это он перестает бороться —

а) с самим собой, чудовищем самым опасным и затаенным. Да и лень уже трепыхаться. Позднjack метаться. И ты не суетишься, и в этом твое достоинство, и не мелочишься и не орешь. А то, что башмаки не зашнурованы и ширинку опять забыл застегнуть — что ж, учись заново;

в) ...с миром людей — своим честолюбием и правилами, которые ты по жизни берешь на себя как обязательства. Чтобы быть застегнутым на все пуговицы, надо следить, чтобы они были и не болтались на нитке. Это надоедает. Твое чисто-плотолюбие терпит урон, походка нетверда. Ты выбрасываешь белый флаг — сероватый, если взглядеться, вроде казенной простыни.

б) ...со временем, потому что никто ничего не поделает с минававшим. Никто. Ничего. Но и лучшего и дорогого у тебя не украдут. И, подумав об этом, ты усмеаешься в полутьму светающей бессонницы с вызовом. И даже показываешь язык — интересно, кому?

И засыпаешь.

А просыпаешься с неясной тревогой — ночная твоя опись неполна, и подсознание, как монах в келье, корпело над ней, пока ты спал. Ах, вот что... Список потерь неполон. Будет полным, когда померешь.

Пока ты, мил человек, ешь кусок хлеба, а не пьешь его, изминая остатками зубов и деснами до младенческой кашицы — радуйся.

Пока ты можешь сам ходить куда надо и мыться сам, новой вехотке — взамен истершейся — радуйся, три погорбатевшую спину и опустевшую мошонку. Это все ладно и хорошо.

Пока ходишь ногами и берешь руками — радуйся.

И будь доволен.

А в тот солнечный, огненный от света день, когда тебя заштормило, и потолок стал стеной на тебя надвигаться, ты подумал: а Стикс-то, наверное, вовсе не река, а море.

Но ведь было в тот день пасмурно, так откуда столько света? И почему коридор круглый и ведет сам в себя...

Инсульты, как две Тамары из песни, ходят парой.

Довольно равнодушно подумал: «Я отчаливаю».

Но тут набежали люди в белом, меня изловили широким объятием, повалили на каталку и быстро-быстро повезли в реанимацию. Странное словцо, сели подумать. Жизнь — это, выходит, анимация, и когда ей почти кранты и конец фильма, то тебе, твоей брeнности делают РЕ. Серия выдохлась настолько, что и сценарист устал, но ты еще покушаешь вволю таблеток, неумеха медсестра

поищет иглой твою бледную вену.

И ты, придурок, если не превратился в полного идиота, еще поскрипишь.

Тебя с рокового этажа-рубежа перевели обратно на свой, откуда взяли. Друзья-придурки почти все лежат как лежали, добавилось сколько-то новеньких.

После обеда дет как раз нам развлечение — придут новые студентки-практикантки. Будут нас экзаменовать. Эта сценка — чуть ниже. Сперва несколько портретов пером из людей, с кем леживал рядом, сидел у телевизора или курил запрещенную сигаретку.

•

Петрович любил рыбалку, и не простую, с удочкой, теплом рассвета, комариком, а зимнюю, со стужей пронизывающей, верным тулупом поверх бушлата, а поверх тулупа еще брезентуха.

Если бы Петрович знал это слово, он бы сказал — экстремальную. Вот такую рыбалку любил Петрович до забвения уже тридцать лет так страстно, что забывал порой выпить взятую с собой бутылку.

Все останавливалось в нем, как только он наладит пешнею две-три лунки, окунет в них удочки и закурит. Кристаллизованное время делалось, как лед реки, привычная ругань со всем миром и поселковыми «фуешлетами» улетала прочь, становилось хорошо и покойно.

Река в местах Петровичева обитания огромна, а на большом просторе всегда почти — ветер. Вот и сейчас он завивался вокруг огромных, как танки первой империалистической, пимов, усиленных калошами. Руки защищает верный друг Шарька, с которого по случаю возраста сняли шкуру и пошили нашему рыбаю меховые рукавицы. Петрович часто их и на ночь надевает, когда ломит кости «рематизм» — тяжкая плата за рыбацкие радости, но без них и жизнь — не жизнь, а одно расстройство.

Жаль, на шапку не хватало псины.

Рыбак наливает и выпивает.

Водочка вдохновенно течет от пуза к сердцу, залезает как, как глупый ласковый щенок, в приятные воспоминания и будит их. Самое лучшее — как он свою бабу уговорил замуж за него пойти. Девка она была видная, да и сейчас ничего. И конечно, знала она про издетскую страсть Ивана нашего к рыбалке. А это худо дело. У нее в семье отец, дядька и старший братец-придурок тоже были рыбаки на всю голову и пьяницы горькие. И поэтому Светка ни в какую, хотя Иван ей, в целом-то, нравился. Даже припечатала ши-

року Иванову спину к нагорной березе и спросила властно:

– Будешь рыбалкой маяться? Тогда не пойду.

Ваня наш трусливо загибал про «иногда» и «в отпуске» но было слышно, что врет сам себе у березы и своей еще не невесте. Здесь ввали про неусыпные чувства и прочее, но ввали искренне, а это враньем не считается. В таком вранье – самая правда.

Здесь вершились многие главные дела в бывшем старинном селе, которое по случаю новой фабрики именуется поселком, а было старинным селом с пристанью.

И могло не сладиться дело, которое нашего героя зажгло здорово. Трудно не гореть, когда милашка твоя через один огород от твоего окучивает картошку или полет овощ, и попка ее как нарочно поворачивается к тебе навроде подсолнуха. И нет тут игры, потому как ты, подлец, спрятался в райских кущах конопля, крапивы и хрена на малой возвышенности огородного погребца и смотришь.

И тут вдруг случись это. Перед Новым годом пошел Ваня один на рыбалку, и насверлил лунки как раз в нужном месте. Окуневая стая – летом их не бывает таких, а зимой они зачем-то сбиваются плотно и так стоят. И кидаются на движение – а это наш Иван дергает их одного за другим.

Петрович наливает себе одну.

Надергал он кучу приличных окушков, накопивших на зиму жирку, и только тут подумал – а как он это счастье по дому доставит? Делать нечего, снял штаны, завязал леской штанины и набрал заледеневший улов, Тяжким хомутом висела ноша на нем, когда Ваня шел по селу до дому. И догадался наш жених в таком виде – в одних кальсонах то есть, но с богатым уловом зато, зарулить на Светланин двор. И без сил пал у дверей. И двери открылись, и пьяный тестев голос был:

– Светка, иди, мужик твой пришел.

•

Леночке сделалось все труднее добывать себе новых мужей. Самое обидное – кривая пошла не круто, но вниз. Первый был замминистр, и стал-таки министром, но уже потом, потом... Двое следующих были большими людьми, но все же калибром поменьше. Один член коллегии, другой что-то вроде того, и тоже потом, после вышагнули в замы. То есть и их кривая тоже не того, не круто, по нисходящей... или это ты задала такую линию... тут Леночка улыбнулась своей знаменитой в кругах мгновенной улыбкой, но тотчас пригасила ее. Губки ее точеные чуть раскрывались, как бы желая выдать некую, наверное, прелестную, или «ужасную» тай-

ну, или же скушать что-то маленькое и нежное, скажем, мятную пастилку — и тут же смыкались, но неплотно, и уголки, где у нее теперь две махонькие морщинки, закружлялись, как у кошечки.

И еще у Леночки было одно счастливое и важное свойство, совершенно отприродное (то есть честное), сродни гипнотизёрству врожденному.

Леночка всегда видела себя со стороны. Так, говорят, видят себя умирающие. А она, еще ого как живая, всегда видела себя откуда-то из-под потолка, как сидящие на невысокой галерке видят партер. Впрочем, как сказано в одном партийном анекдоте, нам снится, что мы в президиуме, просыпаемся, а мы в президиуме, то бишь в партере и есть.

Маленький изящный театр, куда не продают билетов, а есть только абонемент, который тоже не продают в окошечке, но распределяют, совершенно на цековский манер, среди совершенно своих, в каковое число надо просачиваться постепенно — или уж врубаться. Леночка сейчас в режиме «взгляд со стороны». Может, как видеокамера, включаться и офф. Это помогало ей в жизни здорово. Она привыкла сама себе как бы шептать на ушко: держи спину, не забалтывайся, уже косая, будя.

И другое всякое, не столь важное, или еще более решающее по жизни. И была ее спина всегда прямой, болтовня порционной, с прищелом на дальнейшее, питье — частью сценария, тогда как другие ее врагини-подруги разбалтывали секреты мужей, а те — их скучные тайны, и напивались тупо и глупо, и пуза эти выпяченные, боже ж ты мой... Неспешный сбор гостей — именно так тут мы зовемся. То есть не зрителей — не зрители мы, но участники. И даже режиссеры-актеры. Творцы. И их спутницы, мастерицы неких сценариев жизни, точнее будет сказать — партитур. Итак, сбор гостей нетороплив, нешумен. Никто не ерзает в нетерпении — когда ж начнут, не подхлопывает занавесу, изредка являющему то локоть чей-то, то из-за него слышен вульгарный топот каблуков. Им не скучно в ожидании — кстати, чего? — сегодня, кажется, то есть совершенно четко — оперы.

Маленькой такой — по составу — оперы, стильной, говорят, ужасно, стёбной, говорят, на грани фола.

Будем посмотреть. А должен был по программе быть бенефис юмориста нашего знаменитого. Ну, где бенефис, там годы-года, ишемия и прочая бяка. Юморист не на шутку слег, конечно, в Це-КаБэ, и его заменили на певучую трагедию стёбную, с матерком, говорят. Из древнеримской жизни и всякие развраты. Впрочем, как говорил один знакомый Леночкин поэт, матюжок — как утюжок, им можно ушибить, а можно и погладить.

Кстати, юморист. Никуда он не слег, наоборот — срубил гастроль в Канаду и улетел покосить зелени. Это Леночка кое-где, на процедурах, поймала краем уха, всегда чуткого, что твой локатор.

Левое Леночкино ушко, а также локоток и левый же краешек уст контролируют ситуацию. Она состоит из тьмы всякой важной корысти, ее же вмещают в себя два существа-вещества. То есть, ее нынешний законный и его, надо надеяться, свежееобразуемый друган.

Супруг Леночкин строит, и весьма круто, но не так, чтобы вывесь и у всех на виду. К сожалению, встречая кого-нибудь важного с прилета, нельзя небрежно бросить пальчиком в окно авто, летящее мимо этого, хорошо бы многоэтажного — мол, мой нагородил. И для соуса подпустить фронды насчет исчезающей старины. А Леночкин супруг делает это, как он сам говорит, *underground*, и даже непонятно что. То есть она всегда лишь слегка понимала, что там творят-руководят и Костя, и, слава Богу, Корнелий Иванович, и Додик.

А тут, на старости лет, слегка проснулся интерес к тому, что там, за ее кругом, но Леночка натолкнулась на твердоватое, кажется, профессиональное, помалкивание и уводы в сторону. Однако же, она стала потихоньку понимать, что муженек ничего такого и не возводит, и не закапывает в свою подземь, а только курирует, визирует, согласовывает.

Подготавливает и корректирует.

То есть и это делает кто-то, другие, кого она и не видела никогда, не знала даже, как выглядит то учреждение, где всё у него ровно с девяти и вершится. У него Право Первой Подписи, как в баснословных старинах право первой ночи, и оно дорогого стоит.

Сколько сейчас — Леночка не знает, но надеется и даже понимает по некоторым признакам, что цена растет. Иначе зачем бы он держал в на письменном столе чудесные журналчики про дачи Италии и интервьюеры в английском стиле.

Почти друган Сосо посажен к ней — опять же по законам не зрелища, а стола. Или Леночка подсадной уткой? Какая ж разница. Перемены слагаемых. Главное и греющее Леночкину душу, что рокоток их беседы Леночке словарно сделался совсем непонятен. По интуиции, двум-трем отлетам обрубленных фразочек Леночка понимает, что дело у них не мелкое и многократное. Госзаказ. Леночкино альтер-эго приказывает лицу светски скучать, расслабиться, ловить взгляды знакомых. Как бумажные самолетики, улыбки и кивки порхают по залу, а Леночка чуть поздноватно включилась в игру. Прокол. Психологов и душеведов тут полно, могут довычислить, зачем это Леночкин муж с его ППП и друган с его мифической мощной как полуобернулись друг к дружке, как две ладони

или створки раковины, так и застыли, только губы чуть шевелятся. Что там за жемчужина такая выращивается в этой раковине? Леночкин муж таких тонкостей не понимает. Душа подсказывает, да и диспозиция обязывает, что почти-друган, как истинный грузин, должен быть потоньше кожей, и он ей поможет. Деловые разговоры прерывать нельзя.

Но ситуация требует.

И Леночкин театральнЫй кошелек летит на пол с ее колен. Рассчитано, что пади он на ковровое мягчайшее покрытие, услышано не будет. Потому кошелек с мобильником и ключами попадает на могучую туфлю Сосо. Богатырский разворот корпуса резковат, но на исходе дуги Друган уже поймал нить и надал светской плавности. Молодец. Сколь-то лет зоны, сборная но вольной, кажется, борьбе — все нипочем, когда природа. Леночка дает ему опередить себя самую чуть, так что руки и плечи их касаются друг друга. Крыло леночкиной французской прически, слегка прокинутое ею влево, щекочет иссиня бритую щеку Другана Сосо. Так. Эритроциты грузиновы получили порцию ферментов, тостестерон забродит как надо. Следует подготовиться к атакам другановых воловьих очей и кавказского красноречия. Леночке все это лишние хлопоты, но — такая у нее работа. Главное, статика разбита, парочка фраз о предвкушаемом святом искусстве фиксируют паузу. Муженьку улыбка, словцо, прямой взгляд в зрачки — и он понял. Так не всегда. А то уже лоб сморщился поперек, что у него знаменует досаду. Погасил вовремя — получай в зачет очко.

А тут и шампанское понесли от заведения — забить время.

А тут и Vip пришел в сером костюмчике неизменном, сама скромность, как и положено миллиардеру, с красавицей женой. Вот для кого резинили, а не декорации достраивали.

А тут и золотой бархат раскрылся, как плащ уличной проститутки и — грянуло. Древний Рим оказался весь в арматуре и трубах, как нефтеперегонный завод. На пьедестале, явно намекающем на трибуну, стоял голый мужик с копьем и венком на кудрях. Чуть шевельнулся — это, все поняли, режиссерская фишка для тупых, чтобы не подумали, будто манекен. Леночка с трудом проглотила смешок — не от фигуры, конечно, мало она геев видела, а от мысли, что ей захотелось увести двух взрослых дядек в буфет, как мамаша уводит детей с гулянья, завидев собачью случку. Далее будет все круче и круче.

Леночка с тоской заглянула в режиссерову душу, словно бы пролистала все его фишки-находки.

Позолоченные фаллосы пидоров, переодевания и нефтянка сквозь его поганую призму «нового смотрения» дунули противным ветром на лепестки ее врожденного вкуса, отчасти заменяющего со-

весть.

И вдруг люстра снова засветилась, но стала бить прицельно, как прожектор в беглеца, и уже не убежишь.

«Последний акт?» — подумала Лена. И, закрывая свои серые очи, улыбнулась.

Инфаркты с инсультами устали быть чисто мужской болезнью.



В июле, в августе как рано ни встанешь, всё поздно. На кухне, на столе и подоконнике уже наискось брошены жаркие оладышки солнца. В отпуск вы нынче ни-ни — пошла карта, клев и жор. То есть, попер клиент, прошлые лета дремавший, как карась, в антальях — кто побогаче, на подгородных дачах — прочие. Северяне — те не на дачи ездят, а исключительно на сады. То есть, домик, часто плюс банька, души отрада. Огород со всяким разным и непременно картошкой. Сад представлен у них парой-тройкой рябин, которые не любят чрезмерное соседство себе подобных, в точности как наш брат коммерсант, да еще малиной, буйной и веселой, как деревенская пьянь. Но все же: «сады» — это греет изыбшего насельника стран полнощных. И я там был, мед-пиво... да. Всякий раз, когда звонишь на фабрику за Хребтом где-то, сознание выбрасывает картинку. Как компьютер, куда ушлые виртуальщики суют тебе сайтики с самозагрузкой.

Пока обмен веществ делает свой утренний моцион, да елозишь зубами по щетке, надо прочистить клеммы в мозгах. Они, с годами, срабатывают все медленней, по очереди, блоками. Хорошо посчитать, типа, рублевые тыщи, перевести в уе (девушки, у вас ценники в уях — то есть в долларах? Нет, в евро. И сколько ж вон та модель просит еврей?) потом выявить процент навара, отнять то-се, вернуть эту сумму в родимые, — негусто, но свои.

Как ни рано встаешь, все поздно. Пока на Москве ее отважные брокеры и лоеры смотрятся в ванное зеркало, уж доярки и дояры вернулись с первой ходки, скотник, коровий ассенизатор, «пухмеллиса», выкурил беломорину и шурует, матеря пеструх и зорек, а те ласково поглядывают на него огромными глазами и думают о нем: глупый, но сердце доброе... Твоя благоверная, единовверная и соучредитель, к тому ж директриса всей этой беды, сладчайшим голоском просит банковскую лебедь «заглянуть на счет». Ты ловишь в ее неизменно радостном спасибе тридцать вторые доли тона, это у тебя спорт такой — угадать, есть или пусто. Если есть, то сколько. Порядок цифр до первого нуля. Угадывать стал все точнее, потому супруга усложняет тебе задачу, убирает обертоны. Но

слух изострен, паузы после кивка трубке тоже кое-что значат. Все кое-что значит, и в нашем деле барыг и шибаев особенно, и многое построилось (и рухнуло) из-за тридцать вторых и шестьдесят четвертых долей.

Деньги, в массе, — музыка мира, где беспрерывно мы покупаем и продаем. Все — всё. Руки, мозги, время, свободу и кабалу, щепу технологическую, лоскут мерный, вексель паленый, землеотвод, фуру пива немецкого, вагон кряжа молодецкого — или ту мелочевку, в которой ты со своей фирмочкой застрял, как воробей в кучке свежих конских яблок. Сначала все порывался прочь, в какой-то иной мир-товар, богатый наваром, чреватый богатством немерянным, потерял на этом денег и времени — пропасть. Но все не такую страшную, чтобы пропасть. Вот и клюем себе овес, недопереваренный жарким чревом вселенской ярмарки. Радостен, кто смирен.

И так прошло пятнадцать с лишком лет.

Инсульт находит тебя в складском подвале. Валясь набок, ты задел штабель ящиков, и верхний, положенный неправильно, покачался над тобой, как бы раздумывая — не сверзиться ли вниз и не прихлопнуть ли хозяина. Пока ты валялся на пол, ящик колебался — и пожалел тебя, не свалился на пораженный твой, усталый кумпол. Полежите тут, отдохните, начальник, скорую уже вызвали.

Оказалось, что на коммерции это и был твой последний день.



Мысли рвутся и путаются как-то странно, и я к этой странности еще не привык. Как театр с вешалки, больница начинается с коридора, куда обычно и кладут новообращенных, особенно если их привозят на скорой ночью.

Возле вахтенного попитра мы с дядей Колей, новобранцы последних дней, были поселены в ожидании коек, освобождаемых по известным причинам: выпиской здоровых — относительно, конечно, ибо наша болезнь не из тех, от которых излечиваются вполне. Выпиской совсем нездоровых, часто беспомощных. Баклажанов. Некоторые из придурков, сделавшись придурками полными, вдруг кидаются на всех подряд, крушат мебель. Тогда вызывается милиция, т.е. власть, в присутствии которой и возможно производить вручение или отъятие прав — на жизнь, свободу, имущество или, как в данном случае, разум. Таких из нашей respectable невралгии возят в дурдом.

Мы на торном пути к сортиру и телевизору, скучать не дадут. Есть резон заранее мириться, что с выписками торопиться не бу-

дут, что никто не помрет, — словом, что тут кантоваться недельку.

Но надо рассуждать здраво. Тепло, кормят, лечат. Бомжу хуже, но и здесь далеко до дна. Бомж живой и бомж мертвый — разные вещи. И ему, живому, сильно завидует ээк на зоне. И так далее. То есть мы, люди, вряд ли когда осознаем себя на самой верхней и самой нижней степени-ступени земного ранжира. В самом низу нет нужды ни в чем, на самом верху — нечего желать, если такое вообще человеку, существу жадному, возможно. А здесь и желать очень даже есть чего, и бывает хуже.

Очень бывает.

Не знаю, как это по науке называется, но по жизни — полный амбец. Молния недуга часто шарахает в такое место, откуда мозги руководят тобой как телом, всеми обвислыми снастями и штопаньями парусами.

И вот, когда мгновенный шторм проходит, лежит человек не живой и не мертвый.

«Лучше бы умер», думает его дом. Не думает, конечно, а так — гонят мысль в дверь, так она в окно лезет и лезет.

На тумбочке — яблочки, мандаринки, на лице улыбка, словами чирикает, как воробей — «Ничего, ты еще молодой совсем, пенсию тебе прибавят, инвалидность дадут, путевку. Ты, главное, не расстраивайся». И все такое прочее.

Было дело — не успел вынуть пишиску из трусов, опрудил штаны изрядно. Сам вдоль себя потек противно горячей влагой до тапок. Это жизнь подразнила тебя маленьким примерчиком возможного позора. Сделалось страшно.

Так что, помни, придурок, — здоровье у тебя более чем богатырское. И ты — «еще молодой». Юный пенсионер, ты только второй год получаешь от казны.

В больнице хорошо думается.

Лучше, чем в библиотеке. Мысли — каталог бессонниц, та бездна, что «звезд полна», ежемгновенно бомбит и долбит наши мозги жесткими своими лучами. Микронный гигант, живая молекула белка имеет на это дело даже свое ремонтное хозяйство, ножницы дистриктазные, и ими выстригаются поврежденные части, подобно тому, как садовник удаляет из кроны сухие ветки. Но эти махонькие ножницы ищут и непременно находят пару к мертвой ампутированной части и, вполне здоровую, удалят и ее. Природе люба парность.

В мире царит если не лад, то счёт.

А у нас царит и вовсе порядок. В мире, где порядок, должны быть праздники. Наш праздник — студенты из мединститута. Вон

они приближаются по коридору стайкой лебедей и приумеривают порхающие свои шаги, гасят хи-хи, прежде чем войти к нам уж не девчонками-мальчишками, не студентками, а докторами. Собраны из палат те, кому сегодня предстоит экзамен.

Наши ответы заносятся в огромные одинаковые блокноты — не фразы наши гутнивые заносятся, а только помечаются птичками разные графы. Стало быть, наука-матушка давно исчислила нашу болезненную дурь, описала и разлиновала. Осталось лишь птичку проставить — полный ты придурок, или тебя еще есть смысл полечить на казенный счет. Особо рад наш турецкоподданный — с него как с человека нашей стройки, положили не брать платы за лежание здесь, а то бы он уехал к себе обратно без штанов.

— Ну, и какой нынче год?

Самый популярный ответ — тысяча девятьсот седьмой, почему-то. Ноги — они как обмылки, не ухватываются памятью. Мы с ними еще не свыклись. Я бордо отрапортовал: «Предвыборный» — и получил зачет и согласное кивание. Родились мы тоже в разное время — кто в тринадцатом веке, кто в четырнадцатом. Наши имена медленно, так титры фильма, возникают из глубин пораженного мозга, причем имя и отчество почему-то меняются местами.

— Где вы находитесь?

— В дурдоме — отвечивал дядя Коля, хитрый прораб, потому как опять забыл номер больницы. Сказав так, выпучил глаз и рассмеялся. Среди прочих был и вопрос — видимо, замер позсознанки — когда закончилась война? Ни один не ошибся.

Живое не столько умирает, сколько умеривается, убывает. И только потом маленькой точкой гаснет.

Но прежде старость блеклостью своей, сыпью старческой гречки на лице и руках, сеткой морщин маскирует твою теплокровность и само твоё бытиё, отключающее тебя от общего фона лишь на малую малость.

Чтобы вселенская хищность не увидела тебя в инфракрасном своём диапазоне.

Скорая, выныривая с улицы, клюёт фарами, поводит светом по потолку, рисуя на нем крону тополя, шарит по палате и твоей бессоннице. Внизу небольшой шухер, щелчок широкой двери больничного лифта — вертикального мостика над Стиксом.

Привезли новенького.

А ты спи.

А еще у нас есть Гуцин.

– Мишка, говорю ему, ты по родне не из владимирских?

– Не, с-под Астрахани.

– А то там был тоже Гуцин. Илья. Под Муромом жил давным-давно. Ильей Муромцем звался.

– Ой ты, не свисти.

И побежал на улицу покурить.

Вселялся наш Муромец шумно, хотя ничего себе такого не позволял — просто весь был просторный, жизнеемкий. Повалился на кровать, та сразу под ним и подломилась. Приволок другую, усиленную неструганными досками, по всему видно, — оставшимися от опалубки, с налипшими полосами бетона. Эта оказалась как раз.

Копченое сало, лец вяленый, огурчики соленые были в обильном запасе богатыря. Он приглашал к дегустации всю нашу палату, меню же звало к зелию совершенно однозначно. На дне Мишкиного вещмешка, который и сам весь пахнул привлекательно, нечто тихо булькало. Но нам нельзя, тут с этим строго. Вмиг нарушитель удалялся вон не пролеченный.

Так что пока — ша.

Новоприбывшему у нас вменялось излагать историю болезни и автобиографию. Из Гуцинской выделялась простая истина: сгубила не водка, а ее неполное присутствие, потому пришлось добавлять коньяком, который принес шурин, а меньше бутылки на брата мы не умеем, ну и т.д.

Примерно то же Мише пришлось рассказать нашему доктору — экзотическому фрукту родом с остова Цейлон, с испанской бордочкой и волосами, прихваченными резинкой.

– И вот вы выпили... это всё, и решили померить давление. И сразу вызвали скорую?

– Да вот моя скорая — отвечивал Гуцин, разжимая рыжий кулак. На широкой ладони его покоились автомобильные ключи с брелком в виде буквы М, обозначавшем явно не метро. Ой, блин, я же закрыть забыл!

И Мишка подходит к окну и жмет на пупку ключа. Со двора Мишкин джип преданно квакает. Теперь порядок.

– И вы с таким давлением и явными признаками инсульта, после выпивки приехали сами?

– Так не шурина же за руль сажать. Свою он уже разбил, но у него жигуль, его не жалко. Шурина вот жалко, хоть он козел и придурок. Сам, конечно, и приехал. А чё, медицина не рекомендует?

– С такими вещами медицина рекомендует лежать тихо под капельницей и писать в утку.

Общество нашего Гущина заужало.

Жизнь у Гущина, человека большого, была красно украшена победами и поражениями. Скромный механик на опытном заводе, тачавшем нестандартное, стал он мужать вместе с фирмой еще до того, как восток и запад державы одновременно расцвели зарей сами знаете чего.

Мишку допустили до акций, дали поторговать ими. Ничего не понимая в этом еврейском промысле, он наладил и снискал, обустроил загончик, площадку, куда загонялись миллиарды рублей. Их звали «арбузы», чтобы отличать от миллион-лимонов. Потом научился заманивать обладателей лишних не-рублей. Фирма стала не фирма уж, а фирмища, корпорация. Знаменитая по самые не могу. Мишку от площадки отлучили, но не выбросили как «использованный гондон» (это цитата) а дали поработать по специальности. И Мишка катался между скважин как бильярдный шар, налаживал ремонтную службу. Когда наладил, его опять выдавили. Это вообще политика такая.

«Пидар-рась», заскрипел фиксатными зубами Мишка и только тут нашел себя у телевизора, подле Елены и ее Петровича с пахучими ногами. Лене подумалось, что Мишка это на передачу про звезд яритса. А Мишка на экран не глядел почти, а глядел в себя.

Глядеть-вглядываться в себя он после инсульта стал пристально.

А еще ему вспоминалось одно и то же — тот гребаный пикник. Выбрали они, значит, полянку чистую, где тень прохлады и солнце разумно сочетал навес березовой листвы — и приступили.

Мишкин шурик нырял в рюкзак и раскалывал припасенное на скатёрку, приговаривая: « Так. Белки, желтки, корнеплоды и — тут шурик разевал полную золота пасть — углеводороды. Доставалась здоровенная бутылка с ручкой и ставилась в центр. Шурик с Мишкиной подачи поездил по нефтям, стал деньги знать, пока не запил больше других.

После третьей или какой-то бутылки «углеводородов» Мишка вдруг почувствовал, что заваливается на бок, а шурикова пасть смеется и плывет прямо на него, как акула, и солнце бет в глаза.

И сделалось Гущину хреново.

А любил Мишка машины — самозабвенно. Он и в палату наволок кучу журналов с картинками, где не бабы, а авто. Было у него целое стадо. Жил долго в той же хрущобе, совершенно равнодушный к дому-квартире, где и бывал-то мало, жил бы и по прежнему, да забунтила семья. Мишка уже встал в очередь на такую гоноч-

ную красавицу, какую и на Западе покупают после ожидания. Пришлось сдать бабе и ейной мамаше, то есть теще, и переехать к новую громадную, гулкую, нелюбимую.

Не будем жалеть Мишку, ограбленному пидорами-демократами. Он и разоренный богаче нас. А нас никто не обокрал – взять нечего.

Напротив Гушина – самый старший из нас. Он – кавказец девяноста годов от роду. Поет, не размыкая губ, тихо, но все равно гортанно. Слезы блестят на его впалых щеках.

Старик часто поводит рукой перед собой, словно бы отдергивает занавеску с окна, которая мешает ему видеть сад в цвету, роги с вином, горы в снегу, молодую жену – кто ж его знает, что там еще может грезиться старому кавказцу?

Приходят к нему внучки-правнучки попарно, по очереди.

А ко мне жена приходит. Говорит – разделить твою грусть. Но грусть, делясь, только умножается, как плутоний в реакторе. И дважды два – делается пять с долями мандаринок. Их тебе хватит до следующего ее прихода.

Цитрусовые – это всегда в тему. Безалкогольные напитки – тоже, хотя ты просил пива-а-лучше-вина. А совсем по сердцу бы – чекушку. Но нельзя.

Я лежал без сна и глядел в потолок. Опять скорая еще от ворот протянула три хобота света. Свет поплыл по потолку и стенам крадучись или высматривая кого-то. Уж не меня ли – подумал я. И, на всякий случай, закрыл глаза и затаился. И ничего плохого не случилось. Но дрема совсем пропала. Я подошел к окну и стал рассматривать ночь.

Выше крон и больничных корпусов медленно плыл красный огонек на башенном кране. Большорожок достраивается, работа не затихает и ночью. Кран нес, как колыску, бадью с раствором. На кране, картинно освещенная, чтобы даже звезды и облака могли прочитать, большая марсианская надпись: «Като».

Без сна и даже надежды заснуть лежал я и в потолок глядел. И одно обстоятельство побудило скосить левый глаз в окно, обычно заполненное облаками и листвою.

Сейчас там была в оранжевой спецовке дева в железной люльке и с каской на голове. И, между прочим, блондиночка. Люльку с чудесной девой держала на весу железная рука с надписью «Като».

Дева одной рукой держала пакет, а другой она делала мне, у окна стоящему, завлекающие знаки и прикладывала пальчик к губам.

Ну, я и подошел молча, как велено. Думаю, так же поступили б и вы, читатель.

– Я вас не разбудимши? Меня Фешей зовут. Я вас попрошу открыть окно в в фойе, игде хвикус. Мне передать надо вашему новенькому. Фёкла отняла пальчик от прелестных уст и указала им на пакет. Хохляцкий говорок ее был чудесный.

Я покорно двинулся к нужному окну и отворил его, принял на руки пакет и деву. В пакете друг о дружку прозвякнули бутылки, хрустнули пластмассовые стаканчики, сразу захотелось выпить.

– А что же не через дверь? — просил я хрипло, потому как волновался.

– А там охранник Костя. Он ревнует.

Изо тьмы, из-за фикуса уже проблескивал всем своим золотом наш турок, доставленный к нам со стройплощадки. Турок сиял цепью, браслеткой, перстнем, зубами огромными. Он лежал в коридоре на моем месте. Волосатый, с большими руками-завхатами, усами, радостной улыбкой.

– На предложение стакашка в виде гонорара за открыванье окна я, четвертый лишний, отказался гордо, но с болью.

Мы с турком, считай, тезки, потому как его зовут Искандер. С этим делом получилось смешно. Я сейчас расскажу.

Неунывающий дядя Коля в самые первые минуты моего здесь появления пристал баннным листом — кто ты да что. Ну я и сказал, засыпая от таблетки, — Александр, мол.

– Модератор? Диверсант?

– Не диверсант, а шпион я, отстань, твою мать.

– Вот здорово, А ты английский или американский?

Скучные варианты.

– Турецкий я. Искандером меня зовут.

Ник-Ник у это понравилось. Наутро продолжилась наша игра.

И к завтраку уже все медсестры знали, что я, новый ночной, затем здесь чтобы набирать в турецкий гарем. Образовалась и цена.

– Дядя Коля, ты не в долларах говори, в евро. И цена получше, и евро, я конечно извиняюсь, стоит не падает.

Играли мы, придурки, точно, вдохновенно. Только я заснул после капельницы, как подсаживается медсестра и, глядя в сторону, тихо молвит:

– За хорошие деньги и в жены — я бы пошла... Только без обмана.

И как нагадали — через день этого турка доставляют — и на мою койку кладут. Персонал в своих халатиках слегка огибал туркову лежанку — уж больно руки у него были загребушие на вид, с грядками волос меж фалангами пальцев, увешанных перстнями и

кольцами. Из майки клубилась шерсть, усы взъерошивались златозубой улыбкой навстречу дамам.

Наутро, после девкина визита в окно, я спросонок подумал, что это мне сон был такой. Эротический. Последние тучи рассеянной бури. Умираем, как автор уже докладывал, частями. Начинаем с ниже пояса. Бабы раньше, но и наш брат вскоре погасает.

В мужское ничтожество входим сперва с тревогой, потом с улыбочкой. И вот, наконец, всё. Конец — только чтобы пописать, замачивая треники, которые не для тренировок, как и кроссовки не для кросса. Мышцы провисают лианами, и ты это видишь уже и без зеркала.

Но красивых от некрасивых еще отличаешь. Ночная гостья не к тебе была ничего себе.

С утра похолодало. Это всех обрадовало. Нет, конечно, то был сон.

Друг, почти — тезка, догнал меня, приобнял учтиво и шепнул: «Ракия еще есть». И это было хорошо и актуально.

•

Итак, делаем опись наличного на сей момент.

Ты говоришь больше руками, рисуешь в воздухе колеса смыслов, такие велосипеды, которые никак не доедут до нужных слов. Патрон не влезает в патронник, и тебя клинит.

Когда слова сами собой вспоминаются, говорить их уже нет нужды — тебя, придурок, давно поняли, сейчас принесут.

Организм твой делается расслабленным — кожа уже не крепость твоя, и она не держит запахов плоти, и ты делаешься вонький, даже если был сухой, как кизяк.

Слабеют кольцевые мышцы — и ты попукиваешь на ходу и все громче, роняешь капли мочи.

Но ты еще не разеваешь рот на кусок как черепаха — шире, чем нужно и виновато при этом моргая. На кусок, размоченный в чае. Это будет потом, в старости глубокой и чрезмерной. Если доживешь до такого подарка судьбы.

Слезятся очи. Слезные озера переполнены, и по тому, из какого глаза слеза крупнее, внимательный доктор будет делать вывод, на какую сторону тебя кособочит.

Словом, ты как водопровод в родной хрущобе — капаешь, протекаешь.

Кашлюн-перхун — вот твоя кликуха.

Походкой ты выдаешь понимание своей вины — в самом деле, какого черта занимать собственной никчемной персоной дефицитное жизненное пространство. Приличное-таки, особенно если

выразить в деньгах. Собственно, это и можно понимать как стоимость/ценность человеческой жизни. Не такая и маленькая — к счастью или сожалению, это с какой стороны смотреть.

И расходы.

Проблема «фуражно-зернового баланса» в твоей достаточно благополучной части человечества решена. Элементарный кусок тебе не нужно пристально делить с остальными домочадцами.

Это ты угроза комфорту — расслабленный, непроизводительный, давно вышедший из репродуктивного возраста, следовательно, не интересный матери-природе, капризный, с пуком выписанных тебе рецептов.

Хлеба не так чтобы избытие, но достаточно.

Зрелищ — можно бы и поменьше. А тут еще выборы — совсем весело. Хлебозрелища.

Но битва за все новые и новые степени комфорта — неумолима, всемирна и лаяй. Вон раньше цари-короли жили в условнотапливаемых помещениях, особые слуги им холодную постель грели перед отбытием ко сну, по жаре парились в одежде, согласно статусу, который не снимался — ну, разве что вместе с головой. И ничего ведь, жили. Тебе в футболке жарко, а вон, классические господа в тройках на все пуговицы парились, держали форс перед подлым сословием.

Нет, сейчас лучше. Только не хватает одной комнаты в жилплощади, пусть хоть бы махонькой, но непроходной.

Пукай себе и живи.

Пенсию — принесут.

Раньше на деревне вонких старцев отправляли жить в баньку.

Впрочем, это здесь тебя так рассматривают, суют, как Мюнхгаузена, в электронное жерло томографа, и зеленый щупалец ползет по голове, выискивает жгутики тромбированных жил. Инсульт с инфарктом — близнецы-братья.

В поликлинике — полуклинике, как говорит Петрович, — так тебя рассматривать пристально не будут, стрелянный ты патрон.

В твоей истории — пока значит инсульт. Это лучше инфаркта, хотя тоже не подарок. Но сердце и у больших — маленькое, а мозги все же и у дураков что твой футбольный мяч, и отсеки, получившие пробоину, могут замещаться неповрежденными частями. Колоколами громкого боя стучит в виски густая кровь, нейронные цепи перестраиваются и починяются... И драгоценный товар памяти и навыков перегружается, как контрабанда, в другие места.

И шторм затихает. Всё тихо.

Перед тем, как совсем заснуть «но не тем, холодным сном мо-

гилы», ты слышишь себя.

Раньше прислушивался больше к бойлерной своего невеликого организма — к желудку да кишкам, где вечно что-то булькает, перетекает, пучится пузырями. Но есть и кое-что поинтереснее пищеварения и даже крови. Нейроны твоих, мой милый придурок, поврежденных мозгов, спасают себя тем, что перебрасывают содержимое в другие, не пораженные места. Ты хочешь сравнить их с муравьями или пчелами, потому что эстетика труслива, и ей подавай красивое. На снимках они, подлецы-нейрончики, похожи на ужасных пауков. А еще известно, что тараканы из горящего дома не выбегают запыленно, и организованно тикают с личинками потомства на спинах.

И вот, упорные, как муравьи, заботливые, как тараканы, чуткие, как пауки, малые части вселенной твоего разума, подвергнутого вторжению, бегают туда-сюда, перетаскивают молекулы разорванных мыслей, и ты слышишь это шебуршанье. Идет работа. Ты не на фронте, а в ремонте. И бодрисься — ничего, мол, мы еще повоюем. И даже запел бы «врагу, мол, не сдается наш гордый варяг, на солнце зловеще сверкая» или что-нибудь в этом роде, да слов не знаешь, петь не умеешь, да и какие на фиг песни ночью в больнице...

Сегодня — радость: выписывают. Я сдал экзамен. Я почти сразу сказал свою фию и какой нынче год и все такое прочее, и белые лебеди почиркали в свои большие научные блокноты и остались довольны. А уж я как доволен.

Компания выходит меня проводить.

Ногами, отвыкшими от башмаков, ступаю на неровный асфальт, разрезанный когтями древесных корней и оглядываюсь и спотыкаюсь.

- Не спеши.

- Не спешу.

Ведут по тропе, которая чуть покачивается, как трап. И ты думаешь, что сейчас ступишь на палубу.

Но это не корабль, а паром.

Май 2007 – январь 2008

Лена ЭЛТАНГ

КАМЕННЫЕ КЛЁНЫ. ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА

Дневник Луэллина

вчера я купил билет в бэксфорд, но не уехал, потому что не смог

ирландский залив все так же катит свинцовые волны, зрение моего отца сливается с солнцем, обоняние с землей, вкус – с водой, речь – с огнем, но ни одно из перечисленных свойств не перейдет ко мне, как предсказывают упанишады, потому что я сижу на плетеном стуле, пью чай и смотрю в окно

я мог быть в бэксфорде через четыре часа, но не буду там и через четыре года, я пью чай, смотрю в окно и разговариваю с гвенивер

я люблю разговаривать с хозяйкой трилистника, у нее есть ответы на все вопросы, и даже более того, еще у нее чудесное лицо – густо напудренное, в щербинках и пигментных пятнах, оно напоминает мне старый корабль на паромной переправе, с облупленным носом и ржавыми перилами, которые суровый матросик по утрам подновляет белой краской – то на баке, то на корме, расхаживая всюду с пластиковым ведром и забрызгивая неосторожных пассажиров

она рассказывает мне о местных похоронах с таким удовольствием, с каким рассказывают о венчаниях, глаза у нее мерцают, губы дрожат, низкий голос пенится – может быть ей там кидают букет с церковного крыльца, например: двадцать четыре белые гвоздики с зеленью в строгой, но элегантно упаковке, черные ленты прилагаются, один раз я заказал такой букет в здешней цветочной лавке, счет до сих пор лежит у меня в столе

это был первый раз, когда я не уехал в бэксфорд – я сидел на этом же стуле, прислонив венок к стене, и провожал глазами отходящий от пристани паром с надписью норфолк на грязно-белом боку – больше я венков не заказываю, а тот, первый, оставил у мусорного контейнера в порту, вероятно – в память о погибших моряках, точной причины не помню, не помню даже, как добрался домой

* * *

меня повергло в недоумение то, что отец предпочел душную конуру с ключьями пыли по углам – я видел ее, когда приезжал

к нему в сочельник – нашему просторному дому, где всегда пахло сушеной мелиссой, а на подоконниках в кухне стояли ровные ряды стеклянных банок с яблочным джемом, перцами в уксусе и смородиновым домашним вином

мама не убираала запасов в подвал, как это делали соседки, она говорила, что вид еды, подробно заготовленной на зиму, успокаивает ее сердце, так же, как потрескивание козодоя или вид запорошенной снегом рябиновой ветки

я просто никак не мог успокоиться, пару лет тайком от матери писал ему жалобные письма и, наконец, однажды, скопив несколько фунтов, поехал в неведомый чепстоу, на зимнем промозглом автобусе, я помню – это было двадцать четвертое декабря, шел редкий снег, мост через реку северн совершенно обледенел и автобус немного заносило

я выехал рано, чтобы поспеть к рождественскому ужину, в сумке у меня лежал подарок: красный вязанный свитер – в шуршащей бумаге, в коробке из золоченого картона

мне пришлось долго искать постоянный двор, где отец снимал себе жилье, редкие прохожие торопились домой и небрежно показывали то влево, то прямо, то в сторону реки, так что я добрался туда только к семи часам

если кто-то и должен был уехать, так это я! сказал я отцу, увидев его в дверях чердачной комнаты, – это ведь я лишний, я не настоящий сын, но ты-то – настоящий муж!

он взглянул на меня с привычным сомнением и посторонился, пропуская меня внутрь

ты – дитя своей матери, такой же взбалмошный придурок с фантазиями, произнес он с расстановкой, как будто по книге прочел, потом он пошел в дальний угол комнаты, где у него было что-то вроде кухни и принялся заваривать чай, а я размотал обросший ледышками шарф, сел на кровать и заплакал

удивительное дело, человек, которого я хотел бросить больше всего на свете – заносчивый сорокапятiletний старик с тонкой шеей, с этим его костистым носом, и задавленным голосом астматика, и вечным запахом залежавшихся драповых рулонов – этот человек взял и спокойно бросил меня

он проводил меня до автобусной станции, последний автобус отходил в половине десятого, и он шел быстро, низко наклонив голову и тащил меня за руку, как будто я стал бы сопротивляться подарок он распечатал сразу, и теперь на нем был красный вязанный свитер – наверное, он собирался пойти в нем на вечеринку, где его ждали и уже тревожились, поверх свитера он надел куртку с капюшоном, так что я почти не видел его лица

с тех пор я приезжал к нему только один раз, в восемьдесят

третьем, когда продал дом после смерти матери – я привез чек на двадцать девять тысяч фунтов и гордо положил на пластиковый стол в его кухне на виджер-роуд, ослепительные по тем временам деньги, которых я почему-то не хотел, а он взял и, наверное, не поморщился

в тот день – снова зимний и промозглый, даже смешно – взойдя на крыльцо его дома, я немного постоял на ступеньках, глядя на свежевыкрашенную сосновую дверь и свою собственную фамилию на латунной табличке

я понимал, что приехал сюда, чтобы попробовать еще раз заставить его обратить на себя внимание, только теперь мне было восемнадцать, и шансов было гораздо больше

я протяну ему деньги и скажу – папа, ты ведь хочешь открыть свою лавку, правда? чтобы все было как раньше, да? чтобы ты мог ходить меж саржевыми колодами, поглаживая их, будто синезеленых крутобоких телок, любоваться костяными пуговицами на листах картона, прикалывать булавками белые ярлычки, нанять румяную помощницу с круглыми икрами и гонять ее почем зря, да мало ли чем можно заниматься в просторной, бесхитростной лавке, пахнущей пыльным полотном и опилками, ты ведь этого хочешь?

и он вспомнит, что я – это я, и удивится: какой я стал большой

* * *

по дороге на автобусный вокзал, покуда упрямый западный ветер дул в подреберье каждой подворотне, я то и дело заходил обсушиться и выпить рюмочку, но холодный мокрый зверек все так же скребся под ложечкой, не унимаясь ни от черного рома, ни от янтарного пива

я думал о джулии, ведьме из брандона, которую гервард воскрешённый нанял для того, чтобы заклясть норманнов во время очередной дурацкой войны, а потом норманны подожгли ее дом, и ее саму в этом доме, наверняка полном медных шаров с отварами и травами и вонючих птичьих чучел

еще я думал о незнакомой мне ведьме аликс, чей дом подожгли сегодня посреди цивилизованного острова, который правит волнами чортову уйму цивилизованных лет

люди не меняются, сказала бы моя мать, меняется только погода и королевские почести

эта поговорка, да еще то, что травы и отвары следует хранить в медных шарах, в доме не держат одолженных книг, а ребенку плюют в лицо, чтобы укрепить его благополучие – это, пожалуй,

все, что я запомнил из слышанного от матери

хотя нет, не все: она называла меня лорд беспорядка – lord misrule, и я обижался

позже я прочел, что так в старину именовали распорядителя вечеринок в замке, это был карнавальный человек, а свита его была увешана колокольчиками и старательно ими гремела – у меня не было свиты, но шуму от меня было не меньше, чем на двенадцатую ночь святков

с тех пор, как я решил, что в младенчестве меня подменили, выносить мое присутствие в доме стало довольно трудно, я должен стать им противен, и тогда они откажутся от своей затеи, думал я, тогда они отдадут меня моим настоящим родителям, или просто отпустят на свободу

к тому же, в школе меня прозвали ведьминым внуком, что было обидно не столько из-за ведьмы, сколько из-за того, что миссис стоунбери была и вправду слишком старой для матери восьмилетнего школяра, и это было заметно, при том, что она не была ни седой, как мать моего дружка андерса, ни толстой, как учительница математики в гвинее

мама была старой изнутри, как новая с виду перчатка, у которой в прах износился подкладочный атлас, мама была старше отца, а это уж никуда не годилось

* * *

стоит мне уехать из дому с ночевкой, я непременно иду искать зубную щетку, мыло и всякую мелочь, нарочно не беру ничего с собой, даже рубашку утром покупаю в чужом городе, и чувствую себя при этом настоящим путешественником, даже если уехал не дальше соседнего графства

это еще потому, что мне приходится покупать билет, куда бы я не отправился, в аргайл или в ноттингем – если я сяду за руль, меня снова посадят в тюрьму, я пленник прожженных автобусных сидений, хлебатель железнодорожной воды, я беспечный электронный ездок, вращатель призрачного руля, нажиматель притворных педалей

осенью на морском побережье смеркается быстро, как только солнце скроется в воде, все вокруг тут же становится одного цвета – цвета мокрого сланца, что ли, и трава, и песок, и живые изгороди, и бездомные кошки

а если еще и дождь зарядит, то небеса и вовсе сливаются с землей, только беленые фахверковые фасады проступают из темноты да фонари еле теплятся в сизом тумане, будто газовые све-

тильники на пэлл-мэлл во времена уильяма мердока

terre terre eaux oceans ciel j'ai de mal du pays? это сандрап, верлен или я просто пьян?

в ботинках было полно воды, зато плащ я еще на вокзале надел наизнанку, клеенчатой стороной вверх, мой плащ слишком длинен и похож на готическую казулу без крестов, зато умеет превращаться в синий плащ дождя, в точности такой, как у бога индры

ворота каменных кленов были заперты и вокруг не было ни камней, ни кленов – только обожженные ежевичные плети на стене, сложенной из неровных кусков песчаника, римская кладка, я прорвал рукою по мокрому камню: такому дому никакой пожар не страшен, крепко, как ворота дамаска

постоялый двор сонли, было выбито на медной табличке, под ней висела еще одна – побольше, керамическая: осторожно, во дворе злые собаки

на нижней табличке кто-то мелко приписал красным фломастером : ...и злокозненные змеи

* * *

сегодня я взял первого ученика в девять утра и ездил с ним по мнимой ланкастер-элли, медленно, невыносимо медленно, при этом на руле я видел не его пухлые неуверенные руки, а другие – с темными веснушками на запястьях, белые и быстрые, лишенные колец и браслетов, похоже, она меня приворожила, сказал я вслух и парень от неожиданности выпустил руль, на экране замигала беспокойная красная точка – пип, пи-и-ип

по иоанну дамаскину зло есть небытие, пустое место, то есть просто отсутствие добра, думал я, проезжая кольцевую развязку на бейсуотер, по сократу зло – случайность, неудача, по фоме аквинскому вообще все – добро, а зло мелкая его часть, необходимая составная, на клифтон-плэйс нет поворота направо, сказал я, нажимая кнопку сброса, вернемся на стэнхоп-террас

лондон с птичьего полета кажется мне более реальным, чем тот, по которому ходят люди, я владею простертым навзничь лондоном, сидя в своей башне с дисплеем и двумя педалями – если я попаду на настоящую ланкастер-элли, то непременно потеряюсь

по лейбницу зло – это недоразвитое добро, он утверждает, что зло становится существенным, когда оно непоправимо, то есть когда люди не летают, а птицы не обладают речью, поезжайте через паддингтон к госпиталю святой мариин, сказал я, и отпустил руль

по саше сонли существует лишь ее осознание зла, нет –

скорее, ощущение зла, незаметное, как cum grano salis – негромкое замечание парацельса, без которого противоядие не сработает скажем, засуха в верховьях ганга оставляет ее равнодушной, зло не касается ее, и, следовательно, это просто обозначение, спутниковая карта зла, но убитые терьеры хугин и мунир – это зло, направленное к ней острием, оно рождает в ней ответное зло, пусть даже бесплотное, не осознанное, но поднимающее в ней пепельный, жаркий ветер

между ней и беспокойной красной точкой первого зла возникает некая связь, пип, пи-и-ип, и этой первой точке не поздоровится, как пить дать

* * *

вот эпикур пишет, что все люди передают друг другу свою тоску, как заразу

похоже, эпикур был не такой уж дурак, как многие думают

вот я – заразился же от саши ее безразличием и печальной аккуратностью

вернувшись домой, я составил книги, со дня переезда влявшиеся на полу в спальне, в ровные стопки, вычистил ковер, залитый чем-то подозрительно лимонным, и даже пересыпал кофе и чай из надорванных пакетов в две стеклянные банки

этого мне показалось мало и, оглядевшись с сашинной сумрачной улыбкой по сторонам, я сорвал хозяйские полосатые занавески и бросил их в ванну – стиральной машины у меня не будет никогда, в детстве я потерял щенка, уснувшего в барабане полном грязных полотенец

вода в ванне стала цвета жженой охры, ради такого цвета один французский живописец извел два королевских сердца, выброшенных из усыпальницы в аббатстве сен-дени, не помню, где я это прочитал, но меня почему-то ничего не удивило, хотя должно было бы

таская занавески взад и вперед по испаранному дну ванной, я думал о времени – наверное, потому что кровь прилила у меня к голове

время, думал я, похоже на кровь, про него говорят – бежит, или – останавливается, или – ваше время истекло, и про него как будто бы все договорились – сколько в нем воды, белков и всяких там липидов, то есть сколько в нем движения, абсолюта и всяческой необратимости

один человек утверждал, что время его поедает, натураль-

но, как дракон какой-нибудь, при этом три его головы – past, present и future – очевидно, поедают еще и друг друга, ну да, да, кому же еще быть драконом, как не субстанции, о которой все всё знают, но никто никогда не видел

вот дракон нидхег, так тот грыз кости мертвых, чтобы они страдали и возрождались, а моё past perfect грызет меня, чтобы я не успевал задумываться

* * *

она занимает меня все больше, эта вермееровская трактирщица, живущая в мире, где сбежавшая сестра нуждается в ней, как в свежем хлебе, а неверный любовник тонет в ночной реке, хотел бы я знать, жили ли эти двое вообще на белом свете, а может и не хотел бы – главное, что этот мир умещается в ее дневнике, и он безвреден, хотя полон угольной тлеющей ненависти украденная тетрадь прожигает карман моего плаща, удивление оседает на дне золой и табачными крошками, я должен положить украденное на место, но это еще не все – я должен поговорить с ней, поговорить! даже если для этого нужно приготовить ужин в яичной скорлупе

о дикая, одинокая и совершенно чокнутая саша сонли, знаешь ли ты, что у древних славян был особый способ избавляться от подменьшей – подброшенному ведьмой молчаливому ребенку готовили ужин в яичной скорлупе, и он так этому удивлялся, что забывал про свою немоту, громко произносил: я стар, как древний лес, а не видал еще такого! и пропадал с глаз долой

такова сила удивления!

завтра я снова поеду в вишгард – чему же тут удивляться

* * *

я обокрал сашу в одиннадцать утра, а в пять вечера буду пить с ней чай и следить глазами за красным фломастером

теперь я отправляюсь на свидание с прю, назначенное в трилистнике, я иду туда вдоль берега, похрустывая галькой, пряча лицо от северного ветра, сжимая в кармане плаща тетрадку, пахнущую земляной сыростью

тоже мне, июль! уже четыре дня не показывалось солнце, разве что – напоминание о нем, растопленное в густой тепловатой мгле, что медленно сползает в низину по утрам, переливаясь через зазубренные края холмов

мои вишгардские дни тоже переливаются из одного сосуда в другой, из хрупкого жалостного – в беспощадный медный, из котла горячего детского бреда – в чан, наполненный студены-

ми взрослыми разговорами, и в обоих сосудах непроглядные воды непонимания

как там у делеза: я мыслю в качестве идиота, я желаю как заратустра, я пляшу как дионис, я притязую как влюбленный

последнее, пожалуй, отсечем! влюбиться в сашу – все равно что влюбиться в бригитту ирландскую, по прозванию огненная стрела, одна половина лица была у нее белой и гладкой, а вторая вся исполосована, и сколько ни ходи за ней, все норовит к тебе страшной щекой повернуться

зато какой лоб у саша, какой лоб, куда там кузнечной богине бригитт, не затуманься моя память, я вспомнил бы бергсоновскую длительность, глядя на лоб своей деревенской немой собеседницы такой лоб французы называют le front bomb?, в нем гладкость означает лютость, а сияющая выпуклость – упрямство

мне приходилось и раньше встречаться с обладателями таких лбов, и я сразу настораживался, с первой минуты!

забавно, что в этой истории, не успела она начаться, я встретил двоих людей с совершенным le front bomb?, и они, похоже, не упрямы и не люты

они жених и невеста

* * *

поэзия и проза заточены по-разному, думал я, глядя с пристани на медленно отходящий от берега утренний норфолк, совсем-по-разному – ну, скажем, как атхам и боллайн

атхам это ведьминский нож такой, черный, обоюдоострый, в руки его никому не дают, и резать им ничего нельзя, можно только магический круг обводить, белый же боллайн с лунным лезвием для круга не годится – им пишут символы на дереве, царапают буквы на воске, срезают полуночную траву, хозяйственное такое орудие, подробно

австралийская трещотка – вот инструмент прозы, ею вызывали голоса умерших, но тут опасность лукавая и вечная: протрещав на ритуальной поляне ночь напролет, голос вызовешь, а умершему вдруг нечего тебе сказать – хорош же ты будешь, прислушиваясь к хохочущей пустоте

римская фиалка – вот инструмент поэзии, венком из свежих фиалок остужали раскрасневшееся мокрое лицо на долгом пиршестве, для того и надевали, а не для колючей драматичности, как эти глупые тернии, например

да что там, вот пурпур – если уж о пирах вспоминать – бывает античный, из морской улитки по капле выдоенный, и барочный

– сок лишайника всего-навсего, выжатая насухо трава оризелло
оба сияют багрянцем нестерпимо, только вот в чем загвозд-
ка: античный пурпур добывая, груды мертвых раковин оставляют
на берегу, наскоро выпотрошенных, и берег в сиреневой склизкой
крови, а барочный пурпур добывая, убийства не совершают – бес-
предельный труд, да! да!
но не полная гибель всерьез

* * *

я понял, что за сила тащит меня в вишгард, будто тело уби-
того гектора за колесницей ахилла – это удивление, вот это что!

саша удивляет мой разум – потому что он воспален и со-
чится любопытством, будто нефтью из бедной земли, и мое тело
– потому что оно отзывается на запах мяты и кориандра с гальвани-
ческим упорством

как я удивился, когда, усевшись напротив меня за чайным
столом, она вдруг взяла мою руку, вынула чашку из пальцев, по-
ставила свою левую руку рядом, на локоток – так делают разгоря-
ченные посетители в пабах, намереваясь побороться – и медленно,
пуговица за пуговицей, пристегнула свой рукав к моему

какое-то время мы сидели соединенные рукавами, не глядя
друг на друга, было так тихо, что я не выдержал и сказал что-то
хриплое и незначительное

вы, с этой вашей флорентийской косой и веснушками,
странно, что вы носите мужские рубашки, сказал я, в это так же
трудно поверить, как в то, что мужчины времен карла пятого носи-
ли льняные чепцы, вышитые бутонами и птицами, вот что я сказал,
и она наклонила голову и потерлась виском о мое пристегнутое за-
пястье

я протянул руку к ее волосам, такую краску вермеер сме-
шивал с белилами, чтобы обозначить тени на старой штукатурке,
волосы оказались мягче, чем я думал, и я удивился

удивление заполнило меня всего, так вода заполняет тону-
щий корабль, проникая в каждую полость, даже туда, где и пыли-
то раньше не водилось, я чувствовал, как голова дракона касается
воды, полосатый парус сминается в тряпку, блестящие щиты осы-
паются монетами, еще секунда, и дракар увязнет в иле по самую
ватерлинию, подумал я, так вот что имел в виду марциал, когда ска-
зал *crede mini, non est mentula quod digitus*, впрочем, я и пальцем не
смог бы пошевелить

Елена Сыромятникова

БАНЬШИ

INTRO

То ли и правда, девки были моложе, вода мокрее, а осень 1992 года теплее, солнечнее и суше, то ли сейчас память так ее рисует... Это было начало второго курса, новые люди, новые знакомства. Один из первокурсников вывел меня и мою боевую подружку Лерку на компанию неформалов. Мы немного диковатыми глазами, но не без какого-то восхищения, смотрели на все эти ирокезы, фенечки, булавки и фак с крыльшками, нарисованный шариковой ручкой на брезентовой ветровке Перца.

В даже не полу-, а на три четверти разрушенный крошечный заброшенный домик на Сухом логу, где-то почти на самом дне его, я пришла в длинной, до земли, бежевой юбке в складку, какой-то светленькой блузочке, с причесочкой и в очечках. Народу было немного, человека четыре парней, 10-12 — летний не то беспризорник, не то сын алкоголиков и собака по кличке ВЧ... Стены, прогнувшиеся внутрь и нависающие, как пещерные своды, уже, наверное, лет 20 не помнили, что такое штукатурка; посередине единственной комнатки четыре на четыре стоял кривой, но крепкий столбик, подпирающий крышу. В большой, серой от тяжелой жизни, кастрюле на печке красного ломаного-переломаного кирпича закипала вода. Юный, но уже закоренелый панк 17-ти лет от роду, Граф, и вышеупомянутый Перец варили национальное блюдо нефорской кухни — суп из семи... ингредиентов.

Рецепт:

картошка урожая позапрошлого года, пожертвованная чьей-то бабушкой (около килограмма мелких, как полукультурка, сморщенных комочков, их нужно исхитриться почистить так, чтобы осталось что-то, кроме очисток);

кем-то найденный где-то пакетик размороженных, слипшихся в кашу пельменей (грамм 300-400, эту массу нужно ножом разделить на небольшие кусочки);

скукоженная полузасохшая морква, принесенная кем-то в хибарку давным-давно и найденная только сейчас (поступать с ней, как в пункте первом);

что-то там еще, наверное, было такое же антикварное, я просто не помню, но самое главное, это — белая фасоль, высыпанная из вскрытого марокаса (жестяная банка, дырочка залеплена синей изолентой), которым брэнчали на сэйшенах в подземных перехо-

дах и метро, аккомпанируя несколькими в унисон расстроенным гитарами...

Я сидела, не разуваясь, поджав ноги, на грязном жестком топчане, вдыхала запахи сырой земли, дымящей слегка печки, дешевых сигарет без фильтра, ВЧ-псины, прелого дерева и божественный, упоительный аромат этого, оказавшегося потом невероятно вкусным, варева. Напротив меня в каком-то невообразимым образом исколеченном кресле, обитом красным автобусным дермантином, сидело, играя негромко на гитаре, юное существо, которое почти весь прошедший год периодически попадалось мне на глаза в метро, на улицах, на ступенях ДК «Октябрьской революции», возле «Красного факела», везде... У меня каждый раз глупо замирало сердце при виде миниатюрной тонкой фигурки, крупных черных кудрей, закрывающих пол-лица, падающих на плечи, схваченных иногда на лбу красной веревочкой, маленького рта с капризно выдающейся нижней губой, и — когда волосы не падали на лицо — под длиннющими черными ресницами — огромных зеленых глаз... Я никак не могла определить пол, впрочем, это было неважно. Я все равно не могла осмелиться просто подойти и познакомиться с чудом.

И вот оно сидело напротив меня, и я уже час или два как знала, что это мальчик, что ему всего пятнадцать лет, что зовут его Анархист, и что мне конец.

Мы доедали ложками из кастрюли самое вкусное в моей жизни варево, о чем-то болтали, собака то вбегала, то выбегала в приоткрытую дверь, в печке еще потрескивали угольки... Где-то недалеко было слышно электричку, и чего я еще не знала, — так это того, что это грохот уже летящей под такой же крутой, как склон оврага, к которому прилепился наш ветхий домишко, откос всей моей, каким-то образом до сих пор бывшей упорядоченной, жизни.

1

Так мы с Леркой стали общаться с хиппи и панками, которых, несмотря на, казалось бы, непримиримые идеологические разногласия, объединяло в одну большую семью простое юношеское желание — не быть, «как все», жить по своим правилам, легкая форма социопатии, неприятие меркантильного и жестокого мира и — соответственно — неприятие миром их самих. Тяга наша была вполне естественна — мы и сами были такими же.

Однажды вечером, часов в десять где-то, я вышла из душевой и услышала стук в дверь. На пороге стоял абсолютно незнакомый парнишка. Невысокий, коренастый, светлые коротко стриженные

волосы, голубые глаза, слегка извиняющаяся улыбка: «Здравствуйте... Я — Боря... Мне Граф сказал, что к вам можно прийти в гости». Вот так, дословно, он и сказал, глядя на меня, стоящую перед ним в халате, с мокрой головой и открытым от удивления ртом. «Ну, проходи... Боря... раз пришел. Я Лена, Леры нет. И зачем же к нам можно прийти в гости?» «Разговаривать».

...И тут я увидела в его глазах невыразимое, какое-то собачье одиночество... разговаривать... это надо же! Не помню, сколько он тогда у меня просидел, наверняка недолго, было поздно уже, общежитие закрывалось в одиннадцать. Но он пришел на следующий день, и через день, и потом почти каждый вечер. Иногда вместе с Графом, иногда один. Я не успела даже понять, когда случилось так, что мы стали считаться парой. Разговаривали мы много. И почти сразу начали много ссориться. Точнее говоря, ссорилась с ним я — по самым разным поводам, куплеты менялись, но основным рефреном шло: «Не приходи ко мне пьяным, тем более, укуренным, тем более, нанюхавшись! Меня из общаги выпрут!» Просьбы эти он выполнял через раз.

Мы родились с ним в один год, в один день, чуть ли не в один момент. В школе меня дразнили «Сыром», из-за фамилии, его звали Сыром друзья, почему — не знаю. Фамилия его была Корс. Он, как и я, был наполовину немец. Я — по матери, он — по отцу. У него были отвратительные отношения с родителями, он жил с бабушкой, дедом и сестрой, впрочем, с ними все обстояло ничуть не лучше. Им всем было просто плевать на него. Моя мама, напротив, всю мою жизнь меня очень активно контролировала и, прямо скажем, сильно давила на меня. Естественно, из самых лучших побуждений. Он бежал от мира и семьи, ища хоть какой-то поддержки, я — хоть глотка свободы. Он любил меня, я его — нет, и он это знал. Я с мазохистским упоением тонула в огромных зеленых глазах, помогавших мне хоть немного отвлечься от других глаз, забыть которые я все равно не могла — каждый день с утра до обеда, в каждой аудитории, на каждой паре они были позади, в соседнем ряду, немалую часть этого времени прожигая мне спину.

Однажды утром меня по селектору вызвали на первый этаж. Борька с Графом сидели на пуфиках в фойе, с пятилитровой пластмассовой канистрой молока и огромной авоськой яиц. Трезвые, не похмельные, но все равно, надо было видеть эти обремканные, расписанные джинсы, цепи, феньки и — глаза вахтерши Октябрины Петровны (по имени ее, что ли, принимали в свое время на работу в общежитие Высшей Партийной Школы?). Я была приглашена на священнодействие выпечки блинов.

Борькина квартира была почти напротив нашего общежития. Я сидела на кухне, будучи не допущенной даже до разбивания яиц,

смотрела, как подлетают и кувыркаются, переворачиваясь в воздухе, блинчики, как со вкусным шипением падают обратно в ловко подставленную Борькой сковородку. Граф жонглировал яйцами, делал чай, что-то смешное рассказывал. Я курила и смеялась. Потом мы ели эти блины, о чем-то болтали... Я даже не помню, о чем, и что было дальше, куда мы потом пошли, что делали... Это был самый лучший день той осени, а я — не помню...

Иногда мы с ним приезжали в избушку (она не запиралась снаружи, только изнутри на гигантский ржавый крючок) и, если там никого не было, на узкой скрипучей панцирной кровати, прикрытой ветхим тонким матрасиком, он занимался со мной любовью, а я с ним — сексом. Там же он впервые признался мне в любви... Тогда же я ответила ему, что люблю другого, и если он надеется что-то изменить — зря. Проще уйти от меня. Он остался.

2

Этой осенью я переживала свою первую полногабаритную сезонную депрессию (Их много еще будет потом, весенних, осенних, но я уже буду знать, что это такое, и что это — проходит.) А тогда мне было очень, очень плохо и по-настоящему страшно. Казалось, что жизнь жует меня своим дурно пахнущим ртом, в котором половина зубов — железные, а другая — гнилье. Я почти ничего не ела, много плакала, практически совсем перестала ходить в институт (там меня трясло крупной дрожью), днем сидела на кровати с ногами и читала, захлебываясь слезами, «Маленького принца», по ночам писала стихи. В те редкие часы, когда я, наконец, засыпала, мне все чаще снился отец, которого я не видела много лет, и почти каждый раз — моя покойная тетушка, не то убитая, не то доведенная до самоубийства своим мужем. В конце концов, измученная и сломленная, я пошла к психотерапевту. Мне прописали какие-то легонькие транквилизаторы, маленький пузырек со сладкими розовенькими таблеточками. Но все было бесполезно. Я погружалась все глубже и глубже в вязкий удушающий дурман боли, страданий и страха, начиная уже получать от этого какое-то извращенное удовольствие. Вот какой был у этого спектакля задник.

Остальные декорации не лучше.

Поступая в свое время на факультет журналистики, я думала, что навсегда распрощалась с ненавистой математикой. На втором курсе нам ввели «вышку». Это действительно была для меня «вышка», высшая мера наказания без права на апелляцию. Первый месяц я сидела на занятиях, пытаясь вникнуть в тарабарщину, ко-

торая монотонно лилась по аудитории и практически всем, кроме меня, была более-менее понятна. Я чувствовала себя полным дауном, и земля уходила из-под ног. Я не могла не осознавать, что так не может продолжаться. Все летело к чертям. Уничтоженная, раздавленная невозможностью как-то разрешить ситуацию с математикой, я пустила на самотек вообще все. Было уже все равно.

Лешик — моя большая, светлая, до одури несчастная, до судороги необходимая любовь с первого взгляда, — еще три месяца назад бывший мне хотя бы другом, отдалялся от меня все больше и больше. Находиться с ним в одном помещении, чего раньше хватало для счастья, стало просто невыносимо.

Леха Копцев, балагур и музыкант, друг, товарищ и брат, собрался бросать институт по каким-то своим причинам.

...И Анархист, огромные зеленые глаза, ...ну, помогите же мне!.. спасите... я должна забыть, должна жить как-то дальше... — любил другую. Юлька была прекрасной веселой девчонкой.

Электричка, прогремевшая в последнем абзаце пролога, подъезжала уже к участку дороги с раскученными кем-то рельсами.

3

В тот вечер Борька пришел ко мне не просто пьяным — он был уделанным, обдолбанным, убитым. Я устроила истерику. Я орала и топала ногами. Когда я немного успокоилась, он начал говорить. Что никто не знает меня и не понимает так, как он. Что никому, кроме него, я не нужна. Что я пишу только о себе, что должна попробовать оглядеться по сторонам и увидеть что-то вне себя. Что я никогда не смогу быть счастливой... Я вежливо попросила его уйти... Что он никому, кроме меня, не нужен... Я грубо попросила его уйти... Что он не может, не хочет без меня жить (к этому моменту он сидел на перилах балкона одиннадцатого этажа, свесив ноги на Красный проспект). Я до сих пор не знаю, что это было. Тогда я восприняла это как грубый шантаж. На меня опять пытались давить. Чуть не задохнувшись от накатившего бешенства, я сказала ему — тихо, спокойно, абсолютно ровным голосом — чтобы он уходил навсегда. И мне уже неважно, уедет он на лифте, или спустится другим способом. После его фразы: «Ну, так толкни меня тогда сама, никто же не увидит, не узнает, видишь (раскинув руки) — я не держусь, можно просто пальцем задеть, и все!», я ушла в комнату и легла на кровать с книгой. Через минуту он прошел молча мимо меня и вышел.

4

Ночь я не спала. Не потому, что волновалась, как он там. Я думала о его словах, и начала понимать, что во многом он был прав. Просто я не хотела этого слышать, тем более от пьяного Борьки. Что расстаться нам, конечно, нужно, но не так. Что надо завтра найти его, и извиниться, и поговорить обо всем спокойно. С тем под утро и уснула.

Днем я пошла на место всеобщего сбора, это была, на тот момент, площадка перед ДК Дзержинского. Народу почему-то выдалось много, как никогда. Я подходила ко всем, спрашивала, мне сказали, что, да, был, уже ушел, куда, не сказал, тебе — привет. Я вернулась к себе, звонила, на звонки никто не отвечал. Спать я легла с мыслью о том, что найду его завтра.

Завтра, в восемь утра мне позвонил Граф, и на мой первый вопрос, не видел ли он Борьку, ответил, что Борька умер.

5

Он повесился ночью, сидя, прицепив собачий ошейник к гвоздю, вбитому на высоте чуть больше метра от пола.

Его семейство сидело в соседней комнате и смотрело телевизор.

6

На похоронах, когда мы сидели по очереди (потому что все сразу не помещались даже в квартире) в комнате, где стоял гроб, по рукам пустили тетрадку с его стихами. Он даже не говорил мне, что пишет их.

Иисус не умер.

Он — замерз.

В Иерусалиме холодно зимой.

Да еще охранник, чертов пес,

Окатил его вчера водой.

...Вот повисел б минутки две,

Быть может, понял бы башкой,

Как страшно людям на кресте

В мороз
И с мокрой головой.

В то утро лег первый снег. Я сидела на стуле рядом с его телом. Напротив меня, на диване, сидела незнакомая мне девушка и, не отрываясь, смотрела на меня страшными, черными провалами глаз.

На улице ко мне подошла его сестра и сказала: «Это ты во всем виновата. Не смей даже думать ехать на кладбище». Я не стала говорить ей, что «виновата» несколько недель, а они — восемнадцать лет... Зачем?

Через неделю, придя в гости к одной общей знакомой, увидела там ту самую девушку. Я решила уйти, но она подошла ко мне и сказала: «Я хотела тебя убить. Но поняла. Ты — не виновата. Даже, если бы ты осталась с ним... Меня зовут Света».

7

Там, в этой «тусовке» (все почему-то называли ее Системой, вот так, с большой буквы и без кавычек), заменившей большинству из нас семьи, ставшей для нас Семейей, все были друг с другом «в родстве». Возраст не имел никакого значения. Иногда и пол тоже. Шестнадцатилетний мальчик мог каким-то причудливым образом оказаться Бабушкой двадцатилетней девице. Борька был Светкиным Сыном. Я стала ее Дочерью.

8

Спустя несколько недель после похорон я собрала свои вещи и съехала из общежития. Как отреагировала на это мама — совсем другая история. Электричка достигла точки Б и полетела под откос. Обратной дороги я для себя не видела.

Я жила то у одних, то у других друзей, иногда у людей полужнакомых, это было нормальным в Системе. Все в разное время у кого-то «вписывались», даже те, кому было, где жить.

У Светки был дом. Теоретически. Ее мать ненавидела ее с детства, отчим избивал. С пятнадцати лет то мать выгоняла ее из дома, то она уходила сама.

В то время как раз наступил один из таких моментов. И когда ее пятнадцатилетний протеже Сереженька спросил ее, где она будет жить, она сказала: «Не знаю». «А сегодня есть, где переночевать?» «Нет». Мы стояли вдвоем в переходе на Речном вокзале, в декабре, она — без шапки, в осенней джинсовке, в старых осенних сапогах, он — вообще в ветровке и летних туфлях. «Поехали ко мне тогда» «Ты с ума сошел?! Пятнадцатилетний пацан приводит домой девятнадцатилетнюю девицу: здравствуй, мама, это Света, она будет с нами жить?! Да что она про меня, про нас подумает?» «Я думаю, она ничего ни про кого не подумает, если пятнадцатилетний пацан приведет домой двух девятнадцатилетних девиц, а не одну» — сказал Сереженька и посмотрел на меня. Потом от нас шархались прохожие, потому что мы валялись вдвоем на полу, катались и хохотали, как сумасшедшие, не в силах разогнуться от смеха.

Когда мы приехали к нему на Троллейку, стояли в коридоре однокомнатной квартиры, не смея оторвать взгляда от пола, пока он прошел на кухню, где хлопотала его мама. Она вышла к нам: «А вы чего стоите-то? Быстренько на кухню, ужин готов!»

...Когда он уговаривал нас на эту авантюру, сказал, что, да ладно вам, просто переночуете, что такого-то, это же только на одну ночь. Но мы остались, кто на несколько месяцев, кто на полгода, а кто и на годы. Некоторое время спустя к нам присоединилась моя одногруппница Римма, тоже оставив институт. Забегая вперед, скажу, что позже они прожили еще несколько лет, но уже вдвоем, как муж и жена, и не в этой квартире. Разница в возрасте никого не шокировала. Но тогда, в тот вечер, ложась спать вдвоем на диване, стоявшем на кухне, мы ни о чем этом и не подозревали. Утром, когда я проснулась и еще не успела открыть глаза, Светка шебуршилась у раковины, Сереженька сопел мне в ухо, вошла мама: «Тише, Светочка, пускай поспят»... Я чуть не разревелась. Потом был какой-то завтрак, и после она сказала, что будет жить в общежитии, у нее есть комната, а мы останемся здесь. Возражения как-то даже и не принимались. Это было ее решение.

Она приходила к нам раз в несколько дней, подбрасывала какую-то нехитрую еду, сигареты. Мы все звали ее мама Люба.

В зале был еще один диван, но мы продолжали спать вдвоем на кухне, мы не могли расстаться даже ночью. И в этом не было ничего сексуального, как нет ничего сексуального в щенках, спящих клубком в одной корзине.

Это был параллельный мир нескольких человек внутри мира перпендикулярного, которым была Система. Время внутри текло как-то совсем по-другому, чем снаружи. Там я отпраздновала свое девятнадцатилетие с одной на двадцать человек бутылкой водки, кастрюлей вареной картошки и одной курицей, которую мне дала

моя мама, приехавшая в Новосибирск.

9

Она остановилась, как обычно, у своей сестры, и я приехала к ним через пару дней после дня рождения. В тот день она уговорила меня вернуться домой, а я согласилась, чтоб доказать ей свою любовь, и это была большая ошибка с ее и с моей стороны. Если до этого жизнь меня лениво пожевывала, то с этого дня я была брошена во взбеленившийся миксер. Я металась между домом, работой и переговорным пунктом. Почти всю свою мизерную зарплату я тратила на телефонные переговоры с Леркой, которая передавала мне известия обо всех. Я вырывалась в город при любом удобном и неудобном случае, хотя бы на один день... Мне нечем было дышать без них. Ночами я не могла спать от раздравшего мою кожу от ушей до пяток нейродермита, который начался осенью, а к тому моменту покрывал все тело жуткими коростами. На локтях было голое мясо. Больницы не помогали. Уколами и таблетками не вылечить звериную тоску по стае.

Однажды мне пришла телеграмма. Сереженька больнице зпт срочно приезжай тчк. Был жуткий скандал с мамой, которая сказала, что все это я подстроила, но в тот же вечер я подошла к Сереженькиному дому, с лицом, сливавшимся цветом с окружающими сугробами и останавливающимся на каждом шагу сердцем.

...Они сидели, как всегда, на кухне, Светка, Римка, Лерка, кажется, тоже там была, и Сереженька, живой, невредимый и улыбающийся. Сначала я надавала всем пощечин. Они сидели, ждали своей очереди и улыбались. Потом я разревелась, и мы все обнимались и целовались. «А как иначе мы могли бы тебя увидеть?» ...И действительно, — как?

В марте после очередного скандала я попыталась сбежать. Граф приехал за мной в Сузун и увез в Черепаново, где училась моя одноклассница Ленка, с которой у него в тот момент был роман. Меня нашли той же ночью, мать приехала за мной с отцом, с которым я начала общаться, работая на одном заводе с его женой. Это был удар ниже пояса. Я вернулась, прожила в Сузуне до мая, отпросилась на Пасху на несколько дней в город, честно намереваясь приехать к концу праздников. Но я не вернулась. Как — тоже отдельная история. Мама приезжала в город, пыталась еще что-то сделать, плакала, уговаривала, говорила, что иначе я ей больше не дочь. Но, после того, как я ей сказала, что это — не мои слова, а ее, смирилась и просила только давать о себе знать. Всего этого ада не было бы, если б я осталась сразу, все бы уже как-то наладилось. По-

том было несколько лет, каждой недели из которых хватило бы не на один рассказ. Мы жили жадно и яростно, как поет Лукич, «весело и страшно, больно и смешно». Римка с Сереженькой уехали на Алтай, к ее родителям. Светку мотало из Новосибирска в Красноярск и обратно. Я оставалась в городе своего сердца, но всегда знала, что где бы она ни была, я всегда, в любую минуту, могу сесть в автобус или на поезд, и теперь никто и ничто не сможет остановить меня, а потому, расстояний и разлук как бы и вовсе не существует.

10

Борька умер в ноябре, четырнадцать лет назад.

Восемь лет назад, в декабре, я стояла в одной из комнат дома ее родителей, гладила по плечу ее сторбившегося и почерневшего мужа, заслоняя его спиной от ненавидящих взглядов, и говорила: «Ты ни в чем не виноват... Даже если бы ты остался...»

11

Она повесилась ночью, привязав пояс от халата к трубе под потолком. Чтобы мать с отчимом не услышали шума, она включила на полную громкость телевизор.

12

Почему она сделала это, и что этому предшествовало — тоже сюжет не для этого повествования, как и похороны, на которые съехались люди со всей Сибири. Там, в том отдельном повествовании, нужно написать, кем она была на самом деле, кем она была для всех знакомых, какой она была с самыми близкими людьми, и что она значила для других.

А я в тот день похоронила всю свою прежнюю жизнь, все, что значило для меня когда-то так много, все... Я положила все это к ней в гроб, рядом с ее красками и кистями, пачкой сигарет, кучей фенечек и многим другим, сложенным туда многими другими.

Все это заколотили большими гвоздями, и опустили в промерзшую декабрьскую землю, и засыпали промерзшей декабрьской землей, прогрохотавшей по крышке гроба завершающим ак-

кордом к грохоту той самой летящей под откос электрички, рядом с могилой Янки Дягилевой, которая так много значила для нее, хотя они никогда лично не встречались, впрочем, теперь это исправлено... Тогда я в последний раз видела большинство людей, с которыми столько времени когда-то мы проводили вместе, деля горе и радости.

Римма приехала через несколько дней... Она ничего еще не знала, и, встречая ее на вокзале без Светки, с другими людьми, в момент, когда ей, смеющейся и счастливой от предвкушения встречи, мы должны были говорить обо всем, я умерла еще раз.

13

Римма сейчас где-то на Урале, работает в сфере не то журналистики, не то психологии, с Сереженькой она рассталась еще задолго до Светкиной смерти, и как живет сейчас — я не знаю. Про него мне тоже ничего не известно.

Лерка в Москве, получает третье высшее в Литинституте, у нее семья, вот-вот родится вторая дочка, и, кажется, все хорошо.

Пару лет назад, приезжая в Новосибирск, она видела на улице Графа. Говорит, что он был похож на выходца из кунсткамеры.

Анархист стал работать в милиции, кто бы мог подумать...

Девочка, которую он любил, Юлька, разбилась, упав случайно с крыши девятиэтажки. Говорят, когда ее отскребали от асфальта, она улыбалась.

Перца я встретила года четыре назад на байкфестивале. Выглядел он очень и очень плохо.

Светкин муж со своей рок-группой сразу после ее смерти уехал в Питер. Там у него долго ничего не получалось, но в последнее время, вроде бы, наладилось. Их друг семьи сейчас самый популярный и объективно один из лучших рок-музыкантов в Новосибирске. Его звали в Москву, но он отказался... «Ведь в этом небе тоже должна быть звезда...»

Знакомый, который в первый раз вывел нас на всех, совсем спился.

Очень многие умерли по разным причинам.

Больше почти ни о ком ничего не знаю.

Я... а что — я?..

Жизнь продолжается, несмотря ни на что.

октябрь 2006 – октябрь 2007

Татьяна Бонч-Осмоловская

ВВЕРХ ПО ДОРОГЕ С КУРИЦЕЙ В КОРЗИНЕ

Курица сидела в корзинке, изредка невозмутимо поворачивая голову. Круглый глаз ее касался мальчика и вновь устремлялся вперед, в сплетенье прутьев. Отец ребенка был сапожником, и, в подтверждение пословицы, мальчик бежал по бульжникам босиком, торопясь вверх по дороге, на гору, к дому шойхета. Зато в кармане у мальчика лежали пять копеек, данные матерью в уплату за работу еврейского мясника.

На стук в дверь шойхет выйдет из дома, кивнет, увидев курицу, и пригласит ребенка зайти. Дети, Фира и Песя, будут играть во дворе, кидая камешки на расчерченную квадратиками землю. Мальчик поздоровается с ними, и они в ответ вежливо встанут, а потом захихикают ему вслед. Их отец тем временем приготовится к шхите: наденет белый халат, вымоет руки под жестяным ручной мойником и возьмет небольшой нож. Шойхет поднесет нож к свету, проверит на ощупь, нет ли трещинок или зазубрин, и, взяв курицу из рук мальчика, перегнет ей шею и одним точным движением перережет вену. Продолжая быстрое движение руки, он положит безвольно повисшее тельце курицы головой вниз в чашу, из которой кровь будет стекать в деревянный желоб на полу, и дальше, в отстойную яму. А сам примется расспрашивать мальчика о здоровье матери, о делах отца и о вестях от старшей сестры, вышедшей замуж за русского и уехавшей с ним в Москву на военные курсы. Потом шойхет достанет курицу из чаши, положит на стол и, выщипав перья в положенных местах, достанет внутренности. Легкие, почки, сердце, яичники — он все изучит. Он может отойти к шкафу и перелистать священную книгу, советуясь насчет какого-то особого пятна на желудке птицы или количества яиц, вытащенных из курицы и гроздью висящих перед его близорукими глазами. Пока он занят, мальчик будет прислушиваться к доносящимся со двора голосам дочек шойхета. Те, позабыв о его присутствии, звонко считают выпавшие камешки. Наконец, мудрец удостоверится, что курица, купленная нынче утром матерью мальчика, чиста перед Б-гом и людьми. Мальчик поблагодарит, завернет голову мертвой птицы под крыло и уложит тушку обратно в корзину. Он пойдет через двор, краснея под девчоночьими взглядами, а шойхет будет напутствовать его приветами родителей. Потом мальчик той же из-

вилистой дорогой спустится в город и отдаст курицу матери, чтобы она сварила бульон или пожарила ее с чесноком к празднику. На углу он заметит друга Петьку и, кратко доложив матери, что все в порядке, сейчас же бросится на улицу, и дальше вместе с Петькой вниз, на площадь, в жужжащую толпу вокруг только что открытого кинотеатра. Мальчишки проберутся в тупичок, к задней стене здания, через которую до них будет доноситься бряцанье на пианино и приглушенное гудение публики, то ее хоровой смех, то встревоженное аханье.

Но если Петька встретится ему по дороге в гору до того, как он доберется до шойхета? Он же сразу примется рассказывать мальчику о кино с томными красавицами и напомаженными кавалерами, и про билет в пять копеек, за который можно все это увидеть, и которые у Петьки есть, да и у него пока еще есть, только предназначены совсем не для кино, а для длиннорукого шойхета. Но что это за дело, будет смеяться Петька, зарезать курицу, что за него надо платить такие деньги? Зарезать курицу всякий может, да хоть вон он сам, Петька, сколько он этих курицу себя дома зарезал! И мальчик протянет ему корзину с безмятежной птицей, и будет смотреть со все нарастающей тошнотой, как его друг сворачивает курице шею, потом колотит ее камнем по голове, и гоняется за тушкой с криво висящей окровавленной головой, а она носится меж забором и стеной тупичка и никак не желает признать окончательность своей смерти. Постепенно, убежденная ужасом мальчика и ругательствами его друга, курица все же свалится в пыль, позволив ребятам сложить свое грязное тело в корзинку и, наконец, отправиться в кинотеатр как взрослые. Дома мать, конечно же, сразу обнаружит подлог и исколошматит его тяжелым мокрым трупиком, оставляя подтеки на новой рубашке, на шее, на руках, на всем, что он будет подставлять под удары.

Он надолго запомнит урок. И никогда больше не слушается матери, поняв, что на все есть закон, изреченный до него, и в соблюдении правил кроется простота и правильность бытия. Он будет жить по Книге. Ведь, не усвой он урока, который преподаст ему мать, ему останется лишь затаить обиду, и через три года убежать из дома в Москву, к сестре, и остаться жить у нее. А то, еще пуще, возненавидеть мать и ее жестокого Б-га, и искать утешения в иной вере, Бог которой, как рассказывает его приятель, милостиво прощает все, даже самые худшие мысли и поступки, стоит только прийти к нему и попросить о прощении. Концепция прощения мальчику понравится, хоть так и останется непонятной — к тому времени убеждение, что за все поступки придется расплачиваться, невзирая на слезы и жалобы, уже успеет в нем утвердиться. В тринадцать лет, вместо совершения обряда бармишвы, он крестится

и уйдет от родителей. Он станет работать в типографии, сначала чистить тяжелые наборные доски, а потом набирать буквы в слова, а слова в газетные заметки о свободном пролетарском труде и грядущей вражеской агрессии. Жить он будет там же, в типографии, в теплом углу у печи. Встречая его на улице, мать будет смотреть сквозь него, словно не видя, но Фира станет тихонько кивать ему в ответ. Однажды он наберет известие о начале войны.

Через четыре месяца, одну неделю и четыре дня немцы войдут в город. Еще через три недели он наберет приказ всем евреям прийти на площадь, взяв с собой еду и одежду на два дня. Он закроет печатный станок и тоже придет на площадь вместе со всеми. Их отвезут в тюрьму, переделанную из бывшего кинотеатра, а через два дня вывезут к механическому заводу. По приказу солдат они разденутся догола, сложат пожитки на землю и, дрожа на декабрьском морозе, будут дожидаться своей очереди ко рву. Они будут более исполнительными жертвами, чем солдаты — машинами убийства. Те не будут заботиться о качестве исполнения приказа, удовлетворяясь конечным результатом. Немцы будут стрелять залпом, не особенно целясь и не тратя пуль на добивание каждой жертвы, валя жертв одной грушкы поверх агонизирующих тел прошлой, и тут же вызывая следующую... Земля надо рвом будет стонать и дрожать еще трое суток, сводя с ума окрестных собак. Он будет задыхаться под холодеющими телами, уплывая в небытие и вновь возвращаясь к бездарным убийцам, в мир боли и беззакония, где люди жестоки даже в смерти, не считаясь с последними минутами курицы ли, человека ли. Он не узнает, как быстро умрет его мать. Узнает ли она, что он вернулся к своему народу, и простит ли его? Или не узнает и впервые обрадуется его отходу от закона, желая, наконец, чтоб он просто жил? Нет, она, должно быть, и в последнюю минуту будет продолжать верить, что долг важнее всего, и что Б-г вознаградит преданность верных и накажет слабость отступников.

Он еще долго будет просыпаться от кошмарных, мокрых снов, в комнате своей сестры, в Москве. Они узнают о расстреле евреев их родного городка из сводки Информбюро, рассказанной трагически-торжественным голосом в числе других сообщений, поднимающих на месть, на бой и на подвиг. Он тоже захочет отомстить, и, приписав себе пару лет, отправится на курсы артиллеристов, ему всегда легко удавалась математика, и вскоре отправится на фронт, чтобы погибнуть в сталинградской мясорубке. В том же аду погибнет и муж его сестры, но похоронку сестра получит только одну — о смерти мужа, и будет верить, что он ранен, контужен, попал в окружение, плен, потерял память, но жив, и когда-нибудь вернется домой. Ведь может же быть так, что он дойдет до Западной Европы, до самой Германии, и будет ранен, и его подберет сентиментальная немецкая девчонка, а он сбросит форму и

отлежится в яслях, среди коров, а потом вместе со своей немкой попадет в лагерь перемещенных лиц, и затем в Австралию. Да даже если это будет совсем другой, родной советский лагерь, он ведь все равно выживет, и вернется в Москву, а в Австралию отправится уже в семидесятые, когда одна кулиса железного занавеса приоткроется для евреев.

В восемьдесят лет он будет жить в Сиднее, один после смерти жены, в выданной ему государством двухкомнатной, или, как там это называют, однобедрумной квартире. Двухэтажный дом, вмещающий десяток стандартных квартир для одиноких неимущих пенсионеров, стоит квадратом, по периметру окружая вечнозеленую клумбу с банановой пальмой, торчащей в бесконечно синие небеса. Его комнаты заставлены книгами по математике и истории. Он в весьма хорошем здравии для своих лет. Каждый день он выходит из дома и гуляет в парке, где плавают черные лебеди, а потом направляется в районную библиотеку собирать крохи истории средневековых евреев. Из этих выписок он составляет статьи для русскоязычного иерусалимского журнала. Он занимается каббалой, переставляя буквы Книги, как камешки в старом лабиринте, как знаки на типографских линейках в одной из прошлых своих жизней. С высоты его восьмидесяти лет жизнь представляется ему таким же лабиринтом, в котором были возможны десятки путей, и только по одному из них он прошел, так и не узнав, который же путь был верным. Теперь он завидует своей нестигаемой матери, для которой все было ясно. Спускаясь с открытого балкона во двор, он щурится от тропического солнца и не знает, что сказать себе девятилетнему, бегущему вверх по дороге с курицей в корзине.

Манук Жажоян

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА РЕДАКЦИИ 'РУССКОЙ МЫСЛИ'

Редактор Андрей Кривов смотрит на свою бывшую жену, редактора Иру Кривову, косо и нежно. Она смотрит на него не косо и не нежно. Но когда он не смотрит на нее нежно, она смотрит на него косо, а потом нежно, а потом опять не косо и не нежно.

Редактор Александр Гинзбург ни на кого не смотрит косо, потому что вообще ни на кого не смотрит. Его жена Арина Гинзбург, зам. главного редактора, на всех смотрит в общем косо и в частности нежно. Она безошибочно знает, кто смотрит на нее косо, а кто нежно, но всегда умеет предупреждать косой взгляд на себя взглядом еще более косым. Словом, на кого она смотрит косо, а на кого нежно, может сказать только тот, на кого она смотрит.

Корректор Анна Пустынцева смотрит на корректора Нину Некипелову косо – по личным и профессиональным причинам. Корректор Нина Некипелова смотрит на корректора Анну Пустынцеву косо и по личным, и по профессиональным причинам. Они иногда смотрят друг на друга нежно, но именно в тот момент, когда друг на друга не смотрят.

Анна Пустынцева однозначно нежно смотрит только на своего хахалю, лит. критика и люмпен-редактора Манука Жажояна. Манук Жажоян смотрит нежно на всех, особенно на тех, кто смотрит на него косо, потому что меланхолик и боится. На тех же, кто смотрит на него нежно, он смотрит настолько нежно, что они начинают смотреть на него косо.

Секретарь редакции Ольга Прохорова смотрит косо на посетителей и нежно на всех остальных. Бывают случаи, когда она по ошибке смотрит на посетителей нежно, а на всех остальных косо, но за это ей делают втык, и тогда она смотрит косо и на посетителей, и на всех остальных. Люмпен-наборщик и полноценный метранпаж Виктор Сорокин смотрит прямо на свою жену, а смотреть на остальных у него уже не остается времени. Его жена, люмпен-метранпаж и полноценная наборщица Соня Сорокина, смотрит нежно на Виктора Сорокина, косо на Манука Жажояна, нежно на Нину Некипелову, косо на Анну Пустынцеву, косо на Таню Ходорович, косо на Инну Ракузину, косо на Толю Копейкина, косо на Андрея Кривова, нежно (но чуть-чуть косо) на Иру Кривову, косо на Арину Гинзбург, нежно (но больше косо) на Александра Гинзбурга, косо (но чуть-чуть нежно)

на Наталью Горбаневскую и т.д.

Редактор Наталья Горбаневская ни на кого не смотрит косо, потому что у нее душа – христианка и по офтальмологическим причинам. Заведующая отделом подписки Ира Бокова смотрит нежно только на Манука Жажояна, поскольку он самый новенький в редакции и талант, а на остальных смотрит искоса.

Бухгалтер редакции Нат Мартен (француженка) смотрит косо на всех в день зарплаты, а все остальные дни смотрит тоже косо. Когда посетители через Ольгу Прохорову просят у нее гонорар, то она смотрит на Ольгу Прохорову совсем косо, а на посетителей никак не смотрит. Наборщик и литератор Толя Копейкин смотрит нежно на Иру Кривову и на главного редактора Ирину Иловайскую. Гл. редактор Ирина Иловайская смотрит нежно только на Толю Копейкина, а на остальных – величественно. Если на кого-то она и смотрит косо, то все равно величественно, если же нежно, то тоже величественно.

Данная схема, несомненно, нуждается в детальных дополнениях. Так, положительно интересным представляется то, как, напр., смотрит Арина Гинзбург на Ирину Иловайскую, т.е. на единственного человека, на которого она не может позволить себе роскошь смотреть косо. Или как смотрят друг на друга Анна Пустынцева и Ира Бокова, одновременно смотрящие на Манука Жажояна нежно? Или же как смотрит Толя Копейкин на Анну Пустынцеву, смотрящую на Манука Жажояна несколько более нежно, чем на Толю Копейкина, на которого не только она смотрит зачстую косо, но и Манук Жажоян, смотрящий на всех нежно?

Затем, за пределами этой статьи оказались некоторые сотрудники редакции, которые хотя бы потому, что смотрят на ее автора скорее нежно, чем косо, заслуживают более подробного упоминания.

И, наконец, каково количественное и качественное соотношение косых и нежных взглядов в редакции в семейно-половом аспекте? Т.е., если из 14 нежных взглядов, выдаваемых Ариной Гинзбург за один рабочий день, 9 приходится на Александра Гинзбурга, и из 22 нежных взглядов Сони Сорокиной 21 падают на Витю Сорокина, а из 3 косых взглядов, бросаемых Анной Пустынцевой, 2 приходится на Иру Бокову в тот момент, когда она нежно смотрит на Манука Жажояна, и из 58 взглядов, достающихся от Ольги Прохоровой посетителям, ни один даже случайно не задевает Валеру Прохорова, выталкивающего посетителей, то не можем ли мы сделать из этого более специальные выводы? Словом, все эти вопросы еще ждут своего окончательного разрешения.

<1995>

кин. То-то будет! А там, глядишь, критикишко какой объявится и напишет: «А что это за писатель новый появился – Коропкин?! Рассказы у него вроде бы ничего, очень даже хорошие, или даже нет, без всякого «очень даже», а просто хорошие рассказы, вот только фамилия у него странная – Коропкин. Предельно невыгодная для писателя фамилия. Не может быть писателя с фамилией Коропкин. Человек с фамилией Коропкин может быть парикмахером собак, знатным горшечником, на худой конец – переплетчиком девичьих альбомов, но писателя с фамилией Коропкин быть не может. В конце нашего краткого отзыва посоветуем талантливому дебютанту взять себе благозвучный литературный псевдоним, например, Мстиславский».

Ага, хрена тебе Мстиславский! Сволочь идеалистическая! Ты бы мне еще Белоцерковского предложил. А Корочкина не хотел?! Воодушевленный этой новой идеей, Копейкин следующий свой хороший рассказ твердо решил подписать: Корочкин.

<1995>

КОПЕЙКИНУ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ

Копейкин стоял на табуретке и писал художественное полотно. Был его тридцать восьмой день рождения.

«Расцвет творческих сил... – думал Копейкин, дорисовывая тучку. – Полное физическое и душевное равновесие».

– Хорошо все-таки быть тридцативосьмилетним, – думал Копейкин. – Вот двадцатитрехлетним плохо быть, а тридцативосьмилетним хорошо. Оно, конечно, двадцатитрехлетние тоже неплохо живут, но тридцативосьмилетние все равно лучше. Кто, например, про двадцатитрехлетнего скажет: «Расцвет творческих сил»?! Никто про двадцатитрехлетнего так не скажет, а про тридцативосьмилетнего еще как скажет: «В расцвете творческих сил!»

Копейкин вспомнил свое отрочество и юность и сплонул.

– Ну вот было мне двенадцать лет, ну и что! Слоняюсь, бывало, по улице, а меня спрашивают: «Тебе сколько лет?» А я говорю: «Двенадцать, мол». А они: «А... двенадцать! Ну понятно...» Или вот еще. Иду по институту, а меня одна девушка спрашивает: «Тебе сколько лет?» А я два года себе надбавил: «Двадцать три», говорю. «Ну тогда пойдём», говорит. А я потом ее спрашиваю, а ты чего, мол, спрашивала, сколько мне лет, а она говорит, да так, мол, просто, из интереса. А какой же тут интерес, курва, говорю. Если уж на чить не может.

– Ну, не может! – возразил Гарик. – Паровоз от парохода, наверное, все-таки может.

– Не может, не может! – радостно воскликнула Горбаневская. – Паровоз от парохода не может!

На этой звонкой ноте беседа на некоторое время прервалась, а затем перешла уже совсем на другую тему, о которой любезный читатель узнает в следующий раз.

<1995>

КОПЕЙКИН ПРИДУМЫВАЕТ СЕБЕ ПСЕВДОНИМ

Копейкин решил написать хороший рассказ. Но перед тем как его начать писать, он поковырял в носу и задумался. «Гм... – сказал Копейкин, – а ведь псевдоним какой-нибудь надо придумать. Не может быть писателя с фамилией Копейкин. Человек с фамилией Копейкин может быть экскурсоводом в музее изящных искусств города Алушты, наборщиком в районной газете, начальником цеха на вертолетном заводе в Ростове-на-Дону, а писателя с фамилией Копейкин быть не может». Копейкин решил взять нейтральную фамилию. Сергеев, например. Но Сергеевых вообще не бывает. Сергеев даже начальником цеха на вертолетном заводе не может быть. Подойди к человеку с фамилией Сергеев, скажи: «Здравствуй, Сергеев!» – он и не откликнется, как будто его вовсе нет.

Лучше, подумал Копейкин, какую-нибудь фигурную фамилию, литературную. «Белоцерковский, может... Нет, Белоцерковский не подходит, был уже один Белоцерковский, сволочь порядочная. Откроет читатель мой рассказ, увидит – «Белоцерковский» и скажет: «А, так это Белоцерковский!» – и дальше читать не станет...» Ну и хрен с ним, подумал дальше Копейкин, пусть не читает. Чего это я перед читателем стелиться буду. Бросил бы я в рыло этому читателю мой хороший рассказ: на, мол, каналья, хочешь – читай, не хочешь – не читай. А и псевдонима никакого не надо. Копейкин так Копейкин.

Был же вон Кукольник – и ничего. То есть чего, конечно, кто его, этого Кукольника, помнит. Так ведь не потому, что фамилия никудышная была, а потому, что он рассказов хороших не писал. А я пишу хорошие рассказы. Так вот Копейкиным и останусь. А то сделаю еще хуже. Короткин! Вот. Открывает эта сволочь мой хороший рассказ, дочитывает до конца, а в конце – бац! – Корот-

то пошло, то мне двадцать один, а не двадцать три, так что выматывайся, блядь, пока по зубам не получила. А она жутко расстроилась и говорит, что да ладно, мол, двадцать один так двадцать один, что уж тут расстраиваться, ты мне, мол, и такой нравишься... А если бы мне, спрашиваю, было тридцать восемь, ты бы что делала? Я бы, говорит, тебя любила. А ты меня, говорю, и двадцатиоднолетнего полюби. А она говорит, что, мол, двадцатиоднолетнего я тебя по-настоящему полюбить не могу, а если бы тебе было, например, тридцать восемь, то уж обязательно полюбила бы...

Копейкин вспомнил эту свою юношескую любовную историю и сплюнул.

- Ну вот, - подумал Копейкин, - мне как раз тридцать восемь. Нет чтоб прийти и сказать, что, мол, Копейкин, помнишь, я говорила, что тридцативосьмилетнего я бы тебя полюбила, и вот тебе, наконец, стукнуло тридцать восемь и я тебя люблю. А не приходится, так и черт с ней. Ей, небось, уже тоже тридцать восемь. Это у меня расцвет творческих сил, а у нее не расцвет творческих сил. Если бы она подошла сейчас ко мне и сказала, что, мол, Копейкин, у тебя расцвет творческих сил и я тебя люблю, я бы сказал, что у меня, может, и расцвет творческих сил, а у тебя уже никакой не расцвет и я тебя не люблю. А она бы расплакалась, а я бы сказал, что, мол, проблядушка, когда мне было двадцать один, тогда и надо было плакать, а сейчас, мол, уже поздно. А она бы стала еще больше плакать, а я тут сказал бы, что ладно, мол, не плачь, тридцать восемь так тридцать восемь, что уж тут подделаешь, мол, если бабе сорок пять, баба ягодка опять, а она бы сказала, что ей, между прочим, еще далеко не сорок пять и то, что я сказал, это непростибельная пошлость, которую она никак не ожидала от меня, когда она впервые меня встретила в прокуренном коридоре а я бы сказал что да ладно давай без преувеличений тем более что никто из нас не может сказать что такое пошлость и не пошлость а она бы все равно плакала в свои тридцать восемь лет а я бы ей говорил что беспокоиться ей за меня нечего я мол уже вполне сложился как личность и как художник и что я нахожусь в расцвете творческих сил и она говорила <бы> что в гробу видела мой расцвет потому что когда мне было двадцать один я был в еще большем расцвете творческих сил мол она это по себе знает а то что эти мазюльки которые я рисую это только для меня расцвет а для нее никакой не расцвет потому что она в конце концов женщина и хотела бы простого человеческого

<1995>

КОПЕЙКИН ОБИДЕЛСЯ

Копейкин очень любил рвать коробки из-под торта или из-под игрушек. Купит, бывало, торт или игрушку и идет домой радостный. Вся семья торт уплетает, ребенок с игрушкой возится, а Копейкин с коробок глаз не сводит. Дождется, чтоб последний кусок торта с коробки исчез, – и давай ее рвать. Загибает ровненько и рвет.

А Горбаневская не любила, когда он коробки рвал. Копейкин любил, а Горбаневская не любила.

Сядут, бывало, поговорить о политике или о религиозном, а Копейкин как бы машинально берет коробку и начинает рвать. А Горбаневская хоть и увлечена беседой, но зорко следит, что делает Копейкин. Копейкин рвет, а Горбаневская следит. Горбаневская следит, а Копейкин рвет. – Копейкин! – вскрикивает Горбаневская. – Не рви коробки при мне! Сколько раз просила...

А Копейкин хочет направить разговор в другое русло:

– Вот ты, Горбаневская, говоришь: Фома Кемпийский, Фома Кемпийский... А мне что Кемпийский, что Кентерберийский. Хоть бы их обоих вовсе не было.

– Я тебе не про Кентерберийского говорю, а чтоб ты коробки не рвал!

А Копейкин уже начинает краснеть и нервничать, но все равно хочет спасти положение:

– Да нет, Горбаневская, не в коробках дело... я... просто хочу сказать, что Кентерберийский, он, конечно, и Кентерберийский, но вот Тертуллиан...

– Как же не в коробках дело, Копейкин! В коробках как раз и дело. Если не в коробках, так в чем же тогда? Знает ведь, что не выношу, когда коробки рвут, а рвет! Сидит и рвет. Сидит и рвет.

– Ну и рву. Коробки-то я, может быть, и рву. Но вот Теотокопуло...

– Оставь коробку, Коропкин!..

– Так вот Теотокопуло...

– Пока не бросишь рвать коробку, никакого тебе Теотокопуло не будет!

Такой дилеммы Копейкин снести уже не мог. Он дорвал коробку и, сославшись на поздний час, ушел не откланявшись.

<1995>

КОПЕЙКИН И БУЛЬДОЗЕР¹

«Искусство под бульдозером!» – вскрикнул Копейкин и тут же осекся. По правде сказать, Копейкин не любил бульдозеров. Искусство любил, а бульдозеры не любил.

Идут они, бывало, по улице, вернее, Копейкин на велосипеде едет, а Жажоян рядышком семенит, и спорят. Копейкин говорит «искусство», а Жажоян говорит «бульдозер».

А Жажоян как раз бульдозеры и любил. А искусство не любил. То есть, конечно, искусство он тоже любил, но бульдозеры больше. Это потому, что он бульдозеры водить умел, а рисовать не умел. А Копейкин, наоборот, рисовать умел, а бульдозеры водить не умел.

Копейкин был пессимист и считал, что искусство – это бульдозер. А Жажоян был оптимист и считал, что бульдозер – это искусство.

<1996>

«КОПЕЙКИН ЛЮБИЛ ПИСАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ...»

Копейкин любил писать произведения. Сядет, бывало, и пишет. Час пишет, два пишет. Любой другой уже прекратил бы писать, а он все пишет и пишет.

Копейкину не так уж много лет, но сколько-то все-таки наберется.

Первую половину своей жизни он писал свои произведения, а вторую – их читал. Он так всем и говорит: «Я, говорит, перечитываю свои произведения с большим удовольствием».

А другой писатель писал мало и плохо. А Копейкин много и хорошо. Тот писатель спрашивает Копейкина: «Ты, Копейкин, сколько пишешь?» – «Много», – говорит Копейкин. «А я мало», – говорит писатель. «Ну и мудака», – говорит Копейкин. На этом писатели рассорились.

¹ Этот и следующий рассказ не были окончательно доработаны автором, публикуются по рукописям. – Примеч. составителя

А Копейкин стал после этого еще больше писать. Он писал

так много, что только он один мог дочитать до конца свои произведения. А другие не могли. Копейкин бы тоже не мог, если бы не писал. А раз уж пишешь, то хочешь не хочешь читаешь, когда пишешь.

А как-то раз с Копейкиным случился творческий кризис. Он заключался в том, что Копейкин уже не успевал читать то, что писал, так как писал быстрее, чем читал. Из-за этого его произведения не стали хуже, но он уже не мог получать от них удовольствие. Это был тяжелый творческий кризис, но Копейкин его усилием воли преодолел.

(И теперь он находится в гармонии, так как читает так же быстро, как и пишет.)

Вот какую яркую творческую жизнь прожил Копейкин. Его литературное наследие составляет много томов. Когда ему не спится, он начинает пересчитывать свои тома. Как начнет считать, остановиться уже не может и так до утра и считает. А по утрам он ест яичницу с сосисками и приговаривает: «Ух ты! Ух ты!»

А как-то тот другой писатель попросил у него яичницу, а Копейкин ему говорит: «Кто не работает, тот не ест».

А писатель ему говорит: «Это, – говорит, – апостол Павел первый сказал». А Копейкин ему говорит: «Ты, как я погляжу, умный. Чего же ты не пишешь, раз такой умный?» – «А я, – говорит писатель, – не могу. Я есть хочу». – «А я не хочу, – говорит Копейкин. – Я вот уже поел».

<1996>

Публикация Анны Пустынцевой

Полина Барскова

СКОБКИ

Скобки

Poco a poco rallentando

I.

Тебя пережить (п)оказалось легко
Себя потрудней
Вот поезд ночной промычал далеко
Количество дней
Растёт между нами как опухоль как
Просительный знак
Прими меня в сумерки в свой полумрак
Несчастный дурак
Себя изbleвавший на радостях шут
Закрученный жгут
Там поезд прополз и наверное жгут
Там листья и ждут
Чего-нибудь-так же как я, но чего ж?
Не мистики мы.
И ходишь, и воешь, и спишь, и поёшь
Начало зимы.

II.

Что ты отнимешь у меня?
Кус подсыхающего дня,
Где слева облако бежит как старый пёс по парку
Дрожа, а справа бледный дом,
Как бедный человек со ртом,
Закушенным в печали, —
Приклеивает марку
К постыдному письму с молениями. Едва ли

Захочешь-сможешь ты отнять
Тот день, п(р)отекийший вкривь и вспять
Как Мёбиуса лента:
Всё в нём пустые чудеса,

Гуашью сжаты небеса,
Хозяин жолтенького пса
Орлом сконфуженным взвился
При виде экскремента
(Фу-фу тебе за это).

День этот дорог — не бери.
Другое что-нибудь бери.

А эти недофонари
А эти недоупыри,
Моргающие грозно
Оставь — в их свете, как в кино дурном, в толпе статистов,
Возможно
П(р)оявится на миг
Твой гордый удлинённый лик
Мой твёрдый удлинённый крик.
(С тех пор мой театральный тик неотвратим, неистов.)

Тот жирный крик: не отнимай
Своё лицо не отнимай
И родинки и руки.
Желтеет небо, как эмаль
Зубная у куряки
Желтеют дома, пёс заснул,
И ты опять со мной заснул,
Потом по горлу полоснул,
И спрятался во мраке.

Вариации на тему

*Над Польшей бывают грозы
Из утренней застольной беседы*

Стою на окраине замка, служившего разнообразным — истам,
Хозяевам в наглаженной униформе. Сокол скользит внизу.
По краешку панорамы в воздухе маслянистом.
Проронить ли слезу:
Зачем я не сокол и не летаю
Зачем не сокольничий и не пытаю
Сокола шолковым поводком?

Моя задача строга: я прячусь, я наблюдаю
Как он сливается с небом. Ни о ком
Слезы не проронит сокол:
Лишь о добыче —
О нежнокожей выпи,
О пахучей лисице,
О жирненьком сурке.

Сокол-ангел, закинул колчан за за-росшие перьями плечи.
Всё ли ты болтаешься на сурке
У любящих панорамы хозяев замка
Или ты теперь всё же немножечко то, что ты есть?
Польша твоя всё та же прелестная косоглазая куртизанка
Или какая другая весть?

Сокол, ты стоишь надо всем:
Ты видишь малые штуки —
Видишь рек извороты, расплюснутых улиц трюки,
Вот восьмилетние подруги
С укоризною смотрят
На заснувшего внезапно на солнцепёке щенка,
Вот монахиня поспешает на поезд,
Вот младенец проснулся-его щека —
Литографический отпечаток мамашиной кофточки. Повесть
Крошечных невыразимых событий. Святой Франциск
Что-то втолковывает огорчённой улитке.

Сокол заметив это, кидается вниз:
На разноцветные плитки
Полей, огородов, автостоянок — он возбуждён
Своей работою надзирателя
Своим бескрайним знаньем.

Из костёла Святой Анешки вырывается звон,
Пилигримы — словно при штурме крепости-карабкаются на холм —
С опозданием, — умиляется сокол — с опозданием.

**Ассимиляция: Моя мама обожглась ядовитым плющом,
а Фрося моет ей руку.**

Как будто Дюймовочка павшая в лапы кроту
Иль крот угодивший в цепкие пальцы Дюймовочки —
Что я несу? — в том смысле — что я плету?
Неужто узор потайной из бессмысленной проволоочки?
Кому я внимаю? — в том смысле-кого я виню?

Пустынное лето сверлят ядовитые травы.
Вот словно пластмасса прильнёшь поплотнее к огню —
Проказой пойдёшь, волдырями, всё ради забавы.
Поближе к огню сожалений, висящих в жаре.
Идёшь, словно мёд рассекаешь, и помнишь, и знаешь,
Что ты ничего совершенно не помнишь, не знаешь
И пишешь об этом соседке портному сестре:

«У нас уж неделю отравлен пластмассовый зной.
Малышка сидит у ручья, тот икает, мелея.
А я ощущаю большой воспалённой спиной
Рубаху как будто её мастерила Медея.

Малышка копается с жолтым дырявым ковшом —
Дюймовочка крохотный шар холодка подязычный.
А я ощущаю как грозы стоят за мостом
И словно в бреду повторяет усталый кузнецик,

Что мол это всё не про то. Или всё же про то?
Что грозы и гланды травы наливаются ядом,
Что ты поравляешь свой жолтый дырявый платок,
Мой хлад подязычный, всегда находящийся рядом.»

Мой хлад, дуновенье, раскрытие ветра, кивок,
Вот ямочка вот-словно пересечённая прядью.

Ступня и нога, подорожник, плечо и живот.
Вот всё, что даёт человек, уготовясь к объятью.

Малосенький, нежный и нервный, с платком и ведром.
С надменной щербинкой в усталой от жара улыбке.
Лениво, как старенький зонт, раскрывается гром,
Ладони, как почки распухшие, ярки и липки.

Сообщение Ариэля

Твой отец лежит раздавлен весом морским
Он объём волны, он коралл.
Твой отец кружит разбавлен ветром морским
Кожа его — кора
С паникующим муравьём.
Стали белки его глаз — гордый жемчуг.
Стали желтки его глаз — негодный жемчуг.
Череп его — хоралл.
Всё в нём звучит, дрожит.
Ничто в нём не блекнет,
Но всё превращается
В нечто странное, густое, многообещающее.
В этот раствор погружаются любознательные nereиды —
Наблюдать за превращениями твоего отца,

Ведь ничто в нём не блекнет, но всё обращается
В тебя, к тебе, Фердинанд: твой отец жив!

Твой отец спит.
Твой отец — шар
Красный,
Прибывший под новым мостом.
Твой отец — стыд.
Он — жар
слепоты, подступающей когда я смотрю на него: оболочка
тает.
Он косноязычья хлад как жало выползающий изо рта.

Твой отец ещё жив, но он засыпает.
Посмотри на спящего, Фердинанд.
Струйка слюны стекает по подбородку.
Так змея аккуратно спускается по скале,
Так жирная цепь проливается в лодку.

Он вздыхает, но как-то не наружу, а внутрь:
Скорее звук запирая в себе, чем делясь им с нами:

Он спит, Фердинанд. Лёд мерцает на куцей его губе.
Дыхание — очень маленькая вещь, закруглённая снами.

ПИСЬМО МАТЕРИ от шарля б.

Мамаша пришлите мне несколько денег
Я пойду покупать себе умывальник

Пришлите мне двадцать франков
Для омывания рук и лба.

Фаянсовый хрупкий предмет похожий на вымя
на время когда парижские проститутки вылезают из норок
И шевелят встревоженными аллергическими ноздрями
В предвкушении воздуха
Шорох!
Время когда весь город шевелит неведомыми дверями.

Для омывания рук и лба от грустного пота
Необходимы деньги.
Моя работа что-то не приносит дохода.

Моя работа следить в окно как с чёрного хода
В здания проникают волшебные невидимки

Беззвучные деликатные словно морские свинки жирные
спинки.
Я наблюдаю их
Не мечтая о заполучении их
Никаких таких вождений

Только в стих
Я желаю их улучшить
Только в квадратной тёмной комнате стиха
(где в углу, мамаша, мог бы быть умывальник...)
Я умею иметь и уметь их опрятные тёплые тени
От которых затем я желал бы себя отмывать
Тени чудовищных рыб на радужной оболочке морской

О мамаша какой же я грязный
Не умывался грязнулею остался
По утрам и вечерам срам срам

По ночам:
Я погружаюсь в чолн
сирены-рыбы скользят вдоль бортов

Кричат протяжно: ясно
зовут меня — двадцать франков двадцать франков

Цирковые куплеты Лу Саломе

Все собеседники мои
Молчи запугивай моли
Остались кажется вдали
Никто не обернётся

Язык ли мой тому виной
Иль способ у меня иной
Существованья но со мной
Нет со-канатоходца.

Внизу: и моськи, и слоны,
Оплывших лысин валуны
И клоунов пижамы,
Вверху — пренеприятный свет
Прожектора, парад планет.
А оркестровой ямы
Шипенье, аканье-вокруг.

Воображаемый мой друг,
Смотри как это просто:
Скользить по глади темноты,
Каналы различать мосты,
Сторонкой обходить посты
Сторожевые — просто.

Я научу тебя всему:
Скольженью — жжению моему,
Захочешь — горю и уму,
Захочешь — светотени.
А ты давай не отставай
Свисти, кривляйся, подпевай:
Парам-парам спешим мы в рай
Дум-дум к ядрёной фене.

Охотники на снегу

Возвращение в зиму
После девятилетней разлуки
К затвердевшему гриму.
Как натянуты луки
Смертоносных ветвей —
Словно брови надменных красавиц
(так их робкий описывал гоголь.)

К разговору о птицах:
Дубонос, величавый красавец,
Расточительный щёголь,

Ослеплять моих ближних
Своим опереньем
Прибывает алея.

9 лет пролетели тепла
Упоительных лишних,
Пряно-пахнущих, словно аллея
Парка с диким названием Золотые Ворота,
Где присыпали землю лепестки и надбитые шприцы.

9 лет лепестковой метели, цветочного тёмного пота,
Но теперь всё обратно: железные ветви, и птицы
На железных холмах
Различают охотников трёх
И тринадцать собак, что спускаются с ними в долину:
«Кривоzub! Попугай! Пустобрёх!»
Как вас там... Вот охотник на узкую спину
Водружает свой лук и стремится по жирному снегу

Через треснувший луг
К ледяному подножью холма,
Где на мёртвую реку

Выливаются рыжие, жёлтые, синие струи заката
И охотник хрипит: возвращение в зиму. Зима
Хороша как когда-то.

Улица Ленсовета, дом 48, квартира 15.

Надпись здесь была Ира восклицательный знак,
Обошедши полмира восклицательный знак,
Глажу взглядом покорным вопросительный знак.

Словно ночь со снотворным
Бьётся память. Никак
Не поверить, что в этом доме,
С этой стеной —
память бьётся со мной —

Всё случилось и бредом
Стало в жиге ночной

Поз, словес, повторений,
Знаков — здесь на стене.
Изо всех направлений,
Предлагавшихся мне
Придорожную тенью,
Выбирала — туда,
Где научат терпенью.

Но однажды бурда
Ночи снова сгустилась,
Срам-сезам отворя,
Я вернулась, скатилась
В дом, где Ира моя
Невидимка-Поганка
О себе на стене
Заявила, чтоб ранка
Прободела во мне.
Я была тогда лучше,
Я была тогда я,
Я была тогда хуже:

Расплывание туши,
Возбужденье вранья,
Злобный треск поцелуев
В предосенней ночи,

Рыцарь смерть Иван Хуев*,
В рюкзаке Вересаев,
Ну-ну-ну не кричи.
Дождь, настурции скисли,
Кто их сеял? МА.МА.
Покопаешься в смысле —
Точно свалишь с ума.
Нету смысла в движеньи,
Время льётся, горит,
Ира дура, прощенья
Я прошу говорит

У себя здесь стоявшей
Лет пятнадцать назад
И у группы товарищей,
Что за мною следят
С по-над туч, из-под пепла
И судачат — эх, мать!
Ты разбухла, окрепла,
Но всё так же читать
Не умеешь и к шифру
Остаёшься слепа.
Дом, как молодец гидру,
Отсекает тебя
От голов, лиц, событий,
Что толпятся во тьме,
Как в прихожей — входите,
Распадайтесь во мне.

*) Вариант происхождения имени доблестного рыцаря Айвенго

Тёрнер

I. Синие огни и сигнальные ракеты над отмелью

У Тёрнера турнир
.....С Констэблем, с академией,
.....С погодой, с непогодой,

Злосчастный поединок
С пятном зелёного,
Что бьётся, как корабль затравленный —
О скал зубцы,
О чёрные разводы.

.....Он мрачен, он молчит,
.....Он грязно гложет сельдь.

У Тёрнера турнюр
Плюговой нежены
Неровен час да вызовет мигрень
Он бедный он рычит
Он всюду ищет трость.
Находит и бредёт туда,

Где море сверху,
Где песок весь в пирсинге —
Как благородный вождь
Морского племени —
Разбитых раковин,

Из них торчат пучки морской травы
Как из подмышек старухи мёртвой.

Он тростью трогает.
Он чертит на песке:

Вот здесь корабль,
Вот здесь над ним встаёт
И длится облако,
Огромное как рот
Младенца над соском,

Вот здесь...
Для Тёрнера гудит прощальный тенор
Пустого ветра (что ж он так орёт?)
Вот сплюнул на песок,
Вот оглянулся Тёрнер —

К нему подходит тьма,
Чтоб осмотреть закат:
Зелёный куст огня

И жолтый кус залива,
И Тёрнер пятится не то, чтобы трусливо, —
Смущённо и спешит —
От моря, от меня.

II. Товарообмен

Богиня моря подарила мне,
Мне богиня моря подарила
Три ракушки, созревшие на дне,
Принесшие плоды на краешке залива,
Плоды пустот и радужного ила.

Моря богиня страшною рукой волны
Меня объяла, сжала и слизала
Серебряные серьги из ушей,
Ах до чего ж её проворно жало!

И кольца серые отправились на дно —
В просторные ларцы
Грудастых, сельдеобразных
Дев,
Мечтам пустынным обречённых,
Как ракушки, что сорваны со дна.

Найдётся среди них одна:
Рыбыня, мартовский морской огурчик, злой рыбчонок:

Она плывёт и в ракушку твердит,
А ракушка в ответ такой напев смердит:

Я привыкла быть одна,
Будто ракушка у дна,
Пузырьками испарялась
Голубая тишина.
В темноте и глубине
Под волной и на волне
Тихий свет по дну струится,
Как в спокойно-синем сне.
В этой страшной тишине,
В этой странной тишине
Я живу на этом чёрном
И таком далёком дне.

Носи же серьги-пусть они чернеют
 В твоих ушах, что так нервны, чутки,
 Пусть стаи рыб, как львы сквозь обруч в цирке,
 Меланхолично прыгают сквозь них.

Они тебя оберегут
 От праздности, от злобы, от тоски,
 Как ни один жених
 Надменный не сумеет.

Носи их-радуйся-русалочка--блистай,
 Как злой межводный блик, иного края отраженья,
 Будь злое серебро, будь пустота, движенье,
 Будь злое серебро безвидных рыбьих стай.

.....1987-2007

Добычин в Брянске

Кате Капович

1.

Ступай моя тёмная юность
 Ущербность надменность утрюмость
 Оставлю четыре затяжки
 Для Сонечки в летнем пальтишке
 Для Лёнечки в мятой рубашке

Оставлю китёнком кутёнком
 Себя в вытекающем небе
 Из солнца: в хрипении тонком,
 Известный младенец во хлеве
 Не так ли бибикал и пукал
 Под сглазом разряженных пугал?
 И млела звезда, догорая.
 Прощайся, моя дорогая,

Престольная юность: мне время
 Отправиться к месту служенья
 Чему-то, там в праздничной дрёме
 К земле прислонились растенья
 Как после любви, рассыпась

Кипящей смолой, как слюною,
Где рано наставшая старость
Моя да присмотрит за мною —

Как сонный пастух с миской тюри,
Как сонный пастух с банкой водки —
За стадом, застрявшим в июле,
Как муха в рыжеющем тюле.

И вместе со мною погодки,
Прелестные важные тени,
В молчаньи сойдутся у рек.

Втащив дочерей на колени, —
Как Рерих негодный изрек,
Мы станем глядеть на восток.

2.

Учись смирению. Учись небытию.
Учись отсутствию — и всякому такому.
По дыму сладкому, по шуму городскому
Не вой отступница, иди корми семью,
В ночи под покрывалами семью
Мечтай о том, как по дорожке к дому
Креститель катит голову твою.
Вдоль водочных ларьков и дряхлых клумб,
Приветливо загаженных беседок,
Как в море заблудившийся Колумб,
Креститель — мой спесивый собеседник —
Толкает ком, втыкает кол главы
Скорее заключительной по смыслу.
В слова мои вцепился он как в крысу
Вцепляется ночная тень совы.
Я крыса из Колумбова бедра,
Из губ Крестителя, я — серая на сером.
Я — выдранная скальпелем беда,
И город мой своим хвалёным телом
Саднит и дразнит, — ярким никогда.

И клонится напрягшаяся шея
Иродиады, и слюна стыда
Как змейка выбегает изо рта:
Учи себя сомнению, саломея.

3.

Резкость первой половины лета,
Двойственность жеманная второй.
До чего я твёрдо помню это!
Полоса разорванная света
Борется с лиловой полосой
Сумерек, свинцовую росой
Напитавшись, рвётся сигарета.

Спать пора: и детям, и зверям,
И духам болотным, и царям,
Ну-те-ка в кроватку на бочок и молчок!
Но не спит июльский светлячок.

Что же ты не спишь дружок,
Светла белого кусочек?
Вот и свиделись разочек
Мы с тобою на земли!
Друг на друга посмотрели,
Словно мы достигли цели,
Посмотрели и пошли.

Ты по воздуху пошёл,
Вздрагивая и хромая.
Нервная и непрямая
Линия, среди чёрных тел —
Пятен ночи, ты пунктир,
Отмечающий куда
В свете ж есть такое чудо!
Отмечающий куда —
Мне идти в надежде видеть
Хоть недолго, хоть на миг

Знать дышать и ненавидеть
Знать бежать и ненавидеть

Мир вдоль бедных озарений ослепительных твоих.

4. Le Sang D'un Poete

У людей наступает сезон вещей
Шёлковых льняных воздушных

А у нас наступает сезон клещей
Лукавых и малодушных

Они хотят обагрить твой скальп
Как граф Карпат или дива Альп,
Лени с её ледорубом.
Бредёшь под лиственным ты плащом,
И опца-встреча твоя с клещом
Готовится, как с суккубом
В ночи соблазна.....

.....
Бредёшь и в шляпочке, и в плаще,
Но знай-защита твоя вотще,
Повсюду и отовсюду
Он ждёт, он бдит, как советский текст,
Он ждёт ТЕБЯ, он других не ест,
Он вымыл уже посуду
Заради праздничка, он готов
Глотать твою, надуваясь кровь
И быть как воздушный шарик
На чёрной ранке моей
И плыть
Над бледной кожей...

Азарт и прыть! (Паяцы! I Futuristi!)
Заметны в нём — — так бирюк Бурлюк
(звезда во лбу) нагнетал свой трюк,
Гуро умывала кисти
И мяла мягкие кисти рук,
Давид клокотал о мести,
Гудел двухметровый друг
И делал поутру крюк
Вдоль Карповки.

Ржавая кровь реки
Мешалась — гуашь — с закатом —
Чтоб вышлеснулась в тридцатом
Поэта кровь.

На Выборгской — стонущие гудки.
За Ботаническим садом
Надуваются пошлавки.

Алексей Ивантер

МЕЖДУ НИЗКИМ И ВЫСОКИМ

• • •

Между низким и высоким, за леском и коноплём, за полёгшею осокой, за засохшею землёй, где глядят глаза косые в погребки из-под руки — пропитые, пропитые голубые васильки — хорошо лабать и шляться, водку пить и горевать, чушь лепить и ухмыляться, пьяным к дому ковлять, в той часовне помолиться, с тем полаяться ментом, дёрнуть ночью из больницы с недошитым животом. “Научи меня, Рассея”, рвать кафтан не по плечу, отрывать, не кося, улыбаться палачу, научи меня — неброско, опершись о забор, не бычкуя папироску, твой прослушать приговор. И уйти в сырую темень, за которой синий свет, вместе с теми, вместе с теми без кого России нет.

• • •

Снегом красным притоптанном
На тюремном дворе,
Дымом пустыни Оптиной
И барачным амбре,

Сапогами кирзовыми,
У ларька кутерьмой,
Заводскими засовами,
Городскою тюрьмой

Тянет с берега этого
В проспиртованной мгле —
С на морозе раздетого,
С синяком на скуле,

Где хоть куй, хоть подсвистывай,
Хоть в затылке чеши —
Грезят эками пристани,
Кровью стылой гроши.

В Ярославле заснеженном,
В ледяной Костроме
Жили, словно и не жили
Мы в родной стороне.

Здесь и лечь под колодину,
Тут и сесть под замок.
Ой, ты родина, родина,
Охреть теремок.

• • •

В полуметре под травами правый вместе с неправыми —
под брусникой, морошкой, под таёжной дорожкой,
под асфальтом, брусчаткою, под собачьей площадкою,
под редиской моей, поди, не полил, ах, ты, Господи!
Но под всем нашим прожитым и под всем нашим выпитым
под извечное “Боже ж ты!” с поколением выбитым
в полуметре под травами под поляной с закускою,
под хулою и славою — что-то вечное, русское.

• • •

М.Х.

О чём бы родина ни пела,
Какой бы кривды ни плела,
Каким бы гудом ни гудела,
Какое поило б ни пила,

Каким бы брашном ни рыгала,
Каким заклятьем ни кляла —
Детей снегами укрывала
И мёртвых на руки брала.

Наталья Горбаневская

МАРТОВСКИЕ СТИХИ

• • •

Ищите и обрящете,
иду, клюкою тыкаю,
похрустывают хрящики,
потрескивают, тикают,

как часики. Еще часок,
вон тот еще пройти лесок,
и рощу, и болотце,
как конь или как ящерица, –
всё равно обрящется,
отыщется, найдется...

два стихотворения неизвестно о чем

1.

Это, конечно, ещё
не настоящая осень.
Бродят ищейки, ища
след моих стоптанных ног.

Но уже не горячо,
но уже жарко не очень.
Вскинуть – и выстрел с плеча,
и погребальный венок.

И, загребая плащом
первые палые листья,
четырёхпалым граблям
снова на край наступлю.
И, предпоследним лучом
с вами хотя поделиться,
свой сладкозвучный обман
в чистую правду стоплю.

2.

Нагая истина,
наряженная ложь.
Читай по-быстрому,
а то не разберешь.

А то, атонику
в мелодию введя,
не вхлынешь толику
апрельского дождя.

А то, на атомы
атаку разложив,
встряхнешь кудлатыми
и всхлипнешь, еле жив.

И всхлип откликнется
не тем, не тем, не тем.
И ссылка кликнется,
но где-то, а не там...

• • •

Хоть бы в петлю, хоть бы в рай,
хоть бы в дедовские орды,
не горды мы и не твёрды,
не рабы мы и не лорды,
по старинке помирай.

По старинке помолясь
у порога в путь-дорогу,
в пурги, замяти, мороку,
обмороки, поволоку,
сутолоку, мрак и грязь.

За порогом замерев,
обойму и тьму, и тучи,
хлябей тяжких пар летучий,
где в засаде из созвучий
с агнцем затаился лев.

• • •

Как мало флипперов теперь в Париже,
тем более в кафе и не покуришь,
и шуришься, как недобитый жмурик,
недоостывший, на ступеньку ниже.

Пейзаж, пейзаж – иль вправду пейзаж,
тем больше милый, чем более унылый,
дождливый, как березка над могилой,
и за него чего ты не отдашь?..

**стихотворение,
которое могло бы быть завершающим
в новом цикле восьмистиший
(если бы было восьмистишием)**

Лови, лови его за хвост,
словечко-дезертира,
тащи на дровнях на погост,
в песок сажай, кидай компост,
чтобы росло ретиво,

своею тенью осень
истёршуюся надпись:
откуда, где, в каких сенях
и на виске какой синяк
и дата – только надцать...

Лариса Миллер

СТИХИ: ЯНВАРЬ – МАЙ 2008 г.

• • •

Не под музыку, нет, а под звон тишины
И при свете колеблемой снежной стены
Жизнь идёт и идёт, на ходу истончаясь.
День текущий от прежнего не отличаясь,
Заманил, закружил меня, посеребрил.
Ты когда-то о времени мне говорил.
Говорил мне когда-то, что времени нету,
И, о сроках забыв, я блуждаю по свету,
За кружащимся ангелом белым слежу
И сквозь снежную стену легко прохожу.

• • •

Я правда жила или только помстилось?
Ворона на ветке сырой примостилась.
Уселась и каркает так вдохновенно.
Подумай как жизнь пролетела мгновенно,
Как будто она не была, а казалась
И что я к вороне, скажи, привязалась?
Сидела она, а потом улетела,
А я наблюдать за ней долго хотела.

• • •

А он в один прекрасный миг
Почти из воздуха возник —
Тот снимок, где кусочек сада,
Скамейка, лютики, ограда.
В саду ребёнок лет пяти.

Теперь попробуй, улети
Мгновенье канувшего лета
С игрой его теней и света.

• • •

Из всех картин люблю одно
Неначатое полотно,
Не сотворённое покуда
А лишь замысленное чудо.
И не пейзаж, и не портрет,
А лишь готовый вспыхнуть свет.
Не штрих, не контур — озаренье,
Душевный жар, канун творенья.

• • •

Когда идёт счастливый снег,
Останови свой вечный бег.
Пусть белый снег тебя коснётся.
Никто, конечно, не спасётся,
Но станет всё-таки светлей
И хоть немного веселей
Жить в детском ожиданье чуда
И даже уходить отсюда.

• • •

Погоди, я с тобой, я с тобой.
Даже если ведут на убой,
Даже если там морок и плаха.
Я не ведаю большего страха,
Чем вдруг выпустить руку твою
И остаться навеки в раю.

• • •

А мне-то казалось, что я навсегда,
И люди для счастья приходят сюда,
Для счастья, для праздника и для веселья,
Устраивать свадьбу, справлять новоселье.
А праздников выпало наперечёт,
И ветер лицо мне так больно сечёт
И трудно идти, да и некуда вроде,
И силы и время моё на исходе.

• • •

Ты знаешь адрес мой земной,
И, значит, ты придёшь за мной.
Но я, ей-Богу, не готова,
Ты видишь, у меня обнова.
Она мне, кажется, к лицу,
Нет, не готова я к концу.
Не трогай чёрными крылами,
Займись нездешними делами.

• • •

Мне так плохо с собой.
Можно возле тебя
Посижу, твой помятый рукав теребя?
Занимайся, чем хочешь: работай, звони,
Кушай яблоко, только меня не гони.
Буду тихо сидеть и не буду мешать
И не буду я планов твоих нарушать.

• • •

Я тихонечко лежу,
Я тебе принадлежу.
Мне твой сон сегодня снится,
На щеке моей ресница
Соскользнувшая твоя.
Ровно дышим ты и я.
Сон наш хрупок, но и бденье
Не прочнее сновиденья.

• • •

А может, это всё цветочки,
И надо ждать не мёртвой точки,
А горьких ягод без числа,
Что жизнь, быть может, припасла.
А может, это всё игрушки,
Когда по воробьям из пушки,
Не тропка дальше, не стезя,
А то, что пережить нельзя.

• • •

Картина Борисова Мусатова

Там очи долу, очи долу.
Стремится всё к земле, где голо.
Всё только вниз устремлено,
И небо — в озере оно.
И шаль с плеча течёт, струится,
И жизнь сама к концу стремится.

Михаил Яснов

МЫ ЖИВЁМ В ОБРАТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

• • •

Дудочка, дудочка, дочка трубы,
спой двократным ду-ду,
как мы брели по извивам тропы,
громко смеясь на ходу.

Маленький мальчик дудел и дудел,
но до гуляк молодых
даже у Господа не было дел,
не было дел никаких.

Шел по земле нарастающий гул,
слышимый лишь в небесах,
это за лесом Чернобыль рванул,
ветром и ливнем пропах.

Мы прорывались, нахальные, сквозь
заросли в птичьем пуху.
Сладко нам елось и пьяно пилось,
и голубело вверху.

Маленький мальчик дудел и дудел,
но до рулад золотых
все-таки не было Господу дел,
не было дел никаких.

Отрочество. Весна

Как пробка из ушей, смыт лед из водостоков
и рухнул на асфальт, копытцами зацокав.
Табун морских коньков рассыпался взмахом —
те перешли на рысь, те кинулись в галоп.

Как прошлогодний снег, кот на карнизе дрыхнет,
а солнце в облаках то скроется, то вспыхнет,
и вечный знак весны повис над головой
еще не тронутой веревкой бельевой.

Кто первым вешаться? Ты, майка? Ты, футболка?
На чухлом дворике уже идет прополка:
старухи рвут из рук в святом своем кругу
бутылки, за зиму забытые в снегу.

На первом этаже всю открыты окна
и местный старожил отвисшим брюхом лег на
грязь подоконника и свесился во двор,
разглядывая все, что движется, в упор.

Я коммунальную тоску не заострю ли,
воскликнув, что гремят по-летнему кастрюли?
До лета выпадет еще немало бед,
но что до них, когда вот-вот грядет обед!

Уже соседский хмырь бежит за поллитровкой,
уже в их комнате запахло потасовкой,
уже синюшная красавица, визжа,
спешит укрыться от привычного ножа...
Прекрасная пора! Мячей чередованье
с утра до вечера мелькает за окном.
И все, что прожито, стоит в душе колом
и просится в слова, и требует названья.

• • •

Мы живем в обратной перспективе —
все, что к детству, ярче и острее.
В этой жизни многое красивей,
чем узнали мы из букварей.

Эка хитрость — лечь и не проснуться!
Нет, проснуться — и увидеть, как
с теплой сыроежки, словно с блюдца,
птица пьет, смакуя, натошак!

• • •

Я странный мир увидел наяву —
здесь ничему звучащему не выжить,
здесь если я кого и позову,
то станет звук похожим на канву,
но отзвука по ней уже не вышить.

Здесь если что порой и шелестит,
то струйка дыма вдоль по черепице,
здесь даже птица шепотом свистит,
а ветер листья палые шерстит
беззвучно, будто им все это снится.

Здесь камнем в основании стены
который век не шелохнется время.
Здесь между нами столько тишины,
что до сих пор друг другу не слышны
слова, давно услышанные всеми.

• • •

Снова пахнет разором и кровью,
и у нынешних бед на краю,
как высокое средневековье,
я культурой себя сознаю.

Это значит: готовься к недоле,
репетируй, как варваров ждать.
Да они уже, собственно, в доме:
стулья сдвинуты, смята кровать.

• • •

Как кинолента, порвана судьба —
какие-то ошметки на экране,
а слышимость невнятна и слаба,

скрежещут, заикаются слова
и обнажают плоскости и грани.

Все можно склеить — снова прокрутить
и вид пригожий, и пейзаж прекрасный,
и дальше потянуть живую нить,
и только слов уже не возвратить,
тех самых слов, где клей прошел по гласной.

• • •

Мой бедный пес — на небесах:
пошел искать удачи
туда, где взвесят на весах
его грехи собачьи.

Он в детстве так же убежал —
ушел себе из дома.
Теперь он мертв, а был он мал.
Теперь-то все знакомо.

И он идет себе, идет,
куда судьба поманит,
никто его не украдет,
приваживать не станет.

И нет машин на том пути,
безлюдном почему-то,
а потому легко идти
без цели и маршрута.

Что до иных его грехов,
то кто же не облаян?
Придумал дюжину стихов,
и те сложил хозяин.

Прими его, собачий рай,
со всей его наукой, —
да будет этот честный лай
небесною порукой.

• • •

Вот лезвие ножа, как сгусток водной глади:
в пучине дремлет смерть и назревает тьма.
А буквы плывут, вослед друг другу глядя, —
бессонные пловцы, заложники клейма.

Плыви, мой друг, плыви: я за тобою следом —
в который раз рискнем отчаянно посметь.
И там, где горизонт заведомо неведом,
я вынырну на свет и оглянусь на смерть.

• • •

Ночь была беззвучна и слепа,
а с утра — нежданная отрада:
пальый пятипалый Петипа
закружил по сцене листопада.

Старый театрал и пилигрим,
я от этих танцев ошалею
и с охапкой пышных балерин
забреду в укромную аллею.

А когда погаснет в зале свет,
тихо сяду с краюшку, в партере,
досмотреть невиданный балет
на такой неслыханной премьере.

Валерий Черешня

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

• • •

Ворона — фурия на ветке
вопит, вытягивая горло,
что мир не сшит по птичьей мерке,
что горько

давиться мёрзлым комом хлеба,
сквозь годы продираться больно,
что ей отпущено лишь неба
довольно.

Смирись, ославленная птица,
тебе воображенья б малость —
не обманула бы лисица.
Осталась

истерика — замена пьянства
и неуменья горько плакать.
Вокруг унылое пространство
да слякоть.

Отталкивайся-ка от ветки,
далась тебе прореха-крона,
вверху ни хитрости, ни клетки:
лети, ворона!

• • •

Ветер смерти унёс шелуху слов,
выдул внутри пазуху пустоты,
а меня, нырнувшего в прорубь снов,
даже там редко навещаешь ты.

Да и что там делать в этом моём сне:
ну, обнимешь, ну, пару знакомых фраз
пробормочешь, и то непонятно — мне
или так, никому — и молчанье обстанет враз.

Хуже нет твоего молчания, хуже нет.
Ты не хочешь множить монблан чепухи
или так громадно молчит тот свет,
что словесной в нем не сыскать трухи?

Как же мне в молчании теперь в твои
бестелесные дали и голые стертые дни?
То ли новый отбойный язык придумать, слою
небытия сбивающий, то ли

пробурить картинку, манившую глаз,
и внедриться в родные отныне тебе пласты.
Но закрыт живущему этот лаз,
сколько б он ни пытался мараť листы,

воссоздать пытаясь любимый тобою скрип
авторучки или буковок-клавиш стук,
лишь теперь понимая, как безнадежно влип
(помнишь, шли под карнизом корявых лип?)
в эту видимость, в слово и просто в звук.

Диагноз 2007

Язык изношен, как башмак на свалке,
с былых богатств и нищета видней.
Убогий ум необходимость палки
выводит из отеческих корней.

Опять ему, убогому, неимётся
кровавой баней соблазнять убийц,
угрозу прозревать от инородца,
трястись над нерушимостью границ.

Вновь стало тесно, душно, патриотно,
зашевелилось чудище в золе.

Благим намереньям опять вольготно
плодить насильников измученной земле.

И вновь равнинным, плоскодонным лицам,
не ведающим мысли и вины,
своим отечеством позволено гордиться,
свивая плоть для собственной спины.

Алексей Макушинский

СВЕТ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Попугай

У Гумбольдта описан попугай,
в Америке, конечно — в Южной, в джунглях
таящийся и помнящий слова
на языке племен, давно погибших.
И значит — что же? Значит — все прошло,
прошли вожди и воины, цари
и царства, боги умерли, лежат
в развалинах их брошенные храмы,
легенды и преданья позабыты,
героев нет, красавицы истлели
в земле, навек рассыпались их бусы.
И только попка, старый и большой,
в зеленых перьях, с наглым желтым клювом,
все помнит, и слова на языке
исчезнувшем звучат в нем ясно, гулко,
как, вот сейчас, по улице шаги,
в осеннем мраке. Вдруг взлетает он,
и медленно, все выше, поднимаясь,
от ветки к ветке, где-нибудь на самой
вершине леса, тяжело садится.
Здесь все иначе, время здесь неважно.
Былое и грядущее под ним
вздываются могучими волнами.
Лазурь небес прозрачна и легка.
Слова его разносятся над миром
торжественной, таинственной вестью,
немой для копошащихся внизу,
и все же внятной им, как весть шагов,
по улице все дальше уходящих.

Перекресток

Порядок движенья, прямо или направо — на зеленый свет, но те, что хотят налево, пропускают встречные машины. Затем загорается стрелка, не успевшие повернуть поворачивают, намечается тот пунктир, которым, в школе вождения, прочерчивают дугу поворота. Затем все то же, но из другой улицы, пересекающей с первой. Порядок, вообще, успокаивает. Окно разрезано белой рамой. Перекресток и крестовина. Белая церковь за белой стеной пожарной части, дальше, справа — дома. Дома построены явно после войны, но сразу после, то есть, в общем, бараки, бледно-болотные или бледно-розовые. В одном — магазин электрических и электронных товаров, компьютеры, вентиляторы, пылесосы. Пешеходов нет. На автобусной остановке, женская согнутая спина. Безлиственные деревья, тени их на асфальте. Порядок теней успокаивает, разумеется, тоже. Светофоры переключаются, машины без водителей и пассажиров, но каждая со своей тенью, едут и тормозят, повторяя одну и ту же схему, направо, прямо, налево. Что за этой картиной? Быть может, тот, кто смотрит, смертельно болен, или несчастен без всякого повода? Мы никогда не узнаем. Мы видим лишь перекресток, разрезанный белой рамой, и бездонное злое небо.

Мюнхенский дневник

• • •

Представь себе, как это было впервые.
Конечно, все было не так, но представь
себе, что кто-то однажды дал
дням числа, как бы их имена. Какой вдруг
восторг охватил его, он вскочил,
наверное, на ноги, в своем Вавилоне или
в своем Египте. Он сказал себе: пусть
дни проходят, но числа ведь остаются,
и значит все не так уж и безнадежно.
Приветствую тебя, мой давний брат,
не победивший время, но крепость все же,
но все ж фортецию поставивший ему.
Ты так в ней и сидишь, счисляя звезды,
сидишь, сейчас, в давно прошедшем дне,
укрытый в нем какой-то цифрой, нам
неведомой, как я укрыт двадцатым февраля
две тысячи восьмого года (ветер, ветки).

• • •

Здесь, в книжной лавке, где я перелистываю
посмертный дневник Эудженио Монтале
(прообраз моего, прижизненного? нет, разве
отчасти), здесь было бы тихо, если бы
под окнами, в оранжевых фуфайках, рабочие
не клали асфальт. Ужасен их труд и жребий.
Ужасен шум их жизни, такой далекий
от тишины этих слов на белой большой странице.

• • •

История не закончилась, но смысл ее погиб.
Он бился в судорогах на цементном полу,
он закрывал руками затылок. Затем, когда мы

вышли на улицу, там оказалось солнце,
лазурь и ветер, и мифология облаков,
и чудные желтые листья, летящие по бульвару,
и даже намек на счастье, за краем жизни.

• • •

Из окон поезда видишь молчащий мир,
видишь молчанье полей, молчанье
леса на горизонте, клубящееся свечение
неба, два дерева, замершие под ним.
Природа есть одиночество. Нет, вернуться
скорее в город, выйти на главную улицу,
на Мариенплац, на Максимилианштрассе,
туда, где, по крайней мере, ответ возможен.

• • •

Бессонница оставляет тебя умирать
от жажды, не у ручья, скорее на берегу
очень соленого, мертвого, в общем, моря.
Ты бы и бросился в воду, заснул бы, если б
мог напиться, но напиться нечем. Песок
польхает на солнце, в дрожанье зноя
жизнь проплывает бездарной фатаморганой.

• • •

В их лицах все уже есть, вся скука
их грядущей жизни, хотя еще ни
одной морщинки. О чем-то они толкуют,
толкаясь в автобусе... Грехопадение
было, должно быть, таким громадным,
что даже звезды на небе содрогнулись.

• • •

И когда мы лежим обнявшись,
мир кажется вынесенным за скобки
наших тел. Вот так же нет его на странице,
исписанной прозой или стихами. Белые
поля отделяют нас вдруг от мира, сонный
Элизий, облачные пространства,
где следы наших мягких шагов, незримые, остаются.

• • •

Ты научила меня чему-то, чему названья
я не знаю. А жизнь ведь и вообще состоит
из безымянных вещей,
из поворотов души, за которыми
открываются, как в парке, тропинки или пруды
с ротондой на берегу. Вот туда-то,
сквозь солнечную рябь, и пошли мы.

• • •

Голоса в трамвае охватывают меня.
Один из тех дней, когда я не знаю, что мне
делать с моей свободой. В окнах
проплывающих мимо домов проплывают
другие дома, их крыши, фронтоны, трубы,
их мертвые окна, лишённые отражений.

• • •

Парк, в самом деле, есть перевод души
на язык деревьев, прудов, тропинок,
и этих гнутых мостиков, где, склоняясь,
мы видим среди перевернутых
ветел и в облачном свеченье свою же

изумленную голову. Щепки, веточки,
листки плывут сквозь нее, как дни
сквозь то неизменное, что мы зовем собою.

Свет за деревьями

The bed, the books, the chair, the moving nuns...
Wallace Stevens

Но каждый день был каким-то и каждая
ночь какой-то, бессонной, безлунной,
и сиделки совсем не сидят, но подходят, уходят,
и склоненные лица выступают из сумрака, склянки
блестят на столике, собирая остатки света,

переходящего в тот же сумрак, но каждый
день был, конечно, каким-то, счастливым, ненужным
или зимним, и никто никогда их не вспомнит,
не сочтет их, и стараться не стоит, но все-таки
они были, все они, с их туманом, их мокрыми ветками,

их листьями в лужах, их теплом в рукавице,
их течением, их стеканием к вечеру, ожиданием
чего-нибудь, телефонного звонка, телефоном
у зеркала, и зеркалом в ванной, ни в том, ни
в другом, ни в каком ничего уже больше не видно,

и неважно что больше не видно, но видно
далеко и все дальше, в глубь улиц, где кто-то
еще идет и уходит, всегда уходит, все дальше
от этой комнаты, койки, этих склянок на столике,
этих звуков за стеной в коридоре, шагов, уходящих

по коридору все дальше, по улицам с их облаками
и крышами, с их мокрыми крышами, их круженьем
птиц над мокрыми крышами, с голубями и галками
в парке, расхождением дорожек, тропинок, и все это
было, и звуки гаснут, и боль остается, и были,

конечно, станции, станции, их названья, никто их
уже не вспомнит, безмянные станции, до
которых уже не добраться, а как хотелось бы, не

дойти по снегу, не доехать на поезде, поезда,
конечно, все-таки, были, товарные, темные, надписи

мелом на стенах, уже не прочесть их, сиделки
никогда не сидят, все уходят, все дальше,
и военные поезда, эшелоны, и красные, острые
стрелы, как больно, и слова уезжают на стенах,
слов не слышно, уже не расслышать, но каждое

было, было сказано кем-то и значило что-то,
и каждое утро было добрым, недобрым,
дождливым, и собака была с перевязанной
лапой, и сиамская кошка, когти, царапины, царский
подарок, и всегдашнее ожиданье чего-нибудь,

телефонного звонка, телефон был в прихожей
у зеркала, и зеркало было в ванной, страшнее
когда не ждешь ничего, когда нечего, все
так тихо, так неслышно подходят, как кошки,
эти сестры, сестры, эти братья и сестры, сестрицы,

не сердитесь, поезда все же были, военные,
были мирные эшелоны, товарные, никуда, ниоткуда,
все молчит, все смолкает, все безмолвно, как мел,
как надпись мелом, как мел на дне чайника,
чай был горький, был сладкий, был сахар,

было счастье, оно все-таки было, так много
было счастья, как сахара в чае, да что ты,
столько сахара, разве можно так много, не так,
все всегда было, в общем, не так, были склянки,
были склянки, стеклянки, стаканки, и слов не

расслышать, все смолкает как мел, все молчит,
как мыло, замело, заметало, неважно, но видно
далеко по-прежнему, далеко и все дальше,
и город, в который всю жизнь так хотелось
поехать, поднимает свои башни над склянками,

свое темно-синее небо над склянками, свои башни
на темно-синем небе, вот они, все-таки,
и ветки на небе, и конечно же свет за деревьями,
этот свет за деревьями, вечером, в сумерках,
по дороге куда-нибудь, он был, были станции,

были названия станций, были ржавые буквы
и треснувший асфальт на платформе, был ветер,
был шарф, я люблю тебя, я тоже, был царский,
пускай царапины, но царский подарок, как жалко,
что дарить уже некому, прощать уже некого, все

ушли, все уходят, все дальше, все яснее от этой
койки, комнаты, и звонка не дождешься, дожждаться
звонка бы, телефонного, неважно какого, все тихо,
все тише, все становится крошечным на краю
зренья, в глубине этих улиц, но каждый, конечно,

день был все же каким-то, бесконечным был каждый,
и все это длится, длится, никогда не кончается,
и башни над склянками, и военные эшелоны, любить
так просто, и листья в лужах, и станции, и слова,
и свет, и свет, и конечно же свет за деревьями.

Владимир Гандельсман

БИО

(Два года назад меня пригласили поучаствовать в одном проекте – сколько-то литераторов должны были рассказать свою автобиографию (на диктофон интервьюера), – из этих рассказов предполагалось сделать книжку. Не доверяя своим импровизаторским возможностям, я заранее всё изложил на бумаге. Этот текст не подошёл, а судьба того, что было позже записано на диктофон, мне неизвестна. Вероятно, проект не осуществился. Предлагая БИО журналу “Стороны света”, я понимаю, что биографические данные автора, его родителей и друзей читателю ни к чему, но менять ничего не хочу – в конце концов, эти данные занимают всего пять-шесть строчек).

Автобиография, если она кем-то востребована, предполагает значительность: я родился и кем-то стал... – но если её начать единственно точными словами: “Я родился за несколько десятков лет до своей смерти...”, – то понятно, почему нет никакой возможности кем-то быть. Не остаётся времени: ни на хотение нарядиться в инженера, например, или в поэта, ни на пребывание в наряженном виде: кто-то.

Настоящая биография – это история не пребываний, но отсутствий, главное из которых: безусловно истинное отсутствие (БИО), – впереди. БИО обсуждению не поддаётся, но из прикосновений к нему и сопутствующих состояний складывается биография.

Эти состояния – вспышки, которые освещают всё, что рядом: остальную жизнь. Они – обрывы сердца, огромные обвалы немения, безыскусного и безысходного сиюминутного горя, но в будущем воспоминании, возможно, счастливого горя. “Время – это движение горя”.

Мы находимся в обратном натяжении к небытию. И чем преданней, тем чище. Чистота пребывания – это результат вычитания центростремительного вектора из центробежного, вектора к небытию из вектора к жизни, и чем меньше разность, тем точнее результат. В обычном случае результатом взаимодействия двух сил – вовнутрь и вовне – является криволинейное движение.

(12 ноября 1948 года – 1964 год. Ленинград. Родители: Аркадий Мануилович Гандельсман и Рива Давыдовна Гайцхоки. Старшие сестры: Инна и Роза. Детский сад – школа)

Болезнь в младенчестве – первое пробуждение этого обратного натяжения. Тебя не отпускают в жизнь. Но тем самым и побуждают к ней.

Ты лежишь и, глядя в потолок, видишь точку пустоты. Вот головокружительный опыт. Может ли такое быть: точка пустоты? Может, и это очень большая тоска. Похоже на вертящуюся пластинку: серое вращение плоскости с точкой в центре. Беспричинный страх, как всё беспричинное, свидетельство подлинное. Без примеси психологии и всего разумного. И эту пластинку заест: одна и та же музыкальная фраза будет возвращаться всю жизнь.

Другое состояние – любовь. Ты как средоточие любви. Покоящийся словно бы в колыбели родительского взгляда. Забавно говоря: в люльках глаз. И любовь к родителям. Вернее сказать, любовь, “предметом” которой стали родители. Как первые, попавшиеся на пути от БИО-1 (до-бытие) к БИО-2 (после-бытие)... Все эти долгие объяснения оттого, что речь скорее всего идет не о состоянии людей, а о свойстве пространства жизни, ими затепленного и хранимого.

Мать поёт колыбельную: “Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни...”, или сидит за швейной машинкой “Зингер” и слюнявит нитку, или входит отец со сбритой полосой на обмыленной щеке, – очень необыкновенно.

Всё, что предьявляется, предьявляется когда-то впервые, и родители создают любовную повторяемость событий, тем самым невольно оберегая нас от непрерывно и непривычно яркой новости. Но яркость прорывается, поэтому ребёнок так часто плачет. Режет глаза.

Из этого непреднамеренного горя вырастает неотступное ожидание родителей, их прихода домой с работы. И страх, что не придут. Что умрут. Страх и жалость.

Как возникает понимание БИО? Когда? Из этих ожиданий? БИО как невозвращение никогда домой?

В первом классе умирает мальчик: он сидел на первой парте, фамилия Симаков, – потом ты слышишь, что умер от желтухи. Это значит, что он никогда в класс не войдёт и на своё место не сядет,

а ты не увидишь его стриженный затылок и уши поперечным торчком. Просто исчезновение. Фокус переселения Симакова в твою память, которая через пятьдесят лет его легко воскрешает, потому что никогда не забывала.

Другой, тоже главный вопрос: когда ребёнок видит себя в зеркале, впервые понимая, что это он? Взгляд на себя со стороны и возникновение образа себя. С этой точки могло бы начинаться изгнание из детского рая, но не помню и не встречал никого, кто бы помнил.

БИО выстукивает свой ритм, все более сложный. От безразличного тебе исчезновения (его навсегда-запечатленность происходит от нового, неизвестного до сего момента сбоя заведённого порядка: не войдёт и на своё место не сядет...) — к очень не безразличному, потому что в пятом классе умрёт девочка, в которую ты влюблён. А двенадцатилетний человек уже знает, что в таких случаях следует переживать, даже страдать, хотя для страдания у него ещё нет взрослого эгоизма. Он будет пытаться присвоить это БИО себе, чтобы из подражания старшим стать значительней. Вектор жизни побеждает, устремляясь на ложные пути.

И дальше, и дальше, всё сложнее, но с неизменной победой вектора жизни.

Пьер “не видит” смерти Каратаева, — это спасительная сила “перемещения внимания” и уклонение в сторону выживания. (Правда, по воле Толстого, в случае Пьера — это совсем не ложный путь, наоборот: обретение Бога, Который везде... Думаю, что у Толстого иногда получалось не то, что он хотел...)

Расширение географии обитания забрасывает ребёнка в “чужое”. На мгновение, на два, на всё дольше и дальше от дома. Это вроде захода в море: ополаскиваясь, постепенно привыкая к воде, опасно окунаясь... — прежде, чем осваиваешься и плывёшь. Первая попытка провальна: слишком изнеженный и заласканный ребенок сбегает домой из детского сада в первый же день, во время прогулки, — благо детский сад в соседней парадной. Но послеобеденный “мёртвый час” на казённой постели, запах кухни и линолеума навсегда отбивают охоту (которой, впрочем, и не было) к подобным приключениям. Раннее утро следующего дня отстаивает в слезах своё право на неприкосновенность и сон.

Школа — решающий “заброс”, из которого не выбраться. Учительница пишет жалобу-записку (о плохом поведении ребен-

ка) и просит передать родителям.

7-летний сын не знает, что должен вернуть этот документ с подписью, он ещё не умеет читать “по-письменному”, и рвёт бумажку на мелкие клочки за гаражами. Назавтра он поднимет за партой и уличен во лжи: где записка? Это абсолютно космическое событие: ты сгораешь дотла, по ходу дела прикасаясь крылом к БИО.

И следом — множество подобных событий, благодаря униженной изворотливости — все менее космических, всё более приземленных.

На другой чаше весов — дом, а значит любовь и совершенство. Все праздники, все каникулы, все выходные.

(1964 — 1975. Ленинград. Друзья: Лев Айзенштат (лит. псевдоним Лев Дановский) и Валерий Черешня. Сын Артём (1971). Школа — электротехнический вуз — конструкторское бюро)

Исключительность существования сдается на милость посредственности.

Социальный инстинкт самосохранения. Повиновение, преобладающее отвращение к учебе-работе из жалости к родителям, из трусости быть не как все и от общей незрелости существа. Энергия, которой нечего сказать, и тщеславие, которое нечем утолить. По выражению Толстого: “путаница требований жизни”.

Если бы ноль мог ощутить свою пустоту и ужаснуться, то я бы назвал повторяющееся состояние этого времени сквозным ужасом нуля (все, что умеет этот ужас, — поменять в слове “ноль” “о” на “у”). Что-то выдувает душу внутрь себя и — на холостом ходу — вон из жизни.

На чердаке завода, где проходит производственная практика школьников, мастер рассказывает о допусках и посадках. Тёмное зимнее ленинградское утро. И в этом сонном, пахнущем металлом цианистом царстве звучат, например, слова: “Завод выполняет план...” Что это значит?

Человек может вынести всё, кроме осознания бессмысленности своей жизни.

В худшем и наиболее частом случае ему необходим успех, то есть — ощущение своего превосходства над другими: нравственного или материального, не важно. Как подтверждение осмысленности.

В лучшем случае ему необходимо переживание внутреннего роста, он должен время от времени восклицать: “Я всё понял!” или “Что-то мне приоткрылось!” — без претензий на внешнее проявление своего совершенства, но зато, быть может, с ещё большей гордыней.

И первый, и второй — случаи “игровые”, не настоящие. Оба имеют в виду победоносную содержательность, которая, находясь во встречном движении к бессмыслице, противопоставляет себя ей, в то время как тонущий человек, спасаясь и обретая под ногами дно, движется именно ко дну.

Вообще осознание бессмысленности должно стать настолько глубоким, чтобы перестать быть “осознанием”.

Если бы жизнь была тем, что человек о ней думает, она была бы невозможна.

Жизнь живётся, а с окончательно разумной точки зрения — незачем ей житься.

Стоит заодно добавить, что и поэзия — опровержение тщеты, потому что идёт против предвечных законов природы: против энтропии.

Потому жизнь (и поэзия, в частности) — акт веры.

Один художник после многих лет работы сказал: “Наконец-то я научился рисовать”. Другой написал о том, как он рисует дерево: не только с натуры и на холсте, но и в воображении. Дерево продолжает в нём свою работу всегда.

Первый в одном предложении поведал о своём рождении: он лишился “образа себя”, чтобы стать собой. Второй сказал о том, что возобновление состояния “быть собой” никогда не прекращается. Это не игра: написал — забыл..

И дело не в стихах-живописи, можно ничего “рукотворного” не создавать, — дело в творчестве жизни, в “собирации себя”, — не для обретения тяжёлых и неподвижных строительных смыслов, но для спасения внутреннего человека — “...и тогда такой человек восхищен и находится без сознания, ибо его цель — безумный и все же имеющий смысл или образ или, другими словами, — нечто разумное без образа.” (Экхарт). Короче говоря: “Как будто я повис на собственных ресницах...”

Попытки понимания этих вещей совпали с уходом из конструкторского бюро в угольную котельную на наб. Мартынова, 3б.

“Посвящение”, приведенное ниже и написанное в 1975 году,

надо понимать как инициацию: посвящение во что-то (а не кому-то). В нём вторично обретается (или заново рождается) то, чему случилось быть главными точками биографии. Оно длится по сей день, и это моя глава в книге, которая называется "В поисках утраченного времени".

(1975 – to the present. Ленинград, с 90-х – Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Жена Алла, дочь Мария (1978). Кочегарка, позже – среди прочего – преподавание русского языка. Смерти: отец (1991), мать (1998), Лев Дановский (2004)

Посвящение

Сон о пластинке, пастила, душа плаксива, осипла, полночь у стола её скосила.

Сон о пластинке по челу. Болезнь желанна. На чердаки свои лечу, в свои чуланы.

Там абажур, истлевший в прах, и лампа-филин, и чахнет детский хлам в чехлах, и я всесилен.

Часы, туманность Андромеды, слова, как мозг, воспалены, компрессы снега, нега, сны, ангина, привкус мёда.

Рука папы просунута под одеяло – мгновенная прохлада, тут же обнятая жаром.

Она давняя, знаю её очень давно.

Вертишься около, вокруг руки, пятка достигает холодноватой воли.

Рука, как прилипший кленовый лист, распластана между ключицами.

Устал, шурюсь на малиновое, теперь без движения, только играю с малиновым, шурясь.

Тело расслаблено, и я успокаиваюсь, и снегом засыпаемый тихо засыпаю паинька паинька баюшки баю

Но уже с настоящим снегом.

Рука мамы не такая тёплая, потому что на улице.

Она бела, пахнет глицерином, молода.

Знаю, что меня ждёт. Урок музыки и – после.

И вот ступаешь по снегу, держась за руку.

Ступая, наслаждаешься податливостью его, под ногой он не рассыпается, а упруго уступает. Коротко мурлычет. Он обязательно идёт, снег, и – вечером.

Всё это происходит в пятницу, и не идёт, а с неба пятится.

Снежинки-воздушные гимнасты заклёстнуты ритмом улицы и, свиваясь, взмывают вверх.

За одной из них слежу и загадываю, что успею доследить её падение, успею, не замедляя шага, и если успею, то что-то случится, а что — не придумать.

Она резко оставляет меня слева, оглядываюсь и так иду, хватаясь за руку всё сильнее. И пока фон стены тёмн, всё со мной и со мной, и вдруг тонет в белом рукоплескании витрины.

Теперь вдоль железной ограды, за которой сад.

Он в редком огне.

Ограда, ограда, пытаюсь свободной рукой вести по каждому пруту, но рука отстаёт, мёрзнет. В карман.

И тут — стена, сплошная стена дома, ни окна, и её расщепляет, как трещина, дерево.

Скоро уже, скоро.

Волнуясь, ты передаешь руке, которую сжал, всю тревогу.

Уже пахнет кислыми кошками и серые под ногами пятна. Серые с белым.

Теперь два шага, три — ровных, и в затылок сбегаются мурашки с предплечий и со спины.

Тёмные, красные, полированные, красные, тёмные пятна.

Под подбородком щекотный шнурок.

Невыводимый запах нафталина.

Белый слон, белый слон, он напрасен, белый слон.

Белый слон расплывается, и мёртвая танцовщица поплыла вместе с полкой.

И ты подступаешь к чёрному роялю, и не выплакаться и не успокоиться, до самой своей улицы, до запаха бубликов с маком, только выпеченных, на снегу запаха

Весной — объятный воздух.

Вдох и взмах.

Весной, в тщательном матросском костюмчике, отмытый, в белых гольфах.

Весной, в мае, в ожидании лакомой прогулки.

Весной дышишь так, что жизнь нескончаема, — столь светло и в таком начале она.

Весной, в саду, тёплом от запаха верб, в трепетном саду.

В тебе, как в стеклянном колодце, колеблется синева неба, и грудь дрожит, как мембрана.

И вот ты выступаешь под окнами, за которыми начинается воскресная кухонная возня.

По кромке тротуара. Независимо. Чтоб никто не догадался. Искоса.

И совсем уж искоса — вниз: не наступая на стыки поребрика.

Из глубины гостиной пыль была, как золото распила, плыло пространство, тихо было, мультипликационно пил ленивый кот-домохозяин, и, обалдев, под потолком зудела муха, и в таком млении были стрекозиные стрелки ходиков, — крылья мельницы, разморённые зноем.

Запах щей. Щи в обмороке.

Был день похож на решето, в муке и фартуке прислуги, ни то, ни это, ни про что, на тонком уровне разлуки.

Дрожал на кухне блеклый куб, дышали жабры, коридора темнел в дверях тяжёлый круп, перебирала бусы ссора.

Не зная, чем себя занять, дыханье высылось и никло, и сквозь рассеянность в глаза текли какие-нибудь иглы.

Варилось в собственном соку весь день неясное волнение, как будто тень без утоленья тянуло время по песку.

Послешкольные в чернильных пятнах руки.

Летний и скучный день похож на жаркую зевоту собаки. Полдень.

Чуть позже приедет поливочная машина, и я побегу перед ней, немного радуясь.

Она расчешет, выпустив прозрачные когти, свалывшуюся траву и уедет.

А я останусь.

Останусь я, сорву шиповник.

Просыпая белые зёрнышки его, двинусь в путь долгий и утомимый.

Ни мысли в нём, и в жёлтой слепоте, венки из одуванчиков сплетая, в саду сонливым ангелом плутая, как отраженье в мраморной плите

К босым ступням просёлочной дороги прилив, прилавок груш, неизреченность как будто свежескошенной реки.

Ни осады осиною, спят шмели в джемперах, и дрожит над розинкой летних сумерек прах.

Мир так тих и просторен, что в его тишине слышно маковых зёрен созревание во сне.

Щёлкнут ставни затвором, и окно, отворясь, задохнётся простором —

и проникнет, как будто просветлясь на лету, утончённое утро

в июньском цвету,
и ещё не обнимет, но, скользнув по лицу, как капустаница,
снимет с век дрожащих пыльцу.

И вот прилив песка к босым ступням, как если бы пролился шёлк из складок ночной земли, жасмин, прохладно-сладок, то шевельнётся здесь листвою, то там. Вдоль полотна, вся в блёстках слюдяных, дорога, и лапта босого солнца, и день, разгораясь, уже несётся, и вдруг — река из лилий ледяных.

А в полдень тины сонный серпантин, мостки, полузатопленные ленью, и ход реки по-щучьему веленью так неприметен и не обратим.

Под вечер стада хмурое упорство, разматывают головы коро-вы вдоль улочки из ревеня и рёва и еле разбредаются. Всё просто.

Расслабленный, ссылающийся словно на завтра — молока парного запах, округлый и сплошной, на тёплых лапах, и плавно оседающий на брёвна.

Не торопиться. К шапочным разборам не поздно никогда. Не торопиться. Пока весь мир един и не дробится и миг не разворован разговором.

Дверь нашарь за Черниговом, спичкой чиркни, там начнётся твоё посвященье, где вокзальный плевррит, кочегары черны, вороватая глушь и свеченье

белотельх, теряющих контуры хат, где летучие ветхие мыши на рассвете крушение крыл обратят в паутину под крышей,

дверь нашарь за далёким дыханьем степей, в этой чёрной норе разгребая жар золы, этот воздух, который темней с каждым часом, где, перебивая

тяжкий ритм шатуна, — белострочье реки — отголоском любви и свободы — среди груды горячих углей, кочерги, привокзальной тоски небосвода,

отвори эту дверь, ты за ней родился, будь так добр или нежен, не знаю, что-то сделай, не знаю, так больше нельзя, говори, говори.

1975

P. S.

Детство — это платоновские идеи, — суть вещей в их чистоте, — к этой сути мы возвращаемся, встречаясь с вещами в их “грязном” виде в своей взрослости.

И если у нас есть совесть, то взрослая жизнь, понимаемая как успех, удаваться не может. Потому что отвлечься от подлинности не только невозможно, но и недальновидно. С чем же оставаться, если не с безусловным?

Другими словами, взрослость удаётся в той мере, в какой ей удаётся забыть жизнь или — что то же самое — забыть смерть. Такое забывание — гарантия прожиточного успеха. Или карьеры. Речь не о служебной лестнице, но об общей упитанности и сытой затуманенности взгляда. Тело заплывчиво, память забывчива.

P. P. S.

При каждом шаге вперёд за мной смыкается прошлое, но художественному оформлению (творчеству собирания себя) подвластно лишь время, которое не только смыкается, но и кристаллизуется, и его отделяет от сию секунду сомкнувшегося полоса “сырого”, неосвоенного материала, того, до которого ещё доходит тепло моего существования, физически чересчур ему близкого.

Конец творчества произойдет тогда, когда скорость кристаллизации превысит мою. Естественно, для этого моё тепло должно свестись к нулю.

Тогда биография закончится и начнется БИО.

2006

Олег Вулф

О СЛОВАХ

Вышло так, что слова я осознал прежде того, что понимают под их значением.

Некоторые из них к тому времени успели показать себя отъявленными негодьями, иные напоминали собственную тень, высокопарность третьих ложилась на язык, наподобие считалки, четвёртые громогласно объявляли о своём выходе, пятые были зимними, шестые же ходили настоящими отторвами и торжественно сплёвывали через цыкалку в зубе. А всякая «рваная рана» была составом из двух передёргивающихся вагонов.

Мир был наполнен ими, робкими и надменными, толстыми и надтреснутыми, вертлявыми и неуклюжими. Они держали ритм, обладали вторым темпом и третьим дыханием, напяливали старую шляпу, вышивали на пяльцах и ничего не понимали в навязанных им смыслах, а вернее – в том их тоскливом полууголовном кодексе, которого несчастное должно было придерживаться в повседневной жизни – в работе, на улице, в трамвае и магазине.

Смысл загонял своё подневольное слово на самые пятые задворки третьей сигнальной системы где, волоча его за руку, угрюмо разжёвывал очевидное: этого нельзя, а это можно. Такая ситуация у них несколько затянулась, и некоторые истинные, интимные значения тех или иных слов приоткрылись мне уже в довольно зрелом возрасте. К примеру, «пусть расцветает тысяча цветов» вдруг открылось мне своей восхитительной изнанкой и понимается теперь не иначе, как «пусть падают сто волос», поскольку Лао Цзы всегда изображался смертельно лысым, как и положено китайскому мудрецу, а цветов повсюду и без него довольно.

Однако в то время, когда слово само могло быть лысым, трёхстворчатым или внешним, а то, что обычно называют его смыслом в миру – не более, чем приведением этого слова в исполнение, вряд ли я взялся размышлять о творчестве хороших писателей как о некоей дамбе, насыпанной, наподобие голландских плотин, несколькими поколениями, дабы оберечь цветущую, плодородную область от безумия стихий и массовости вырождения, разделить крым и рым, рай и край. Грозно шамкая, понимаю я, что человек стареет по мере того, как худеют его слова, как они обнажают миру свой жёсткий каркас, становятся полуслепыми и негнибаемыми, а их кости зарастают чешуёй, гарью, горем, быльём и извёсткой. Но, пока я подростком шатался по заросшим словами переулкам родного города, этим словам не нужен был садовник, хозяин, врач

или писатель, литература была им вредна, а истинный творец обязан был, сняв шляпу и рассыпаясь в извинениях, протискиваться между ними в надежде не задеть, не замарать и не испортить. Талантом являлся не писатель, не художник, а весь мир, малую часть которого художник мог с благоговением оболванить, как старуха-мать красавицу вечерним макияжем.

С возрастом я растерял свой хаос легкомысленной любознательности, и моя способность обживать словами, а вернее – тем самым словом, которое было вначале, и которое поныне разлито в человеческой речи, притупилась, уступив место узкому кругу скрипучих знаний, который я и пытаюсь сейчас выразить.

У НАС В БЕНСОНХЁРСТЕ

У нас в Бенсонхерсте беседуют оглушительными квартетами. Потому, что говорить особенно не о чем. Если, конечно, не считать старого доброго «what's up, mathtafka». Да и незачем, поскольку все и так знают. Да и не смешно. Смешное вызывает острую неловкость, и тогда меняют тему, чтобы прикрыть наготу.

За разговором приседают и выпрямляются, плавно помавая руками и медленно приподнимая ногу, согнув ее предварительно в колене, как это принято среди последователей у-шу, или добрых людей у нас в Бруклине, желавших скрыть неловкость паузы. Пауз быть не должно. Пауза – показатель общей слабости. Жизнь обязана состоять и состоит в движении. Когда движение принадлежит народу, тогда нет и не может быть народных движений.

Один ночной сторож пришел наниматься ночным сторожем в охранное бюро, призванное защищать собственность от народных движений. Поскольку сторож – не специальность, а ее отсутствие, там его прямо спросили, кто он по специальности и чем занимается в миру. Сторож отвечал, что по профессии он поэт. Лучше бы он этого не говорил. Его слова вызвали паузу и замешательство, и всем захотелось сменить тему.

Поэт в охранном агенстве – что-то вроде священника за прилавком или генерала в трусах. Каждый должен занимать свое место, учил Конфуций. Иначе люди будут выброшены из биографий, как шары из луз, по определению Мандельштама. Грязь, как удачно выразился кто-то из великих поляков, есть материя в неподобающем месте.

Поэтому все в агенстве были смущены и неприятно удивлены

происходящим. Словно им неожиданно в приличном обществе напомнили об их потаенных мечтах и видениях, собственных ранних опытах и тех временах, когда жизнь была похожей на очень красивую женщину. Ведь даже над Бенсонхерстом всегда есть луна и небо.

«Ну что ж, хорошо» – сказали моему другу в охранном агентстве, – «пусть армия по-прежнему является причиной поражения в войне, государство – народных страданий, врачи – болезней, охранники – воровства, пожарные – пожаров, полиция – дорожно-транспортных происшествий, а внутренний мир – причиной грубой и бессодержательной речи. Но все это пустяки в сравнении с клаустрофобией повседневности, в ужасе избегающей пауз. Хорошая поэзия появляется не оттого, что революция, тоталитаризм или война, а потому что люди начинают носить форменную одежду. Говоря на языке, которым создаются судьбы, поэт вторгается в них, делая видимыми, взламывает их внутреннюю, защищенную структуру и осуществляет их на краю гибели. Это даже в меньшей степени профессия, чем ночной сторож. Но мы вас все равно берем. Вы будете получать по минимальной ставке, из которой у вас вычтут за униформу.»

Выйдя на улицу, поэт услышал что-то вроде детского плача и, обернувшись, увидел двух мирно беседующих китайцев. Время от времени, увлекшись беседой, китайцы показывали друг другу пожелтевшие от долгого употребления пальцы. Внимательно и долго он рассматривал их, пока ему не стало хорошо и свободно.

АЛЛЕЯ КЛАССИКОВ

Аллея Классиков кишиневского парка им. Пушкина обставлена мужскими бюстами. В этом парке все еще бывают субботники, сгорающая листва, пустые аллеи пушечного дыма, где читатель в галюшах смазывает с классиков голубиный помет. Бронзовые лица классиков, за исключением сказочника Иона Крянгэ, мучительно искажены в отсутствие женской ласки.

Каждое из изваяний отдает должное веку. Классик N. жил в пятнадцатом, когда еще не существовало женщин, и похож на разъяренного обманутыми ожиданиями воеводу. E., юноша романтической эпохи, противостоит ветрам, развевающим то, что у русских классиков называется копной волос. Писатели позднейшего периода имеют выражение лиц величественное и скорбное. Такое выражение, по легко угадывающейся мысли скульптора, должно озна-

чать, что все это были достойные, приличные и уважаемые люди.

Я прожил едва ли не всю свою копну волос в США, где не нашел ничего подобного. И мне интересно было разглядывать молдавских классиков.

Может быть, среди американских классиков не нашлось 14-18-ти приличных и достойных, добрых и ответственных мужчин. Галерея пьяниц и бабников, бродяг, трудовых маргиналов и самоубийц в обществе победившего среднего класса, – все, что в этой связи дают мне скромные мои познания в истории американской классики.

В Сохо, на одном из книжных развалов, мне попался альбом фотопортретов американских писателей. Фолкнер, Капоте, Дос-Пассос, Томас Вулф, Селлинджер, Хемингуэй, По и Фрост, Лондон и Фитцджералд. Я его листал, не в силах оторваться. Они были хорошо залистаны, эти страницы в разводах и старческих крапинах, которые бывают на пожившей, хорошей бумаге.

Я вдруг подумал, что почувствовал почему эти люди так здорово писали.

Конечно, каждый из них был необыкновенно талантлив. Но это и так ясно из их книг.

Там было нечто еще. Лицо. Ни один из них не обладал лицом классика.

Роберт Чандлер

ИЗ ЖИЗНИ СТРЕЛОЧНИКОВ И ПОЕЗДОВ

*Из введения к выходящему в 2008 сборнику прозы Платонова в переводах Роберта Чандлера: *Andrey Platonov, Soul and other stories* (NYRB Classics, 2008). Интервью с Робертом Чандлером об Андрее Платонове см. <http://tinyurl.com/658jhh>*

В июле 1935 Лазарь Каганович, недавно назначенный Сталиным нарком путей сообщения, награждал в Кремле героических работников железнодорожного транспорта. Вскоре после этого было принято решение об издании коллективного сборника под названием «Люди железнодорожного царства». Получил приглашение участвовать и Платонов: он был известен, лично знал Кагановича. К тому же, вряд ли еще был советский писатель, знавший о железных дорогах больше него.

В январе 1936 года Платонов был направлен на Донбасс, в Красный Лиман, на встречу с начальником железнодорожной станции, недавно награжденным Орденом Ленина. Результатом поездки стал рассказ «Бессмертие», с энтузиазмом одобренный на состоявшемся 10 марта совещании. Платонов немедленно получил новый заказ: в конце марта он направляется в командировку на отдаленную станцию, затерянную в карельских лесах, к Ивану Алексеевичу Федорову, стрелочнику, удостоенному Ордена Красной Звезды. Плодом этой второго путешествия стал рассказ «Среди животных и растений». Тогда же, в начале 1936 года Платонов написал еще один текст, в котором поезда играют существенную роль: рассказ «Фро» – действие в нем происходит в маленьком среднерусском городке. Крестьянский мир «Среди животных и растений» и относительно благополучный мир «Фро» выглядели одинаково убедительно, однако участь рассказов оказалась очень разной. Первый подвергся яростной критике и в своей полной, не прошедшей цензуры версии, даже в России до сих пор почти неизвестен. Второй был опубликован в журнале «Литературный критик» в 1936 году и в сборнике «Река Потудань» в 1937; он стал одним из наиболее антологизированных и переводимых произведений Платонова.

Локомотивы и поезда нередко появляются в платоновской прозе и обычно связаны с темой революции. В 1922, в письме к жене Платонов описывает впечатления времен Гражданской войны: «Не

доучившись в технической школе, я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту. Фраза о том, что революция – паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе». Однако к 1927 году очарование исчезло: в конце романа «Чевенгур» Саша Дванов говорит: «Я раньше думал, что революция – паровоз, а теперь вижу, нет». И несколько героев Платонова, включая Сашу Дванова из романа «Чевенгур» и Назара Чагатаева из повести «Джан», сходят с поезда и идут огромные расстояния пешком, разуверившись в более быстрых способах приближения нового мира.

Если даже смотреть на текст «Среди животных и растений» просто как на рассказ о жизни семьи железнодорожного рабочего в Карелии 1930-х, то и тогда видно, как по-чеховски сходятся в нем ум и чувство. Однако не менее замечательно умение Платонова намекнуть на без слов выраженное присутствие столь многих, не могущих быть рассказанными, историй. Так, описание леса на первых двух страницах прекрасно само по себе, но важно и то, что слово «погибнуть» появляется в нем три раза; болезненно подчеркивается страх мелких лесных существ; неожиданны сопоставления леса с городом и употребление слова «население». Возникают образы не только лесных зверьков, но и эзков, ворочающих камни, выкорчевывающих деревья почти вручную:

Охотник иногда приостанавливался; он слышал тонкий, разноречивый гул жизни мошек, мелких птиц, червей, муравьев и шорох маленьких комьев земли, которую мучило и шевелило это население, чтобы питаться и действовать. Лес походил на многолюдный город (...) Вопли, писк и слабое бормотанье наполняли лес, может быть, означая блаженство и удовлетворение, может быть – гибель; влажные листья березы светились в тумане внутренним зеленым светом своей жизни, незаметные насекомые колебали их в тишине преющего земляного пара. Какое-то далекое, небольшое животное кротко заскулило в своем укрытии, его никто там не трогал, но оно дрожало от испуга собственного существования.

Платонов рассказывает нам две разные истории, и одна усиливает другую; ощущения родства между эзками и лесными тварями заставляет читателя сильнее сочувствовать и тому, и другому «населению».

Через несколько страниц Платонов дает еще более ясное указание на то, как следует читать «Среди животных и растений».

Он рассказывает об обычае Федорова подбирать оброненные с проходящего поезда предметы и воображать себе человека, уронившего их. Он описывает, как Федоров подбирает женский платочек – мокрый от слез, со свежей кровью посередине. Федоров представляет себе эту женщину, «обронившую платок из тамбура вагона, во время слез и тоски по своему дорожному человеку, кашляя в платок кровью от горячей чахотки в груди». Затем мы читаем, как ночью Федоров думает о ней и воображает, что платок запачкан кровью оттого, что ее маленькая дочь прикусила язык (как и большинство писателей в то время!) и женщина промокала кровь во рту девочки. Предлагаю нам две такие разные интерпретации мокрого от слез, испачканного кровью платка, Платонов приглашает читателя включить то, что он позднее сам называет «собственным дополнительным воображением» читателя. Если принять это предположение, невозможно не представить третью, более страшную картину. В конце концов, намного больше было заключенных, увозимых на Междвежью Гору в вагонах для скота, чем элегантных дам, путешествующих экспрессом по дороге на Мурманск .

Слова о «дополнительном воображении» появляются в одном из пассажей, где Платонов явно высмеивает советских писателей. Федоров, говорит он, книжки читал «любым интересным способом, и наслаждался чужою высшей мыслью и собственным дополнительным воображением». Он «читал каждую книгу враздробь – то на странице номер пятьдесят, то двести четырнадцать». Так как одна из книг, которую читает Федоров, озаглавлена «Путешествие Марко Поло», и так как известный писатель и критик Виктор Шкловский, автор как раз недавно опубликованной книги под названием «Марко Поло», теоретик и практик приема монтажа, посетил в октябре 1932 года Медвежью Гору и Беломорканал, нет никакого сомнения в том, что Платонов имел в виду именно его. Платонову, скорее всего, было известно как то, что Шкловский играл существенную роль в составлении и редактировании сборника «Канал имени Сталина», так и то, что главной причиной, приведшей Шкловского на Медвежью Гору, была попытка добиться освобождения из одного из тамошних лагерей брата Владимира.¹ Здесь, как и повсюду в рассказе, поражает умение

¹ Предлогом для поездки Шкловского послужил заказ на статью для журнала «Пограничник». Ему удалось добиться освобождения брата. См. Cynthia Ruder, *Making History for Stalin* (Gainesville: University Press of Florida, 1998), p. 57-58.

Платонова сказать две вещи сразу. На одном уровне регистрируется сумятица в душе писателя, подвергаемого страшному давлению.

На другом – дается совершенно серьезный совет читателям: читать творчески, соучаствуя в создании смысла, допытываться, зачем и сам писатель вынужден что-то «пропускать», задумываться над тем, отчего он порой использует «не то» слово, а то и говорит вещи не совсем понятные.

У Платонова много волнующих описаний музыки, ее силы. В этом рассказе, однако, есть что-то странное в том, что в поселке Медвежья Гора «всегда где-нибудь играла музыка» (курсив мой – Р.Ч.); важно также и то, что Федоров садится не на скамью, а на «местный камень». Платонов опять приглашает нас представить себе, сколько всего он не может нам рассказать. На мгновение может показаться, что слушаем мы не граммофон и не аккордеон на Медвежьей Горе, а оркестрик, играющий на строительстве Беломорканала. Начальство НКВД чрезвычайно верило в силу музыки. Как пишет историк Синтия Рудер, «строительные участки были усыпаны ансамблями, играющими порой по 15 часов кряду, дабы возбудить в каналармейцах неиссякаемый трудовой пыл». Немуद्रено, что иногда музыка «...переставала действовать...» на Федорова, и тогда он «приходил в отчаяние или раздражение».

В мае 1936 года Платонов послал рассказ редакторам журналов «Октябрь» и «Новый Мир»; оба согласились его напечатать с условием, что Платонов внесет несколько небольших изменений. Платонов отказался. Он представил рукопись в драматургическую секцию Союза Писателей. Авторы, критики и редакторы, участвующие в создании коллективного сборника, дружно отклонили рассказ на собрании в июле 1936; стенограмма этого собрания опубликована. Естественно, были там возражения, связанные с иронией Платонова по поводу писателей и их Союза, да и с на редкость небрежным упоминанием мавзолея. Были и более общие соображения – о «безрадостном» характере и неправильном «тоне». Никто, однако, не заметил – или не посмел назвать – подтекст, связанный с темой Беломорканала.

В декабре 1936 «Стрелочник» – выхолощенная версия рассказа «Среди животных и растений» – был, вопреки желанию автора, опубликован в детском журнальчике. В конце концов Платонов согласился отредактировать рассказ сам, и новая версия, под заглавием «Жизнь в семействе», включающая авторскую и редакторскую

правки, была опубликована в 1940 году. Посмертные издания содержат новые изменения – конечно, не платоновские. Оригинальная авторская версия была опубликована лишь в 1998 г. в малоизвестном журнале. Эрик Найман² замечает, что судьба рассказа отражает судьбу его героя, Федорова. Точно так же, как рассказ был признан годным для публикации лишь после того, как был изуродован – так и Федоров получает доступ в «культурный», «научный» мир только после получения травмы при аварии, возможно, им же самим и вызванной. Федоров не случайно «стрелочник» – тот самый, что, по пословице, *всегда виноват*.

Найман высказывает также предположение о том, что судьба текста зеркальна и судьбе самого Платонова. Говоря объективно, это не так: Платонову предстояло еще написать несколько лучших своих произведений. Но в том, что касается взгляда Платонова на себя, Найман, вероятно, прав. Создается впечатление, что Платонов ощущает себя в каком-то отношении «уродливым» – и при этом он не знает, оттого ли не может он найти место в мире, что изувечен, или изувечен тем, что сотворил с ним мир. В 1936 году он писал жене: «Я негармоничен и уродлив – но так и дойду до гроба, без всякой измены себе». В 1940-ом, однако, он написал: «Если бы мой брат Митя или Надя – через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня: что со мной случилось? Я стал уродом, изувеченным, и внешне, и внутренне. – Андрюша, разве это ты? – Это я: я прожил жизнь».

² Эрик Найман. «Из истины не существует выхода», *Новое Литературное Обозрение*, 1994, №9, стр.233-248

Сергей Бардин

ОКОПНЫЙ КАПИТАН, ИЛИ ЛЮБОВЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Он любил разговаривать об изобретателях, речных шлюзах и паровозах. Загорался от умных людей и всякого вида крепких приспособлений, свинченных болтами из дерева, сваренных и склепанных из меди, олова и железа. Писал: «Стал думать об электричестве, что всегда доставляло мне удовольствие». Перед сном погружался в утешительные мысли о полезности работающих механизмов. Машины поражали его строгой красотой и грацией вложенной мощи. Для объяснения этой внешней красоты и стройности совместимых частей, людей и механизмов он научился пользоваться материей более тонкой, ломкой и причудливой, чем медь или железо: литературными словами на бумаге. По рождении звали его Андрей Платонович Климентов. Потом он фамилию переименовал на крестьянский лад, по отцу: Андрей сын Платонов. Стал подписываться коротко Андрей Платонов. Родом из Воронежа.

Молодым инженером я подрабатывал тем, что писал технические статьи в журналы. Носил их в журнал «Изобретатель и рационализатор (ИР)», который остряки в редакции называли «Иррационализатор». Ходил один старичок – узкий, острый, вертлявый, похожий на кухонный ножик, поставленный на острие. Жаловался, помнится, на недоумочную местную власть в каком-то маленьком южном городе. И лезвие его ума было заточено на засоренные поганой водорослью городские пруды в городском чахлому парке того же городка.

Он присаживался на край стула осторожно, словно боясь уколоться брючиной о торчащую пружину в сидении. Потом вроде как притирался к стулу.

– Иван Гермогенович, у вас случаем не геморрой? – спрашивал его грубый человек, секретарь редакции.

– Привычка выработалась у меня от долгого втирания в разнообразные приемные учреждения.

После этого он рассказывал о своем методе очистки прудов от ряски. О том, как власти его слушать не хотят, не верят, не понимают его изобретения. А пруды зарастают зеленой водорослью. – Мерзость запустения, реченная через пророка Даниила!

Он был из попов, но носил на лацкане пиджачишки значок ВОИР, что означало «Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов». Несколько заскорузлая эта ВОИР была крепкой кры-

шей для всякого рода чудаков.

Грубый секретарь редакции спрашивал:

– Иван Гермогенович, отчего это у вас отчество такое странное: «Гермогенович»?

– Оттого что попы в Ростове все насквозь подхалимы. – С необыкновенной злобой отвечал изобретатель очистки прудов. – В Ростове благочинного, владыку Ростовского, при деде моем звали отец Гермоген. Вот попы и старались изо всех сил, чтобы он сыночков у них крестил. И давали имя: младенец Гермоген. В крестные владыку зазывали. Развелось этих младенцев Гермогенов без счета. Моего родителя тоже таким манером окрестили. Вот у нас полгубернии поповских внуков в Гермогенычах и ходит.

Именно этот самый затейливый Иван Гермогенович и рассказал, что в журнале «Техника и наука», который неугомонные быстрые умы окрестили по первым слогам «Тина», напечатана статья «Губернский мелиоратор». И в этой статье было указано, что писатель Андрей Платонов никакой не Платонов, а Климентов. И что он был толковым инженером и хорошим изобретателем.

Тогда никто не думал о Платонове как об инженере. И фамилия автора ничего не говорила. Какой-то Е.И. Таубман, кандидат технических наук. Я нашел журнал «Техника и наука» прочитал статью, и узнал, что писатель Андрей Платонов был не просто изобретателем. Он был еще и по работе своим в доску – инженером, электротехником, мелиоратором, метрологом.

«Советский Энциклопедический Словарь» 1989 уделяет ему несколько строк.

Платонов Анд. Платонович, рус. сов. писатель. Своеобразная по мировосприятию и стилю лиро-эпич., сатирич. проза: сб-ки рассказов и повестей «Епифанские шлюзы» (1927), «Происхождение матеря» (1929), «Река Потудань» (1937); критич. статьи (Сю. «Размышления читателя», опубли. 1970).

Я взял командировку и поехал к Таубману в Одессу. Ефим Таубман жил в каком-то типовом бетонном многоквартирном кривом доме, в неопределенной квартире с вечно воющими в трубах водами, с потеющей гипсокартонной ванной, покрытой мокрой и вонючей водорослью, о которой на севере не имеют понятия, а на юге знают все. Мы ели в комнате котлеты с макаронами, а потом Ефим Исаакович заманил меня в маленькую прибалконную комнату, заваленную книжками и папками. Он доставал копии каких-то чертежей и калек, «синьки» и кипы прочей конструкторской макулатуры. Трясущимися от волнения руками раскладывал по столу. Это был чертежи и эскизы изобретений Андрея Платонова.

Глаз его тускло горел. Лампа светила низко. Он спросил меня страшным шепотом:

– А вы знаете, что Платонов совершил величайшее изобретение в истории человечества?

Чехов сказал: «Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть работает на паровозах».

Это тоже был голос Таубмана:

– Ну, ей богу, словно пальцем ткнул в Андрея Климентова, сына паровозного машиниста, выпускника политехникума по электротехнике сильных токов. Прямо как лиру передал. Из рук в руки. Под окнами квартиры грохотали ночные трамваи. Мы пили водку, снова и снова ели котлеты с макаронами. На ветру под фонарем кидался из стороны в сторону железный транспарантик с надписью «кривой путь». Таубман объяснил, что это надпись для водителей трамваев. Предупреждает, что впереди поворот, «кривой путь».

– А вы не знаете, – Таубман тыкал вилкой в хрусткие кальки чертежей, – что Платонов подал заявку на полуметро! Это Тянитолкай такой. Пять-шесть вагонов. Полу-метро, полу-трамвай. Идет по эстакадам и спускается под землю. Гениально!

У меня кружилась голова, было три часа ночи и «полу-трамвай» Платонова казался мне таким же ирреальным, как «кривой путь».

– А знаете от кого у него этот вкус к изобретательству? От отца. Платона Фирсовича Климентова.

Таубман выгасил папки с завязками – материалы биографии Платонова, и ушел спать.

А я узнал, что жил в городе Воронеже один слесарь и самоучка Платон Фирсыч Климентов, мужик грамотный. Происходил из крестьян, возвысился до механического рабочего, вышел в интеллигенты железнодорожных мастерских. Сказано о нем: у «масла и машин прошла жизнь». Родитель его, Фирс Климентов, крестьянин, в истории бы вообще не задержался, если бы внук его, Андрей Платонов, не написал: «Дед закусывал водку, выбирая тесто из своей бороды» – и дед Фирс таким образом в историю попал. Зацепился. Почти сорок лет Платон Фирсыч Климентов отрубил начальству на железной дороге. Может быть потому, что родился в 1870 году во времена неотесанные. Женился на «дочери часового мастера», родил с ней 10 детей и помер в 1952 году, 82 лет отроду, тоже ,прямо скажем, в довольно хамские времена. Его старший сын, Андрей Платонов, написал о другом еще старике, тоже интеллигенте: « я в детстве шил сапоги с Кузьмой Ипполитычем, талдомским сапожником, поймаивавшим меня водочкой и неожиданно умершим десять лет назад восьмидесяти лет от рождения».

Так что однажды Платон Климетов тоже умер, значит, неожиданно, восьмидесяти двух лет от рождения. Пережил сына Андрея на год. А внука своего, тоже Платошку, на девять лет. Этим трудовым работягам было на роду написано переживать своих сыновей и внуков. Внука его, пятнадцатилетнего пацана Платошку, арестовали в 1938 году и дали «десятку», отправили в лагерь на север. Оттуда его выцарапал Михаил Шолохов в 1941-м году уже калекой, он харкал кровью, болел и через два года помер от туберкулеза. Он, однако же, успел родить сына. Так что мог бы прерваться род Климентова, но не прервался. У старика Климентова было много детей.

За свои 82 года жизни Платон Фирсович Климентов успел наделать много чего. Со слесарей взлетал до бригадира, служил монтером, инструктором по приемке деталей. Работал машинистом-наставником, выводил паровозы после ремонта на обкатку. Зимой в 1919 и в 1920 обслуживал снегоочистители на Воронежской, Лизкинской и Аннинской ветках. В гражданскую войну Платон Фирсович устроился даже и машинистом, водил бронепоезд. А помощником машиниста на этом железнодорожном и вороном коне был его сын, Андрюха.

Платон Фирсыч был от природы технически толковым мужиком, занимался усовершенствованием станков, изобретал. Сперва придумал загогулину для крепления бандажей на колесных скаках, а это сильно облегчило его тяжелую физическую работу. На том не остановился, пошел дальше: придумал приспособление для проверки и установки кривошипов, ведущих к колесам паровоза. И на это приспособление получил патент.

Но, конечно, главная знаменитая заслуга Платона Фирсовича – усовершенствование пневматического железнодорожного тормоза Вестингауза. Много лет потом паровозы тормозили тормозами Вестингауза-Климентова. За удачную рационализаторскую деятельность Платона Фирсовича Климентова при советской власти премировали. Он по слухам даже был представлен к награждению Орденом Ленина, но награда по неясным причинам не нашла его.

Джорж Вестингауз, миллионер и изобретатель, прославился тем, что однажды постучался в дверь изобретателя Николы Теслы, сбжавшего из Будапешта в Америку через Париж и сидевшему там без денег. И сказал: «Предлагаю миллион долларов, по двадцать пять тысяч за все сорок ваших патентов, плюс, нейтрально, полагающиеся патентные отчисления». А такую сумму никто никогда не предлагал за изобретения по патенту, все считали Вестингауза сумасшедшим. Тесла согласился и попросил отчислений по доллару за каждую лошадиную силу его электрических машин.

И они ударили по рукам. И оба выиграли. Потому что Тесла придумал машины переменного тока и выходит, что родина электричества – все же не Россия, а Америка.

Можно предположить, что если бы Джорж Вестингауз знал, как усовершенствовал Платон Фирсыч его пневматический тормоз, то он бы и ему тоже платил ему доллар за каждое включение тормозного рычага. Но тогда Платон Фирсыч начал бы без просьбу пить, перестал бы изобретать, а мировая литература лишилась бы великого гения в лице его сына Андрея.

А так Платон Климентов работал, изобретал и пил. В питии был, как всякий русский мастеровой, страшен. Это было время, когда говорили: «Отойди, Вася, гнида. Изуродую тебя. Изувечу. Покалечу». Сын Андрей написал о пьяном отце хорошие слова: «Я с детства знал, по отцу, что такое пьяный мастеровой человек – это невыносимо, говорят. Но я люблю пьяных людей, это искреннее племя».

О матери Андрея Платонова указывается: Мария Васильевна (1876-1929), дочь часового мастера. И все. Прожила она на свете 53 года, старик пережил ее на 29 лет. Много рожала. Были: Андрюша, Петя, Сергей, Митя, Надя и Вера. Двое самых любимых погибли. Поехали в пионерский лагерь в голодный год, подкормиться, насобирали грибов, поели и померли.

Мать семьи, надорванная родами, горем и упорным трудом, умерла рано.

Сын Андрей Платонович написал в рассказе о ней слова, которых почти и нет больше в русском языке. «Перед смертью она тосковала и целовала меня – она тосковала и целовала меня – она все боялась оставить меня одного на свете, она боялась, что меня затопчут люди, что я погибну без нее и меня даже не заметит никто. Умирая, она велела мне жить. Она обняла меня, а другую руку подняла на кого-то, будто защищая меня, – да только рука ее тут же опустилась от слабости».

«А ты живи, ты живи – не бойся! – говорила она мне. – Побей, кто тебя ударит. Живи долго, живи за меня, за нас всех, не умирай никогда, я тебя люблю». Она отвернулась к стене и умерла сердитой; она, должно быть, знала, что жизнь у нее отнята насильно, но я тогда ничего этого не знал, я только запомнил все, как было. И с тех пор я всю жизнь храню при себе полотняную рубашку моей бедной, мертвой, вечной моей матери. Рубашка уже почти истлела, а цела еще, и в ней я всегда чувствую мать, в ней она бережется для меня...» Жила семья в Ямской слободе города Воронежа. «Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от деда и завещались будущим людям. Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умо-

помрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь».

Свояченица Андрея Платонова, по фамилии В.А.Трошкина, женщина тонкая и наблюдательная, потом вспоминала: «Мрачноватый и малоразговорчивый Андрей был. На нем всегда была гимнастерка, вечно засаленная, потому что он постоянно возился с какими-то механизмами, инструментами, все изобретал, ремонтировал чего-то».

Я вернулся в Москву и составил «Основные даты жизни советского инженера электротехника и мелиоратора А.П. Климентова (1899 – 1951)».

Вот что вышло.

Андрей Платонович Климентов родился 16 августа по старому стилю в Ямской слободе города Воронежа. Он был старшим из в семье многодетного слесаря Воронежских железнодорожных мастерских, талантливого самоучки-изобретателя Платона Фирсовича Климентова.

С 1906 по 1914 год учился в церковно-приходской и городской школе. С 1914 года начал работать рассыльным с старуховым общетстве «Россия», помощником машиниста, литейщиком на трубном заводе, в паровозоремонтных мастерских. В 1918 году поступил в железнодорожный политехникум на электротехническое отделение.

Во время учебы и позднее был внештатным корреспондентом газет (рабкором), писал в местные газеты заметки, популяризирующие технику и науку. В 1921 года в Воронеже издал небольшую брошюру «Электрификация».

В 1921-1922 годах А.П. Климентов возглавлял Чрезвычайную комиссию по борьбе с засухой в Воронежской губернии. С мая 1923 года служил в Воронежском губземуправлении в должности губернского мелиоратора, заведующего работами по электрификации сельского хозяйства.

В феврале 1926 года на Всероссийском съезде мелиораторов Климентов был избран в состав ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ; в июне этого года он вместе с семьей (женой – Марией Александровной и сыном Платоном) переехал в Москву и получил жилье в центральном доме специалистов. Через месяц последовало неожиданное увольнение с работы.

Однако уже осенью 1926 года он был назначен Наркоматом земледелия заведующим отделом мелиорации Тамбовской губернии (области) и направлен на работу в Тамбов.

В это время А.П.Климентовым написаны многочисленные статьи по вопросам науки и землепользования в России, про-

ведены социально-экономические расчеты. В марте 1927 года А.П. Климентов возвратился в Москву. Осенью 1930 года он окончил курсы химизации сельского хозяйства. В июне-июле 1931 году был направлен Наркоматом земледелия для поездки по колхозам и совхозам Поволжья и Северного Кавказа. В 1931-1935 годах Климентов работал старшим инженером-инструктором в Республиканском тресте по производству мер и весов при НКТП СССР (Наркомат тяжелой промышленности), сделал несколько важных изобретений, получил ряд патентов.

В марте 1934 года как инженер и мелиоратор А.П.Климентов был введен в состав туркменской комплексной экспедиции Академии наук по изучению промышленности страны. В начале Великой Отечественной войны он с семьей попал в эвакуацию в горд Уфу. Добивался отправки на фронт. Был направлен в действующую армию в качестве военного корреспондента. А.П.Климентов прошел всю войну и после ряда контузий, а также ввиду заболевания туберкулезом был уволен в запас в звании майора.

В 1946 г., когда в России опять разразились засуха и голод, он в статье «Страхование урожая от недорода» вернулся к идеям своей молодости о «ремонте земли».

Андрей Платонович Климентов скончался от туберкулеза в 1951 году.

Такая вот биография. И ничем она бы никого не заинтересовала, кроме родственников товарища Климентова, если бы это не была биография великого русского писателя Андрея Платонова.

Много позже, когда были разведаны многие факты его странной и мученической жизни.

Он учился на электротехническом отделении железнодорожного политехникума, хотел быть инженером. Засуха 1921 года, вызвавшая страшный голод в Поволжье, убедила его в том, что прежде надо начать борьбу со зноом. Летом 1921 года Платонов пешком обошел деревни Воронежской губернии, объясняя, как орошать землю и строить машины для подъема воды.

«Мужики слушали и слушали. Тут же я рисовал им водоподъемные машины самые простые и самые сильные, самые удобные. Рассказывал, как надо строить деревянные лотки для самотека воды, канавы, водоснабжающие галереи, как приспособить ветряки для подъема воды, как устроить центробежный насос из трех-четырёх трубок и ведра. Эти скучные разговоры люди слушали, как поэму; рассуждения о двухдюймовых гвоздях доводили нас до экстаза. Мы молитвенно и затаенно говорили о великой силе ветра, о солнце, которым можно качать воду, о благословенной влаге, пи-

тающей рожь в будущие дни суховея и горячего песка, о том, как прохладно и мирно станет на земле в знойные дни при орошении». Это из его статьи в газете «Воронежская коммуна», она называется «Новое евангелие».

Примерно в это время он переименовался из Климентова в Платонова и больше уже назад не менялся. Разобрался, что газета – это инструмент, рычаг сильного давления на человека, действенный, как гидравлический пресс. Стал пользоваться им, и скоро набил руку, обрел навык, как обретают навыки мастеровые. Писал коротко, бегло, ясно, точно. Хорошо знал, чего хотел и умел этого добиваться через слово в газете.

Примерно половина тех его материалов – это очень простая и наглядная популяризация полезных знаний. Науки. Техники. Устройств. Писал просто. Да и какие могли быть литературные заумы в газете, по которой взрослые учились читать по складам? В стране непуганых птиц и детей поголовная грамотность была объявлена государственной программой. Где дети учили взрослых.

Андрей Платонов писал в «Известия» о срочном создании «революционного сельскохозяйственного совета, боевого ударного штаба против зноя, против плохого крестьянского хозяйства, против голода – за хлеб и сытость рабочих и крестьян, за спасение революции от поражения и людей от истребления». Государственный ревсовет земли не создали, но, усилиями Андрея Платонова, в Воронеже приняли решение об учреждении Земчека – «Губернского земельного чрезвычайного органа с широкими полномочиями для экстренной организации обороны наступающей засухе и для доведения темпа работ по восстановлению и развитию сельского хозяйства в губернии до высшего напряжения».

Начальником Земчека назначили его – Андрея Платонова. Удостоверение, выданное ему в январе 1922 года: «Выдано сие Губэкономсовещанием Воронежского Губисполкома председателю Чрезвычайной комиссии по борьбе с засухой т. Платонову Андрею Платоновичу в том, что он действительно командирован в Наркомзем для получения инструкций и специальной литературы по общим вопросам развития сельского хозяйства и по борьбе с засухой».

В марте 1922 года Земчека, переименованная в Губкомгидро (Губернскую комиссию по гидрофикации), «для придания большего авторитета» была приписана к подотделу мелиорации Воронежского губземуправления. Штат комиссии составлял 4 человека. Губкомгидро занималось строительством оросительных машин, организацией электроагрономической лаборатории и устройством экспериментальной оросительной станции. В 1922

году деятельности Губкомгидро посвящены практически все газетные статьи А.Платонова.

1923 год был не очень тяжелым: Губкомгидро работало над проектом Воронежской гидроэлектрической станции. В октябре А.Платонов официально занял должность губернского мелиоратора. Так Андрей Платонов, по сути дела, гидротехник-самоучка, перешел в разряд спецов. В 1923 году А. Платонов отметился в столице – по крайней мере, один раз. В 1924 году А. Платонов начал строительство трех сельских электростанций.

А с августа 1924 года на территории Воронежской губернии начались события, во многом, кажется, предопределившие переезд А.Платонова в Москву. Лето 1924 года снова началась сухотень. Некоторые уезды Воронежской губернии вошли в перечень территорий, пострадавших от засухи. Центральная комиссия по борьбе с последствиями неурожая выделила Воронежской губернии средства на проведение общественно-мелиоративных работ. Деньги должны были передаваться населению в качестве платы за участие в строительстве мелиоративных сооружений – плотин, колодцев, регулировании стока рек и тому подобное. Все было как в планах деятельности Земчека, разрабатывавшихся Платоновым в 1921 году. В работах, охватывавших огромные территории, были задействованы тысячи людей.

Губернский мелиоратор Андрей Платонов писал в отчете:

«На малочисленный, привыкший к спокойной, осторожной, плановой работе штат мелиораторов сразу рухнул ураган работы; от мелиоративной организации потребовалась высшая степень дисциплины, работоспособности, инициативы и способности ориентироваться в сложной общественной обстановке. Воронежская мелиоративная организация имела пять человек в штате. В одну неделю этот штат был увеличен до 50 и затем до 70 человек».

В Наркомат земледелия по телеграфу отправлял еженедельные сводки о выполнении плана и численности задействованной рабочей силы по каждому уезду. Выглядели эти телеграммы, как донесения с поля битвы:

«По полученным 22 неполным сведениям работы идут Богучарском новых прудов 32, ремонт 26, колодцев 1, пеших 2726, конных 965. Россошанском новых прудов 6, ремонт 21, пеших 357, конных 98. Острогужском новых прудов 12, колодцев 3, пеших 248, конных 96. Сведений Валуйского не получено. Задержка сведений объясняется неполучением с мест своевременно. Точная сводка будет выслана дополнительно. Меры своевременному доставлению полных сведений приняты. Губмелиоратор Платонов».

Приходится бывать в Москве. «Вероятно, буду в Москве скоро. Выслали вы нам план свой и все нам спутали. Зачем сверну-

ли обводнение?» написал А. Платонов инспектору А. Прозорову 22 сентября.

Однако, чем дальше, тем яснее становилось, что в конце концов, когда все выделенные средства будут израсходованы, мелиорация Воронежской губернии возвратится к состоянию «мирного» времени. Письмо А. Платонова одному из сотрудников Наркомзема от 3 апреля 1925 года: «Работать научились здорово. Прикажете, что угодно сделаем. Я проведу машинное орошение на больших площадях (в местной прессе). Необходимо, чтобы начавшая героическая эпоха мелиораций не прекратилась жалким образом. Тогда хоть самоубийством кончай. Что нам тут делать?»

Кажется, деловые качества воронежского губмелиоратора ценились инженерами Наркомата достаточно высоко. К тексту сделана приписка: «P.S. Нельзя ли вызвать меня в Москву – есть много дел, не терпящих отлагательства, а меня не отпускают. Вызовите – якобы для доклада».

Всего в Воронежской губернии под непосредственным административно-техническим руководством А. Платонова было построено 763 пруда, 315 шахтных колодцев, 16 трубчатых колодцев, осушено 7600 десятин заболоченной земли. Кроме того, для осушения болот в пойме реки Тихая Сосна А. Платонов спроектировал плавучий понтонный экскаватор.

Общественные работы в Воронежской губернии продолжались до конца 1925 года. Потом пошли дожди и мероприятия против засухи, как и предчувствовалось, перестали быть первоочередной государственной задачей – на доделку и поддержание мелиоративных сооружений средств не выделяли.

15 февраля 1926 года А. Платонов приехал в Москву, сделал доклад о мелиорации в Центрально-черноземной области на Всероссийском мелиоративном совещании, и его избрали в ЦК союза «Всероботземлес» как представителя от специалистов. Тут же в июне 1926 года Андрей Платонов бросил провинцию и переехал из Воронежа в Москву. Поселился в Большом Златоустинском переулке. На четвертом этаже размещался Центральный Дом специалистов сельского и лесного хозяйства «Всероботземлеса».

Через четыре недели работы в ЦК союза «Всероботземлес» А. Платонов был уволен, и началось выживание семьи из Дома специалистов.

До сих пор неизвестно, почему падение его произошло так быстро. Но можно погадать с литературными картами на руках. О том времени написаны «Гадюка» Алексея Толстого и «Вор» Леонида Леонова. Это было переломное время больших городов, когда краски времени меняют цвет. Люди устали от революции, но поняли и приняли новые условия игры. Совслужу, советские служащие,

новая каста управленцев, мелких советских чиновников кинулась в города. Занималась заря великой реставрации и бюрократии. Люди с портфелями сновали по центру Москвы, распределяя, одобрив, выписывая ордера и разрешения.

Решения все еще принимались на собраниях и визировались. Революция захлебнулась не в крови, а в чернилах. Это был час очень жестокой новой борьбы внутри аппарата. Тут нужны были фальшь, демагогия, круговая порука, клык и когти. Чудики, герои и провинциалы были не нужны. Они были вредны. Они занимали не принадлежащие им должности и площади. Романтики, строители плотин и колодцев казались смешным анахронизмом в мире мягких сапог и кожаных портфелей.

Единственно кто мог ценить инженера А.Платонова были такие же спецы, как он сам. Ошибка была в том, что он воспринимал себя как начальника. Таким он был там, в Воронеже, когда распределял отпущенные на мелиорацию большие государственные средства. Он не наработал связей в Москве, не искал поддержки. Он был и остался провинциальным спецом. И единственно, что ему светило - это обслуживать свои дамбы и колодцы.

Больше распределять средства ему уже никто никогда не доверял.

Платонов этого не понял. Он продолжал столбить идеи мелиорации. А надо было столбить стол и место столоначальника.

Этого он не умел. Он не родился чиновником. Ему надо было срочно определяться. Можно было остаться инженером, можно было вернуться в провинцию. Можно - стать литератором или журналистом. Можно было попытаться занять литературную должность. Но все это было очень и очень зыбко.

Он вцепился в Москву. Много писал. Сохранились записи Платонова, относящиеся к тому времени: «Отказ от квартиры - не прописка по распоряжению ЦК <...> в течение 6 месяцев. Несколько предупреждений о выселении с милицией на улицу. Безработица. Голод. Продажа вещей. Травля. Невозможность отстоять себя и нелегальное проживание: все отсюда». «Я остался в чужой Москве - с семьей и без заработка. <...> Чтобы я не подох с голоду, меня принял НКЗ на должность инженера-гидротехника. <...> Одновременно началась травля меня и моих домашних агентами ЦК союза (я по-прежнему жил в ЦД специалистов), <...> называли ворами, нищими, голью перекатной (зная, что я продаю вещи). У меня заболел ребенок. <...> я каждый день носил к Китайской стене продавать ценнейшие специальные книги, приобретенные когда-то и без которых я не могу работать. Чтобы прокормить ребенка, я их продавал... <. .> Никто не хотел принять во мне участия, только инженеры из НКЗема сочувствовали и поддерживали меня, даже

давая без отдачи деньги займы, когда я доходил до крайнего голода. Но они были совершенно бессильны и не имели влияния на ход профсоюзных дел».

Платонов продолжал писать и обивал пороги. Старые знакомые инженеры записали его на должность инженера-гидротехника. Он был зачислен 21 октября 1926 года. От Наркомзема его командировали с глаз долой на работу в Тамбов. В Тамбове он проторчал с 8 декабря 1926 года до 23 марта 1927 года, это важно. Семья осталась в Москве, все еще в Доме специалистов. Слушание дела о выселении семьи А.Платонова, возбужденное по иску ЦК союза Всеработземлес, назначили на 13 сентября 1927 года в Народном суде Бауманского района Москвы. Для А.Платонова началась бездомная жизнь.

На какой-то срок уезжали в Ленинград к родственникам жены, потом снова возвратились в Москву. В конце 1929 – начале 1930 года инженерная деятельность А. Платонова была связана с Ленинградским металлическим заводом имени Сталина. В 1931 году А. Платонов с семьей жил в новом писательском доме напротив МХАТа. Поселился с ними младший брат – Петр Климентов. Этот адрес – на их совместных инженерных проектах; его же в мае 1932 года Петр указывает в заявлении о приеме на работу. В конце 1931 года решился вопрос о выделении семье Платонова квартиры на Тверском бульваре, 25.

Здесь Андрей Платонов жил с семьей до самой смерти.

С июня 1932 по февраль 1936 года Платонов служил в тресте «Росметрострой». Много ездил в командировки по делам производства. На Среднюю Волгу, на Северный Кавказ, в Воронеж, Калугу, Ленинград, на реку Или в Восточный Казахстан и реку Чу в Киргизии, в Туркмению, в Карелию. Должно быть, ему не хватало в Москве этого воздуха провинции, промышленного захолустья.

Много писал. Но в анкете журнала «На литературном посту» в 1931 году отвечал: «Основной профессией считаю электротехнику. Знаком и хочу ознакомиться еще более со строительством, главным образом гидроэлектротехнических силовых установок...»

Ефим Таубман многое из этого разыскал. Как – до сих пор не понимаю. Это и теперь еще надо очень и очень порыться в Интернете, чтобы отыскать библиографию материалов о Платонове. В то время не только найти, но и получить относящее к Платонову, даже опубликованное, было трудно. Недостаточно просто указать: хочу прочитать повесть «Впрок» в «Красной нови». В Ленинской библиотеке, очень твердой в охранительных позициях, сразу: «Читатель какого зала? Записаны как специалист по химии? Для чего

повесть Платонова?» В конце концов, все это имело весьма неприятные последствия вплоть до звонков на работу с таким вопросом: почему в свой библиотечный день ваш сотрудник заказывает произведения запрещенного писателя? Это по вашему указанию? Чем вы там вообще все занимаетесь?

Так что в лоб «Впрок» получить было нельзя. Но если вы искали библиографию содержания журналов и заказывали номер журнала «Красная новь» по поводу, связанному, скажем, с химизацией народного хозяйства, давали номер журнала, пожалуйста.

Полегче, конечно, бывало в технических библиотеках. Таубман не оставлял работу. Он защитил докторскую и написал новую статью. Пристроить смог только в журнал «Энергия», который выходил в Институте высоких температур». Публикация означала, что Ефим Исаакович Таубман опять просидел месяцы в технических и патентных библиотеках, отыскивая заявки, поданные Платоновым и Климентовым. Это дело вообще непростое, даже если проживаешь в столицах. А если в Одессе, как Таубман? Если ты кандидат технических наук, строчишь докторскую, если ты начальник лаборатории и да еще за деньги читаешь лекции в институте. И при Одесском доме ученых ведешь постоянно действующий семинар «Проблемы прикладной экологии». Активный такой должен быть человек. А он и был.

Первое официально признанное изобретение Андрея Платонова было «Устройство для поддержания напряжения в сети постоянным при переменном числе оборотов генератора» (патент № 758). Патентовалась автоматика регулирования напряжения электрогенератора путем изменения числа витков вторичной обмотки. При перемене оборотов генератора контакты обмотки переключались центробежным механизмом. Красивое решение. Разработано в 1924 году.

Заявка «О принципах конструирования первого опытного газового тепловоза». Направлена Платоновым в январе 1926 года в Комиссариат путей сообщения. Отказ тепловозной комиссии звучит как поэма в прозе: «В настоящее время техническая мысль работает над созданием двигателя внутреннего сгорания на твердом топливе, чем и будет достигнута цель, которую Вы имеете в виду... Предлагаемая Вами своеобразная газификация железных дорог совмещает в себе недостатки тепловой тяги и электрификации». Прошло семьдесят лет. Понятно, что никакой двигатель на твердом топливе не мог быть создан никогда вообще. Электрификация железных дорог проведена в полном объеме. Газовые тепловозы – один из нормальных проектов будущего.

Инженерные мозги у Платонова были отличные. А великие месторождения газа были открыты в СССР через несколько лет после его смерти.

В 1933 году Андрей Платонов вместе с братом Петром Климентовым получили авторские свидетельства на «Приспособление для подвода электрического тока к электрическому нагревательному элементу» и «Компенсационное устройство к весам, у которых вес тела уравнивается электромагнитной силой».

Когда я прочитал название заявки вспомнил платоновскую фразу: «он спроектировал электрические весы, которые взвешивали звезды на расстоянии, когда они показывались над горизонтом востока, и его за это поцеловал замнаркома тяжелой промышленности».

Некоторые изобретения Таубман знал только по названиям.

Платонов получил патенты на изобретения «Прибор для нанесения плана по данным тахиметрической съемки» и «Дальномер».

Некоторые его проекты казались фантастическим бредом. Например, то самое «полу-метро». «Метро стоит дорого и долго строится, – писали он в заявке, – поэтому до постройки метрополитена мы предлагаем заключить трамвайные линии в особое деревянное устройство типа наземного акведука (путепровода). Уже полвека метро под названием S-bahn гремит по Берлину, по эстакадам многих городов мира, а в Чикаго это так прямо городская достопримечательность. И даже в Москве в Южное Бутово побежали такие линии ровно в той комплектации, что предлагал Платонов. Только эстакада бетонная, и короба из пластика.

Платонов предлагал соорудить самолет с электродвигателем, питающийся от линий электропередачи. Совсем смешной такой проект. А электропоезд в Японии на воздушной подушке, летящий над и имеющий только электроконтакты с с монорельсом, развивает скорость 580 километров в час – выше многих легких самолетов.

Судьба нескольких изобретений неизвестна. В одной из статей Таубман написал, что в 1936 году Платонов с братом Петром подали заявку на изобретение «Шестерня», судьба которого неизвестна.

Так вот, оказалось: не только рукописи не горят. Не горят и заявки. Даже отвергнутые. Недавно Ольга Степановна Максакова – начальник отдела информационного обеспечения и публикации архивных документов филиала Российского государственного архива научно-технической документации в Самаре – нашла

«Шестерню», которую не смог обнаружить Таубман. И написала об этом в журнале «Отечественные архивы».

25 апреля 1936 года в Бюро новизны Комитета по изобретательству ВСНХ СССР Андрей Платонов и Петр Климентов подали заявку на изобретение «Шариковая шестерня». В объяснительной записке к заявке писали: «Назначение шариковой шестерни – заменить трение скольжения существующих передаточных шестерен с глухим зубом трением качения и тем улучшить коэффициент трения, уменьшить потери энергии в редукторах и жестких передаточных устройствах... Цель такой системы зацепления – максимально использовать рабочую поверхность шарика и уменьшить число шариков в шестерне. Такой способ более удобен при значительных нагрузках, а способ зацепления, изложенный выше, даст лучшие результаты при острых, высоких скоростях и относительно небольшой величине нагрузки». Но в выдаче авторского свидетельства им отказали, потому что шариковая шестерня к тому времени уже была известна.

Странно был устроен этот человек, Андрей Платонов. Дело не в том, что он одновременно был писателем и инженером. Его же приняли в Союз писателей в 1934 году. А еще раньше по литературным хлопотам дали квартиру. Служба инженером была для него вынужденной, для денег. Поскольку после собственноручной рецензии Сталина на номере журнала «Красная новь» поперек текста повести «Впрок» – «идиот, сволочь, мерзавец» – мысль жить литературой можно было оставить. Особенно в стране, где был только один заказчик.

Дело в ином. Платонов изобретал ровно столько же, сколько и писал: всю жизнь. Умел как-то переключаться с инженерной работы на писательскую. И язык его был такой же двойной, как жизнь и судьба. Он умел переключать слово с невероятного языка несравненной своей, немислимой прозы на простенькую журналистику.

Тайна его языка продолжает волновать не только филологов, но и людей практического склада. Несколько лет назад один молодой человек по фамилии Василий Логинов провел компьютерное исследование. Назвал: ««Счастливая Масква» А. Платонова с точки зрения неискушенного компьютерного пользователя». В 1997 когда году текст романа появился в Интернете. Существование в электронном виде позволило проводить независимое компьютерное исследование. Логинов провел анализ с помощью встроенной в текстовый редактор Microsoft Word 7.0 подпрограммы «Статистика удобочитаемости». Графическая и статистическая обработка ре-

зультатов анализа была проведена с помощью Microsoft Excel 7.0.

Вот что вышло.

1. Средний уровень образованности читателя данного романа должен, как минимум, соответствовать 1-2 курсу ВУЗа.

2. По легкости чтения весь анализируемый текст находится вблизи нижней границы рекомендуемых значений, то есть характеризуется как трудночитаеый.

3. Среднее значение параметра благозвучия для всего романа практически идеально соответствует оптимальному значению (90), что свидетельствует о сбалансированности языка романа «Счастливая Москва» по шипящим и свистящим согласным.

Я думаю, Платонову это исследование бы понравилось.

Современникам язык его повестей и романов казался странным, кислотным. Странно контрастирующим с его образом скромного, тихого, толкового человека. Скульптор Федот Сучков, друг Платонова, обходил редакции, старался опубликовать неопубликованного Платонова. Шло это туго. Но все, относившееся к Платонову, вызывало жгучий интерес. Федот Сучков рассказывал, как Платонов батрачил, переписывая за деньги чужие мемуары после войны. О внешности Платонова рассказывал хорошо, платоновскими же словами: «он походил на сельскую местность». Внимательный был человек. Скульптор. И еще он хорошо сказал, утешительно. «Отдаленно Андрея Платонова напоминает его внук, сын его сына, скончавшегося от туберкулеза, Александр Павлович Зайцев... Лицо имеет ту же застенчивость, которую имел его гениальный дедушка».

Изобретал и мастерил Платонов всю жизнь. Ефим Исаакович Таубман, ученый, технарь и фанат Платонова, говорил, что инженерное творчество Платонова наложило неизгладимую печать на его художественные произведения.

Не он один замечал, что Платонов описывал людей, как механизмы, а машины, как живые существа.

«Не глядя на лежащего машиниста, он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

– Хороша машина, сволочь!»

Это Платонов.

«Железный инвентарь какой» – сказано о человеке, избитом крестьянине.

Это тоже Платонов.

«Страсть к научной истине не только не умерла во мне, а усилилась за счет художественного созерцания» – написал взрослый Андрей Платонов. А маленьким он изобретал, как все, вечный

двигатель, и, как все, изобрел.

Его свояченица оставило очень точные воспоминания про начало этого пожизненного изобретательства в Воронеже 20-х. Они едва известны, потому что это ее слова из документального кинофильма про Платонова, не вошедшие в фильм.

«У нашего дома с большими подвалами стояли старинные сараи, и Андрей с папой стали устраивать из них мельницу, потому что мельница была далеко, и люди мучались: негде было молотить муку. Андрей делал все основные колеса и еще что-то, а отец ему помогал. Работали дотемна. И вот в этом сарае, в самом центре Воронежа, они сделали мельницу. Написали объявление, что они даром мелют муку. Думали, наверное, что вот-вот коммунизм придет и все без денег будет.

В первый день Бог знает, что делалось: наехало к нам со всех сторон, со всех деревень тьма-тьмущая народу. Но, кажется, все смололи. А на второй, третий день стали уже выдыхаться, и через несколько дней все дело заглохло: видно, пороху не хватило и денег. Прогорели, в общем».

«Андрей в это время занимался мелиорацией в селе Рогаичевка под Воронежем и там тоже проводил электричество. Надумали они с папой новое дело: устроить для крестьян этого села кино. Там была большущая церковь, помню. Высокая такая. Так вот они в ней поставили какой-то мотор, достали аппарат и все необходимое. Раздули большой самовар, а меня около него поставили – вроде буфета получилось. Сказали, чтобы я чай перед кино наливал и по леденцу бесплатно всем давала. Время было тяжело, а они все за свой счет устраивали. И вот наконец, пустили первое кино. Конечно, на это чудо собралась вся деревня. Электричества-то народ не видал еще, не только кино. Но, к сожалению, эта затея просуществовала тоже недолго, не больше недели, наверное. Прогорели опять».

Это Платонов юноша.

А вот Платонов старый, больной, уже помятый войной и жизнью. Рассказывал хороший человек поэт Виктор Боков. «Помню, поехали мы на Иоанна Предтечу ко мне на родину, в деревню Язвицы. В соседнем селе Выпуково, где я крещен, гуляло тридцать деревень. Какое веселье: ярмарка, девки, частушки, сорок гармоней! Что там фестивали современные – ослабший квас... Платонов был в восторге. Мы с ним пошли на омут реки Куньи купаться. Переплыли омут и он вдруг говорит: «Какой это жулик строил плотину? – тут все материалы украдены!».

Или вот еще: «Приедет, бывало, ко мне в Переделкино, говорит: «Пойдем на станцию Баковку, паровозы глядеть». Паровозы маневрируют, он любуется да еще успеваешь кричать машинисту:

«Пар держи! Клапан закрой!»

И снова Трошкина: «Мы с мужем жили неподалеку. Какое-то время мы снимали комнату на даче в Битцах, рядом с железной дорогой. Когда Андрей приезжал, они уходили на всю ночь слушать паровозные гудки. Раньше-то Петр не любил. По-моему, обо паровозы, а тут – сидят, слушают».

Люди, которые с ним служили и прошли войну, где ничего не скроешь, говорили о нем так же. М.М.Зотов, сослуживец Платонова на войне: «Платонов был неизменным капитаном. Как дали, так и был в одном звании. Мы получали ордена, а он – нет. После войны ушел в запас майором. Может, медальки какие и были».

Но вот дальше. «Насколько я был влюблен в Андрея товарищески, настолько я его не понимал и сейчас еще не совсем понимаю то, что он пишет. В разговоре он был человеком обычным – язык, конечно, острый, чистый, интересный, но вот такого фигурничания у него не было, как при писании».

И эта загадка навсегда уже. Вернее, не загадка – тайна.

А недавно прочитал в Интернете в каталоге книг для КПК, карманного персонального компьютера краткую биографию Платонова для пользователя.

«Андрей Платонович Платонов (настоящее имя – Андрей Платонович Климентов) родился в Воронеже в семье слесаря. В пятнадцать лет был вынужден бросить учебу и пойти работать, чтобы прокормить семью. С энтузиазмом принял революцию, вступил в компартию, участвовал в гражданской войне. После войны окончил Воронежский политехнический институт, работал мелиоратором, руководил строительством воронежской электростанции, позже переключился на журналистику, сотрудничал в местных газетах. В 1921 году вышла публицистическая книга Платонова «Электрификация», в 1922 – сборник стихов «Голубая глубина». В 30-е годы им созданы «Мусорный ветер», «Котлован», «Джан», «Ювенильное море», «Фро», «Высокое напряжение», «Пушкин в лицее», повесть «Река Потудань» (1937). С 1936 года Платонов выступал и как литературный критик. В годы Великой Отечественной войны (1942-45) он был специальным корреспондентом газеты «Красная Звезда». До конца 80-х годов нашего столетия у себя на родине Платонов как писатель был практически неизвестен. Его основные произведения – романы «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море» – были опубликованы в России лишь с началом перестройки».

И опять я подумал, что инженеру Андрею Платонову такое итоговое описание биографии писателя Андрею Платонову бы по-

правилось. Где нет смерти сына, несчастий, слежки ОГПУ, НКГБ, бедности, непечатания, молчания...

Стоять себе в метро и на КПК читать Платонова.

Что-то в этом все-таки есть, правда?

Последнее из известных изобретений Платонова «Электрический сверхъёмкий аккумулятор на принципе сверхпроводимости» сделано в 1947 году. Оно было направлено на отзыв академику А.Ф. Иоффе. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Но заявки, как и рукописи, не горят. Е.И. Таубман, разбивавшийся в технике считал, что Платонов сделал невероятное открытие. Сверхъёмкими аккумуляторами занимались многие. И Никола Тесла в том числе. Это ему не удалось, зато по недостоверным слухам удалось воплотить главную идею инженера Платонова – беспроводную дешёвую передачу электроэнергии.

А вдруг эта заявка найдется и перевернет мир, как вернулись из небытия и перевернули нас «Чевенгур» и «Котлован»...

Ирина Служевская

ДИАЛОГ О ДАНТЕ

19 октября 1965 года Ахматова была приглашена выступить на вечере, посвященном 700-летию со дня рождения Данте. Это было абсолютно официальное, крайне торжественное заседание в Большом театре. Готовясь к нему, Ахматова записала: «И когда недоброжелатели насмешливо спрашивают: «Что общего между Гумилевым, Мандельштамом и Ахматовой?» — мне хочется ответить: «Любовь к Данте». Ахматова не включила этот отрывок в текст «Слова о Данте». Но в торжественном заседании прозвучали те же имена:

«...И между двух флорентийских костров Гумилев видит, как

Изгнанник бедный Алигиери
Стопой неспешной сходит в ад,

А другой мой друг и товарищ, Осип Мандельштам, положивший годы на изучение Данте, пишет:

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигъери пел мощней
Утомленными губами»...

Само публичное называние этих имен, этих запрещенных к упоминанию поэтов, — содержало в себе и гражданскую смелость, и чудесную верность казненным друзьям, и свидетельство неумолимости диалога о Данте, который Ахматова и Мандельштам вели в течение всего опущенного им срока.

В поле этого диалога нас интересует небольшая часть — та, где двум стихотворениям Ахматовой отвечает одно стихотворение Мандельштама.

У Ахматовой Данте предстает как образец гражданской чистоты, купленной по недоступной цене. Ценой тут становится отказ от родины; выбор, которого не смогла сделать Лотова жена. Известно, чем платит эта героиня за «красные крыши родного Содома»: «Взглянула — и, скованы смертною болью, /Глаза ее больше

смотреть не могли; /И сделалось тело прозрачною солью, / И быстрые ноги к земле приросли».

Этой судьбы оставшихся избегает ахматовский Данте. Он избегает гражданской казни, которой в ахматовской лирике 30-х годов соответствует образ «покаянной рубахи». Говоря о покаянной рубаше, Ахматова имеет в виду не высокое христианское покаяние, а вид позорной кары, предполагающей публичное поношение своих верований и поступков, — наказание из кодекса средневекового права. В «Уголовном праве» М.И.Таганцева о процедуре этого обряда сказано: «Публичное покаяние в вине, отречение от своих заблуждений было весьма нередким последствием преступлений суеверных, религиозных, если осужденные за эти деяния почему-либо не подвергались смерти. Такова, например, *amende honorable* (публичное покаяние — И.С.) в двух видах: *simple* и *in figuris* дореволюционного французского права. Тяжкий вид ее состоял в том, что осужденный приводился к дверям церкви или суда, где он, в одной рубашке, босой, с веревкой на шее, держа в руках зажженную свечу, должен был, стоя на коленях, громко заявлять, что он преступно и злоумышленно совершил то-то, посягнув на власть короля или на чью-либо честь, в чем и просит прощения у Бога, короля, судьи и потерпевшего. Как разновидность этой формы, являлось специальное испрошение прощения у церкви, принудительное церковное покаяние».

«Покаянной рубашкой» маркируется шествие, от которого отказался Данте, — в реальности и в ахматовском тексте.

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубаше покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...
(17 августа 1936 года)

О том, что ждало «оглянувшихся», Ахматова написала в 1935 году:

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

В терминах, не допускающих иного прочтения, описана реальность гражданской казни, попрания совести, непоправимого ущерба духа. Так реализуется трагический потенциал, когда-то угаданный в Ахматовой Мандельштамом, видевшим в ней продолжательницу Анненского. В «Письме о русской поэзии» об Анненском сказано: «рожденный быть русским Еврипидом», он «с достоинством нес свой жребий отказа — отречения». Этот голос, «голос отречения», Мандельштам слышит в стихах Ахматовой.

Выделенный нами маленький цикл, который условно можно назвать «Данте и оглянувшиеся», демонстрирует абсолютность трагического зрения, не допускающего иного исхода. У Ахматовой трагедии обречены все. Но Данте, выбирая изгнание, спасает душу. А оглянувшиеся, для которых родина обернулась вертепом, в парадигме ахматовской поэзии 30-х годов душу губят. Позже Ахматова найдет для них оправдание, поскольку для нее все искупается выбором общей судьбы:

Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед господом свеча, —
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы-палача.

Но в 30-е годы трагическая лирика Ахматовой не видит испу-пительной альтернативы роковой судьбе русского поэта, сияющим антиподом которого остается Данте. Посмотрим, чем отвечает на это Мандельштам.

Стихотворение, в котором продолжается диалог о Данте, входит в так называемый «небесный» цикл Мандельштама. Вот оно:

Не сравнивай: живущий несравним.
 С каким-то ласковым испугом
 Я согласился с равенством равнин,
 И неба круг мне был недугом.
 Я обращался к воздуху-слуге,
 Ждал от него услуги или вести,
 И собирался плыть, и плавал по дуге
 Неначинающихся путешествий...
 Где больше неба мне — там я бродить готов,
 И ясная тоска меня не отпускает
 От молодых еще воронежских холмов
 К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Для меня очевидно, что это стихотворение резонирует с ахматовским стихотворением о Данте, отвечает ему. В ахматовской версии каждому дана его мука: Данте — неотвратимость изгнания, русским поэтам — позор рубахи покаянной («нам со свечой идти и выть»). С неумолимостью графика Ахматова исключает возможность иного распределения. От этой предпрешенности Мандельштам отказывается немедленно, в первой же строке, отвергая самую возможность уподобления:

Не сравнивай: живущий несравним.

В последней строфе, где возникает параллель Воронеж-Тоскана, становится ясно, что отрицается именно выстроенная Ахматовой антитеза. Этой жесткой исторической альтернативы Мандельштам не приемлет. Размыкая ее границы, уходя к высотам эмпирии, рая, Бога, блага и других головокружительных перспектив, Мандельштам устанавливает не различие, а подобие между собой и флорентийцем: общую небесную родину.

Стихотворение принадлежит сразу нескольким крупным и важным контекстам мандельштамовской лирики. Это, во-первых, тема насильственной прикрепленности, где «равенство равнин» («Я согласился с равенством равнин») намекает на «этот медленный, одышливый простор! — / Я им пресыщен до отказа, — / И отдышавшийся распахнут кругозор — / Повязку бы на оба глаза», а воображаемое плаванье «по дуге неначинающихся путешествий» тянет за собой: «лишив меня морей, разбега и разлета / И дав стопе упор насильственной земли» или «разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева, / И парус медленный, что облаком продолжен, — / Я с вами разлучен, вас оценив едва: .../ Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье / Иль этот ровный край — вот все мои права, — — / И

полной грудью их вдыхать еще я должен».

Второй важнейший контекст нашего стихотворения — так называемый небесный цикл. В этих стихах небо воплощается как абсолютно дантовская по духу область вечного блага и могущественного света. Приведу самые важные строчки этого цикла:

Я скажу это начерно, шопотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.
И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

• • •

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
...Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...
И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше —
Отклик неба — в остывшую грудь.

• • •

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задышаться, чернеть, голубеть.
Если я не вчерашний, не зряшний, —
Ты, который стоишь надо мной,
Если ты виночерпий и чашник —
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни —
Рукопашной лазури шальной...

• • •

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распускает на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.
Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом, —
Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом...

• • •

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.
А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.
Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.
И я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу...

Небо Мандельштама сохраняет все черты дантовского источника: иерархичность, четкую разграниченность категорий, несомненность абсолюта добра. В то же время это сугубо мандельштамовский образ, вибрирующий от оттенков, от духовного разнообразия, от изобилия метафизических подробностей. С одной стороны, вечное небо как прижизненное достояние человека: «счастливое небохранилище — раздвижной и прижизненный дом». С другой стороны, небо как пир «лазури шальной» — как обитель особой вольности сбежавшего ссыльного. С третьей, — свет, по-дантовски направляющий человека для бытия, для духовного веселья. С четвертой, — звездный луч, близкий слабости и

хрупкости («что шопотом могуч и лепетом согрет»). И все эти названные и неназванные оттенки, категории, обстоятельства входят в образ неба как вечного убежища, принимающего к себе готового вечно бродить беглеца. Юрий Иосифович Левин замечательно определил суть этого стихотворного события: «В январе 1937 года пишется «Где больше неба мне — там я бродить готов», а в марте один за другим идут стихи о небе, со все большей приближенностью к нему — мы как будто присутствуем при чуде вознесения».

Есть тут еще один лирический поворот. Одновременно с небесным циклом пишется другой — знаменитый цикл «Стихи о неизвестном солдате». Свет и небо там анти-дантовские:

Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опзрачненный
Светлой болью и молью нулей.

И дальше:

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте, —
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!
Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей, —
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —

И еще:

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.
Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?
Слышишь, мачеха звездного табора,

Ночь, что будет сейчас и потом?

Так вступают в противоборство два мандельштамовских неба. М. Л. Гаспаров отводил стихотворению «Я скажу это начерно, шепотом...» (с его строкой о «счастливом небохранилище») — роль послесловия к «Стихам о неизвестном солдате», завершённым примерно в это же время (февраль-март 1937 года). В широком смысле все стихи «небесного» цикла являются послесловием к «Неизвестному солдату», — именно потому что они ему противостоят. То, что А.К.Жолковский называет амбивалентностью Мандельштама, есть на самом деле проявление пушкинского закона притяжения существа (Гаспаров подробно описал значение этого закона для Мандельштама.) В поздней поэзии Мандельштама этот закон проявляется как примирение противоположностей — по-пушкински сбалансированный акт. В «Неизвестном солдате» небо и сопряженный с небом свет несут человечеству гибель. Небо «Неизвестного солдата» — окопное небо, небо крупных оптовых смертей, небо, где огонь тускл, а звезды принимают цвет крови и названы «ядовитого холода ягоды», — это, естественно, небо «Ада». Поскольку поэзия Мандельштама возрождает дух Данте и соизмерима с этим великим духом, в воронежских стихах не могло не явиться другое небо — небо рая. И если стихотворение «Я скажу это начерно, шепотом» стало первым возвращением дантовского неба в воронежские тетради, то одним из кульминационных моментов этого возвращения стала знаменитая строфа — выражение высокого поэтического кредо:

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Диалог о Данте, к контурам которого мы сейчас прикоснулись, подтверждает ожидаемое. Генетически единая тоска по мировой культуре дает разные побег: слово и судьба Данте оживают и в трагической графике Ахматовой, и в лирике Мандельштама, где небо и вечность становятся выходом из самоубийственных противоречий века.

Валентина Мордерер

«МЕРКНУТ ЗНАКИ ЗОДИАКА...»

*Tristia miscentur laetis.*¹

Ovidius

*В Рим свои Tristia слал с берегов Понтийских Овидий;
К Понту из Рима я шлю – Laeta: бессмертным хвала!..
Вячеслав Иванов. “Laeta”*

Ранее, 1908 года, стихотворение Хлебников назвал “Скифское”, отбросив предыдущее название – “Подруга”. При жизни поэта текст опубликован не был, и впервые его черновая редакция увидела свет во втором томе Собрания сочинений (1930). Прозрачный текст со множеством архаизмов построен как хитроумная стихотворная загадка, ответ на которую не дает ни одно из его названий:

Что было — в водах тонет.
И вечерогривы кони,
И утровалса дева,
И нами всхожи севы.

И вечер — часу дань,
И мчатся вдаль суда,
И жизнь иль смерть — любое,
И алчут кони боя.

И в межи роя узких *стрел* —
Пустили их стрелки —
Бросают стаи конских *тел*
Нагие ездоки.

И месть для них — узда,
Желание — подпруга.
Быстра ли, медленна езда,
Бежит в траве подруга.

В их взорах голубое
Смеется вечно ведро.

¹ С печальным мешается радостное (Овидий).

Товарищи разбоя,
Хребет сдавили бедра.

В ненастье любят гуню,
Земля сырая — обувь.
Бежит вблизи бегунья,
Смеются тихо оба.

[Его плечо высоко,
Ее *нога* упруга,
Им не страшна осака,
Их не остановит куга.]

Коня глаза косы,
Коня глаза игривы:
Иль злато жен косы
Тяжеле его гривы?

Качнулись ковыли,
Метнулись навстречу.
И воров ковы лить
Грядет в предвестьях речи.

Сокольных крыл колки,
Заморские рога.
И гулки и голки,
Поют его рога.

Звенят-звенят тетивы,
Стрела глаз юный пьет.
И из руки ретивой
Летит-свистит копьё.

И конь, чья ярь испытана,
Грозит врагу копытами.
Свирепооки кони,
И кто-то, кто-то стонет.

И верная подруга
Бросается в траву.
Разрезала подругу,
Вонзила нож врагу.

Разрежет жилы коням,
Хочет и смеется...

То жалом сзади гонит,
В траву, как сон, прольется.

Земля в ней жалом жалится,
Таится и зыбит.

Змея, змея ли сжалится,
Когда коня вздыбит?

Вдаль убегает насильник.
Темен от солнца могильник.
Его преследует насельник
И песен клич *весельный...*

О, этот час угасающей битвы,
Когда зыбятся в поле молитвы!..
И, темны, смутны и круглы,
Над полем кружатся орлы.

Завыли волки жалобно:
Не будет им обеда.
Не чуют кони жала *ног*.
В сознании — победа.

Он держит путь, где хата друга.
Его движения легки.
За ним в траве бежит подруга —
В глазах сверкают челноки.

<Конец 1908>

Комментируется обычно хлебниковский набор славянизмов к скифам, впрочем, имеющий весьма приблизительное отношение (гуня-одежда, ковы-злоумышления, куга-тростник и т. д.).

Ответ содержит последняя строчка (как и положено в заправской загадке): “В глазах сверкают челноки” (или вариант: “Ее глаза — среброчелноки”). Что на специфически “охотничьем” или кинологическом языке означает “челночный ход” собаки. Веселая подруга отважного воина, столетиями спящего со своим верным конем в “могильнике” — собака (или уж совсем попросту — надежный “пес”).

Утонувшее в темных водах истории возрождается поэтом (“И нами всхожи севы”). Но что посеешь, то и пожнешь: “Хлебников шутит — никто не смеется” (Мандельштам). Велимировый Ренессанс, хоть и удалой, но какой-то низкорослый, он застрял между скоморошеством и романтизмом, а потому взыскательный вкус

временами рубрицирует его по разряду графоманства. Поэтические казусы собачьих метаморфоз в мировой тоске продемонстрировали Федор Сологуб и Маяковский, еще более близка сердцу жалостливая бесда Есенина с актерским Джимом — все это высокие образцы. Зачем Хлебникову понадобился гимн архаической собаке, да еще потаенный?

Хлебников пересказывает “Историю” Геродота в той ее части, где повествуется о своеобразном способе охоты соседствующего со скифами племени. Геродот подробно описывает Скифию и сопредельные территории:

“19. Восточнее этих скифов-земледельцев, на другой стороне реки Пантикапа, обитают скифы-кочевники; они вовсе ничего не сеют и не пашут. Во всей земле скифов, кроме Гилеи, не встретишь деревьев. Кочевники же эти занимают область к востоку на десять дней пути до реки Герра.

20. За рекой Герром идут так называемые царские владения. Живет там самое доблестное и наиболее многочисленное скифское племя. Эти скифы считают прочих скифов себе подвластными. <...>

21. За рекой Танаисом — уже не скифские края, но первые земельные владения там принадлежат савроматам. <...> Выше их обитают, владея вторым наделом, будины. Земля здесь покрыта густым лесом разной породы.

22. За будинами к северу сначала простирается пустыня на семь дней пути, а потом далее на восток живут фиссагеты — многочисленное и своеобразное племя. Живут они охотой. В тех же краях по соседству с ними обитают люди по имени иирки. Они также промышленляют охотой и ловят зверя следующим образом. Охотники подстерегают добычу на деревьях (ведь по всей их стране густые леса). У каждого охотника наготове конь, приученный лежать на брюхе, чтобы меньше бросаться в глаза, и *собака*. Заметив зверя, охотник с дерева стреляет из лука, а затем вскакивает на коня и бросается в погоню, *собака же бежит за ним*»².

Поэт живописует не сцены охоты, а боевые стычки воинственных племен. «Подруга» удалых воинов, следует признать, отменно замаскирована. Трудно предположить, что к собаке относятся строчки, в которых ее «образ» предельно очеловечен: «Ее *нога* упруга», «Разрезала подпругу / Вонзила *нож* врагу». В этом арха-

² Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972, с. 192 (пер. Г.А. Стратановского).

ичном батальном опусе поразительно много смеха: «В их взорах голубое / *Смеется* вечно ведро», «Бежит вблизи бегунья, / *Смеются* тихо оба». Антропоморфная подруга ведет себя уж и вовсе не по-собачьи: «Разрежет жилы коняем, / *Хочочет и смеется*». Именно в этой скифской «оде радости» кроется и подвох и пафос стихотворения: «И песен клич *весельный*». То ли праздник победы, то ли украинизированная свадьба-весілля. Автор “Заключения смехом” написал текст-загадку о воинах и “вечерогривых” конях по мотивам Геродота, но главная разгадка и герой стихотворения все же не верная собака, а Смех. “Предвестьем речи” современного поэта служит “утонувшее” в мертвой латыни обозначение того, что “радостно, *весело*» – слово *laete*. (Хлебников отступает от правил чтения и “транскрибирует” буквалистски – “лаете”.) Проливающаяся “в траву, как сон”, собака – хочочет и смеется, попросту *лает*. Она перекусывает ремни седла, вгрызается клыками в тело: «Разрезала подпругу, / Вонзила *нож* врагу».

Текст содержит отклики и «эхо» еще одного слова, скрывающего ответ на вопрос ребуса: «кто это?». Свободно мутирующая цепочка слов «нога» – «наг» – «нож» несет еще одну ловко скрытую разгадку. «*Нога*» («ее *нога* упруга»; «не чувят кони жала *ног*») в латыни – это «*pes*», тот самый верный пёс, мужской аналог “босоногой подруги”. Эхо ноги – “наг” (“*нагие* ездоки») – это знакомый нам по Кишлингу («Рики-Тики-Тави») санскритский «змея» – «*Змея, змея ли сжалится*». А несуразный «нож» в стихотворении (замена собачьих клыков) оказывается уменьшительным родственником «ноги» («ножка»).

Текстовая ткань стиха насквозь пронизана русско-латинскими звуковыми переключками. Например, земля (*tellus*), стрела (*telum*), ткань и замысел (*tela*), – “*Земля сырая* – обувь», «*Земля* в ней жалом жалится», «Ив межироя узких *стрел* <...> Бросають стаиконских тел». Свободная стихия поэзии позволяет петь («*cano*»), сближать и смешно смешивать “коней” с “*canis*”-собакой, бегущей в куге-камыше (“*capna*”), и с тем, что “канет”-тонет в водах седой (“*capus*”) древности.

Все описано и запрятано с хитроумием Улисса и со скифской *смелостью*, которую Хлебников и находит однокоренной со словом *Смех*: «О, иссмейся рассеяльно, смех надсмеяных смеячей! / Смейево, смейево...» Итак, его архаическая подруга – ловкий напарник СМЕХА. Из этого смешения рождается песнь-канцона о тайне слов.

Валентина Полухина

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ БРОДСКОГО В АНГЛИИ*

Бродский по-английски существует, как известно, в трех ипостасях: как английский эссеист, как автор английских и как переводчик собственных стихов. Парадокс восприятия Бродского в Англии заключается в том, что с ростом репутации Бродского-эссеиста ужесточались атаки на Бродского поэта и переводчика собственных стихов. Первая книга эссе поэта, *Less Than One* получила в Америке премию лучшей критической книги года. Она была признана и в Англии «лучшей прозой на английском языке за последние несколько лет» некоторыми авторитетными критиками и поэтами.¹ Менее щедро осыпан комплиментами второй сборник эссе *On Grief and Reason* (Hamish Hamilton, 1996), однако подавляющее большинство оценивают их положительно: они неизменно дают пищу для ума и восхищают стилистически. Peter Robinson: «The essay on «September 1, 1939» is one of the most inspired readings of a single poem I have ever come across». Кэрол Руменс пронизательно замечает, что многие эссе Бродского похожи на стихи, а стихи на эссе.²

И тут будет кстати напомнить о том, роман Бродского с английским языком, с англосаксонской культурой вообще, по его собственному признанию, начался, когда ему было 17-18 лет: «В моем случае наш роман зашел несколько дальше прогулок под луной, это нечто вроде супружества.

Английский язык стал моей реальностью».³ К сожалению, эти чувства Бродского, как правило, оставались безответными: Бродского-поэта любили в Англии немногие, хотя и нежно. И даже любящие: сэр Исая Берлин, Шеймус Хини, Джон ле Карре, Клайв Джеймс, Алан Дженсинс, Глин Максвелл (Glyn Maxwell) любили его с большими оговорками, любили скорее обаятельного и умного собеседника, чем поэта. Я не буду сейчас цитировать высокие оценки Одена, Стивена Спендера, Д. М. Томаса, Как правило, «английского» Бродского хвалят за христианскую тематику,⁴ за вопрошающий интеллект и сложный поток мышления,⁵ за терпкий юмор и остроумие высшего порядка,⁶ за изобилие афоризмов,⁷ богатство

* см. примечания к тексту в конце статьи (стр. 260)

культурных аллюзий⁸ и за техническую виртуозность. Другими словами, за то же, за что хвалят и любят его российские читатели и критики, только их список достоинств Бродского значительно короче. У меня в архиве набралось больше 20 ответов английских поэтов на мой вопросник о Бродском, Среди них есть высказывания типа «I don't believe Brodsky stirs up great interest among the poets I know»,⁹ но есть и высокие оценки Теда Хьюза, Питера Робинсона, Роя Фишера, Карэл Руменс, но, как правило, их краткие или довольно общие ответы скомпрометированы их незнанием русской поэзии и русского языка.

Здесь мне хотелось бы еще раз разобраться в том, за что Бродского упрекают, почему его не любят, не принимают в Англии. Его упрекают за разговорные обороты и прозаизмы, за чуждую английской поэзии просодию, за смешение стилей и дурной вкус, за вычурные и комические рифмы, за перегруженность стихотворения смыслом, наконец, за увлечение высокими темами и абстрактными категориями. Доналд Дэви полагает, что Бродский настолько перегружает свои стихи тропами, что не дает словам дышать.¹⁰ Даже его виртуозный синтаксис многим не по вкусу. Знаменитый критик и поэт Алфред Алварез убежден, что Бродский не понял сути английской поэтики: вместо простоты и упругости – у Бродского интеллектуальное переусложнение и суетность; вместо почти новорожденной обнаженности – у Бродского риторическая пышность и техническая показушность. Все без исключения глухи к концептуальной функции его тропов и анжабеманов. Энн Стивенсон автопереводы Бродского кажутся просто банальными. Именно потому, что Бродский к концу жизни все чаще переводил себя сам, он давал все основания относиться к нему, как к английскому автору, без снисхождения, а главное без учета принципиально иного понимания сути самой поэзии. Блэйк Моррисон, восхищаясь интеллектуальностью прозы Бродского, его вулканическим умом, постоянно извергающим идеи, считает, что в английской версии его стихи не достигают ни эстетических высот его прозы, ни высоких стандартов его жизни.¹¹ Петер Леви считает Бродского второстепенным поэтом, плохим имитатором Одена.¹²

Похоже, что эта невписываемость поэзии Бродского в современный английский поэтический пейзаж и определяют тон и суть большинства рецензий и статей об английском Бродском. И тут мне придется повторить несправедливые нападки, почти злобную атаку ('blestering attacks', как назвал эти статьи Д. Уэйсборт) на Бродского таких влиятельных в Англии поэтов, как Кристофер Рид¹³ и Крейг Рэйн.¹⁴ Для непосвященных замечу, что оба поэта

много лет по очереди сидели в кресле Т. С. Элиота, занимая место поэтического редактора одного из самых престижных издательств, Faber & Faber. По мнению Рида, Бродскому 1988 года еще далеко до мастерства Набокова. Тут будет кстати вспомнить, что сказал сам Бродский о неоднократных параллелях с ситуацией Набокова: «Это сравнение не слишком удачно, поскольку для Набокова английский – практически родной язык, он говорил на нем с детства. Для меня же английский – моя личная позиция. Я испытываю удовольствие от писания по-английски. Дополнительное удовольствие – от чувства несоответствия: поскольку я был рожден не для того, чтобы знать этот язык, но как раз наоборот – чтобы не знать его. Кроме того, я думаю, что я начал писать по-английски по другой причине, нежели Набоков – просто из восторга перед этим языком».¹⁵

Нас особенно смущает грубость невежественной рецензии Крейга Рейна на последний английский сборник стихов Бродского *So Forth: Poems* (Hamish Hamilton, 1996) и на сборник эссе *On Grief and Reason: Essays* (Hamish Hamilton, 1996). Грубость ее уже в самом названии и в тоне всей рецензии, невежество в интерпретации стихов. Как и Кристофер Рид, Рэйн обрушился на автоперевод стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку», не заметив в нем присутствия не только теней Ахматовой и Гейне, но и теней Овидия и Данте, чью поэзию он, казалось бы, должен знать по роду своей профессии – он преподает в Оксфордском ун-те.¹⁶ Говоря о «раздутой репутации» Бродского, Крейг Рэйн упрекает Бродского в отсутствии ясности и чудовищном многословии («garrulous lack of clarity and his prodigious padding»), а также в том, что английским языком Бродский по-настоящему не владеет. В своих оценках он апеллирует к мнению о поэте Ахматовой: «Он появился на Западе, будучи рекомендован Исаею Берлину и Стивену Спендеру Ахматовой, которая во время получения почетной докторской степени в Оксфордском университете, отвечая на вопрос, кого она считает интересными поэтами среди молодых, назвала имя Бродского. Интересным и не более того. Скромная похвала.»¹⁷ Он явно не читал ни книги Наймана об Ахматовой, ни *Записок об Анне Ахматовой* Лидии Чуковской, давно переведенных на английский язык.

Такую же недобросовестность и неосведомленность он проявляет, когда ставит под вопрос мнение Одена о Бродском под предлогом, что Оден был знаком со стихами Бродского только в переводах. Как будто сам Крейг Рэйн читал их в оригинале. В отличие от Крейга Рейна, Оден, как и Ахматова, при первой же встрече распознал талант Бродского. Крейг Рэйн ищет поддержки и у Шеймуса Хини, написавшего две статьи о Бродском, из которых Крейг Рэйн выбирает два эпитета для английских стихов Бродского: «не-

уклюжие и искаженные» («awkward and skewed»)¹⁸. Вторую статью Хини «Певец историй»¹⁹ Крэг Рэйн замалчивает, а между тем, в ней Хини говорит о «напряженности и дерзости» гения Бродского, о его «почти дикой интеллектуальной заряженности» и электризирующей манере чтения. Как это далеко от мнения Крэйга Рэйна, считающего, что как мыслитель Бродский «глуп и банален» («as a thinker, Brodsky is fatuous and banal»).

В этих и в других статьях в скрытом, но легко обнаруживаемом, виде содержатся и другие причины неприятия Бродского английскими литераторами. Как ни странно, некоторые из них внелитературные, чисто политические и психологические. Начнем с того, что с первых дней своего пребывания вне Советского Союза Бродский отказывается следовать модели изгнанника. В нескольких интервью он отказывается от звания диссидента, отказывается «мазать ворота своего дома дегтем»²⁰ и вообще отказывается делать трагедию из своего изгнания и наживать на этом капитал. Подобные заявления Бродского отпугнули от него всю левую интеллигенцию. Чтобы понять, какую цену Бродский заплатил за свои независимые взгляды не только в России, но и на Западе, достаточно сравнить его репутацию поэта, пострадавшего от тирании, с репутацией Ратушинской, которая никогда не разочаровывала английских журналистов и литераторов, оставаясь the darling of the English Press and English poets до последнего дня своего пребывания в Англии. Похвала Бродского ее стихам, написанным в тюрьме, была воспринята буквально как критиками, так и самой Ратушинской.

«Нам нравится, когда русские поэты страдают,» – не без иронии заметила Карэл Руменс.²¹ Когда же русский поэт отказывается страдать и становится поэтом-лауреатом другого государства и вторгается на чужое поэтическое пространство, то количество стрел, направленных в его сторону, увеличивается пропорционально росту его славы. И тут Карэл Руменс попала в самую точку. Англичане редко принимают в свою компанию, в свой клуб чужих, а Бродский для них чужой дважды – и как русский и как американец. «Англичане очень подозрительно и негостеприимно относятся к тем, кто вторгается в их литературу, – говорит Даниэль Уэйсборт, – а он вроде как вторгается».²² И никому не нравится, когда то, что ты отвергаешь, высоко оценивается другими. Когда Бродский получил Нобелевскую премию, Ал Алварез сказал: «Если он может получить Нобелевскую премию, то и я могу». Многие думали так же, но по-умному промолчали. Алварез эту завистливую мысль озвучил.²³

Джон Бейли называет еще одну любопытную причину непопулярности Бродского среди английских поэтов – глубокую привязанность Бродского к Одну.²⁴ Бродского в Англию привез,

как известно Оден, и опекал его, как младшего брата. По словам биографа Одена: «Wystan fussed about him like a mother hen, an unusually kindly and understanding mother hen».²⁵ Эта опека имела как положительные последствия, так и отрицательные. Положительные самоочевидны. Отрицательных, по крайней мере, два: покровительство такого гиганта как Оден вызывало зависть у одних и неприязнь у других, в частности, у тех, кто воспринимал отъезд Одена в Америку и отказ от английского подданства как предательство.

Высказывания Бродского об Одене поэтов, не любящих Одена, сильно раздражали. Никогда никто из английских критиков и поэтов не называл Одена «величайшим умом двадцатого века» (V, 256), никто из них не ставил его так высоко как поэта, и вдруг является какой-то самоуверенный иностранец, говорящий с акцентом по-английски, и заставил их посмотреть на Одена другими глазами. Оден и Бродский, считает профессор Бейли, единственные из великих поэтов их поколения, кого можно назвать по-настоящему цивилизованными поэтами.²⁶

Никто из благожелателей Бродского не станет утверждать, что он был самым тактичным человеком. Его независимость суждений и прямота высказываний никак не помогли ему наладить отношения с англичанами. Приведу для примера три отзыва о Бродском человеке. Писатель и журналист Michael Glover: «His insights can be brilliant. But he is so ill at ease – by turns arrogant, dismissive, bored, disdainful, impatient with quality of the translations – that it is often difficult to pay attention to what he is saying».²⁷ Поэт и переводчик Дэниэл Уэйсборт: «Первичным для меня было мое ощущение его душевного величия, его душевной прелести...».²⁸ Поэт и профессор Питер Леви: «He drank much too much, he was as racist as a Tsarist officer of 1900. But a brilliant poet».²⁹ По мнению Шеймаса Хини, Бродский демонстрировал свободу и достоинство.³⁰

«Смешно, когда англичане или американцы пытаются понять Бродского», – по-русски записывает профессор Мартин Дьюхерст на полях рецензии двух русских сборников Бродского *Часть речи* и *Конец прекрасной эпохи*, написанной другим английским профессором, знающим русский, Генри Гиффордом. Это довольно пространный рецензия одна из самых доброжелательных статей о поэзии Бродского: «Whatever Brodsky may fear, he is still marvellously at home in the language. At the same time, he is putting exile to good use, by seeking out affinities and extensions». Проф. Гиффорд заканчивает словами: «...the best poetry from America in recent years is the work of this Russian».³¹ Не смешно, а грустно, когда даже слависты, толкующие Бродского и прекрасно знающие язык, заявляют (например, Джерри Смит): «Мне представляется невероятным, чтобы

кто-нибудь действительно мог любить написанное Бродским» («I find it incoceivable that anyone should actually love what he writes»). Или еще раньше: «Brotsky is not, has never been, and never will be a popular poet in any sense, simply because his poetry lacks what great popular poets must have: human appeal».³²

Если мы вернемся к чисто литературным делам, то мы разглядим еще одну причину столь больших расхождений между оценками Бродского прозаика и Бродского поэта: степень вмешательства поэта в английские переводы. Напомним, что первые два английских сборника Бродского, *Selected Poems* (Penguin, 1973) с предисловием Одена и *A Part of Speech* (OUP, 1980), за двумя-тремя исключениями, получили в основном благожелательные оценки. Все стихи первого сборника переведены одним человеком – профессором Джорджем Клайном. В работе над вторым сборником, помимо профессора Клайна, принимали участие еще 9 переводчиков и поэтов, (Алан Майерс, Дэвид Макдаф, Харвар Мосс, Барри Рубен, Дэвид Ригсби, Дэниэл Уэйсборт, Ричард Уилбер, Антони Хект и Дерек Уолкотт). В этом сборнике мы найдем только одно стихотворение, написанное Бродским по-английски – 'Elegy: for Robert Lowell'; несколько переводов сделано в соавторстве с Бродским; имя автора как единственного переводчика стоит под циклом «Часть речи» (15 стихотворений), хотя мне известно, что первоначально этот цикл стихотворений перевел Дэниэл Уэйсборт и опубликовал их в журнале *Poetry* и даже был удостоен за эту работу престижной награды.³³ Но переводы эти Бродского не удовлетворили, он нашел их метрически слабыми и пере-перевел их сам, настолько изменив, что Дэниэл отказался от соавторства и обвинил Иосифа чуть ли не в плагиате.³⁴ В моем архиве хранятся также переведенные Аланом Майерсом цикл «Часть речи» и стихотворение «Декабрь во Флоренции» – последнее тоже было переработано Бродским до неузнаваемости. Бродский извинился перед тем и перед другим, но продолжал стоять на своем.

Таким образом, Бродский приложил руку к 26 из 52 стихотворений, вошедших во второй английский сборник. В третьей английской книге, *To Urania* (Penguin, 1988), из 46 стихотворений 23 переведено самим поэтом, 8 вместе с Аланом Майерсом, Питером Франсом и Джоржем Клайном; 12 – написано по-английски, и только 2 стихотворения и поэма «Горбунов и Горчаков» (Harry Thomas) переведены новыми переводчиками Бродского ('Seven Strophes' – Я был только тем... Paul Graves; «На выставке Карла Вейлинка» – Jamey Gambrell). Вовлеченность Бродского в свои английские тексты достигала максимального уровня в последнем английском сборнике *So Forth* (1996). В нем мы не найдем ни одного переводчика, кроме самого поэта: 44 стихотворения переведено и 20 написано

по-английски. Этот посмертный сборник и есть, в сущности, квинтэссенция английского Бродского.

И тут нам следует коснуться еще одной серьезной причины холодного отношения к переводам самого Бродского – его теории перевода. По мнению Дэниэла Уэйсборта, независимость суждений Бродского о переводах русских стихов на английский, будь то стихи Мандельштама, Ахматовой, Хлебникова или его собственные, его идеи перевода поэзии, которые он пытался реализовать сам и навязывал своим переводчикам, сослужили ему дурную службу – поссорили его со многими поэтами и переводчиками. Он часто относился к переводам других как к черновикам, над которыми еще надо работать и работать. Для него любой перевод был лишь – повод для нового перевода. Дело в том, что он не терпел неточностей, настаивая на сохранении исходного метра и схемы рифм и требуя при этом, чтобы перевод звучал как добротное английское стихотворение, дающее наиболее полное представление об оригинале. Он готов был принести в жертву рифме – риторические фигуры, в жертву просодии – синтаксис, в жертву форме – все, включая смысл. И приносил.³⁵ «Обидно видеть стихотворение на плохом английском», – говорил он.³⁶ Неудивительно, что почти все его переводчики постепенно его оставили, и в результате он был вынужден заниматься этим не совсем приятным делом сам.

Напомню, что Бродский не разделял мнения Набокова о том, что поэзия – это то, что теряется в переводе. Он был убежден, что любая поэзия переводима. Один и тот же поэт может быть переведен удачно и неудачно, все зависит от того, насколько переводчик конгениален поэту, насколько он опытен, трудолюбив и верен оригиналу. Пятистопный ямб остается пятистопным ямбом на любом языке, но им надо пользоваться не механически, а с мастерством, воображением и талантом. Все три формальных аспекта стихотворения: метр, рифма и система тропов могут быть и должны быть переведены на другой язык наиболее точным и привлекательным образом. Его теория перевода, если так можно назвать рассеянные по рецензиям и интервью его высказывания о переводе, родилась из его практики переводчика.³⁷ Если он, 23-летний юноша с плохим знанием английского, мог перевести на русский такого сложного поэта, как Джон Донн, он имел все основания думать, что нет ничего невозможного. Он так и заявил на Кембриджском международном поэтическом фестивале в июне 1981 года огромной аудитории слушателей и пяти переводчикам Мандельштама, обсуждавшим трудности перевода стихотворения «За гремящую доблесть грядущих веков». Когда его попросили высказаться, его первыми словами были: «Nothing is impossible», что было воспринято как всего лишь типичная бродская надменность.³⁸ Когда он

понял, что в английском гораздо меньше рифм, чем в русском, а те, что есть, давно использованы или скомпрометированы массовой культурой, он принял это как новый вызов, который утяжеляет задачу.³⁹ Вопреки всему западному опыту последних десятилетий Бродский считал, что классическая просодия не должна быть переведена свободным стихом (*verse libre*). Надо сказать, что его взгляды на поэтический перевод разделяли немногие. Будучи иностранцем, он оставался в меньшинстве. Его высказывания о переводе не имели шанса обрести какой-либо вес рядом с мнением таких авторитетных переводчиков, как Стэнли Кюниц, Макс Хейвуд или Роберт Лоуэлл. И тем не менее, Бродский, по мнению Дэниэла Уэйсборта, был чаще прав, чем не прав. И стихи его в автопереводах звучали менее вторично, чем в переводах англичан и американцев.

Профессор Уэйсборт, рассказывая о трудностях перевода поэзии Бродского на английский, не скрывает своих обид на поэта, но он также говорит и о том, как Иосиф не раз налаживал их отношения своей нежностью, залечивал раны уязвленного самолюбия переводчика своей беззащитностью и напоминаем об общем деле – служению языку, не терпящему второсортности. С годами он все больше чувствовал свою ответственность перед английским языком и внушал это же чувство своим переводчикам. Дэниэлу Уэйсборту он однажды сказал по поводу его переводов стихов Горбаневской: «Умри вы завтра, хотели бы вы, чтобы о вас судили по этим переводам?»⁴⁰ Своей откровенностью высказываний, своей прямоотой, стилистической эксцентричностью письма, упрямством аргументов Бродский давал немало поводов для нападок. Но понять его можно: от качества переводов зависела его репутация. Как заметил Дэниэл Уэйсборт, если бы Бродский жил в России, переводы не обрели бы для него такую же важность, какую он придавал им, живя на Западе.

Бродский действительно был озабочен тем, чтобы его английские тексты не выглядели вторичными, не хотел, чтоб его «одомашнивали» даже переводившие его поэты с именем. Никакой косметики, даже самой дорогой и известной. Пусть будут видны все шрамы и морщины, и его знаменитые веснушки пусть останутся незапудренными. Но – дальше следовало большое и невозможное «но» – но переведенное на английский стихотворение должно восприниматься носителями языка как самостоятельное, на этом языке написанное. Не приходится удивляться тому факту, что он оставил после себя по обеим сторонам Атлантического океана вереницу переводчиков, чье самолюбие до сих пор кровоточит от обид. И как бы на него ни нападали, он продолжал делать то, во что верил. Триумф его в том, что он приближался к идеалу, и в некоторых своих английских стихах его почти достиг. Шеймус Хини считает, что его последнее английское стихотворение 'Reveille'

(«Побудок») – шедевр: «Читая стихотворение Бродского 'Reveille', с языком насыщено многозначным, суггестивным, где смешаны мысль, звучание и языковая игра, я ассоциирую это из пишущих на английском с Хопкинсом...».⁴¹ Кэрол Руменс тоже считает, что его английские стихи более естественны и изысканы, чем его переводы. На этом фоне звучит авторитетный голос профессора Джона Бейли: «Я уверен, что Бродский русский поэт, а не в коем случае не англо-американский. Для меня его английские стихи вовсе не поэзия в том смысле, в каком его русские стихи есть высокая поэзия».⁴²

Сам Бродский отдавал себе отчет в том, что ситуация далеко не идеальная и осознавал недостатки своих переводов, как он осознавал несовершенство своего английского, письменного и устного. Предлагая читать переводы своих стихов носителю языка, он говорил: «Я мог бы и сам их прочесть, но стихи мои и так уже сильно пострадали во время перевода, и я не хотел бы своим акцентом нанести им дополнительное оскорбление».⁴³

К автопереводам Бродского можно предъявить несколько претензий. Во-первых, он свободно обращается с собственным текстом. Так, без какой-либо необходимости, ритмической или семантической, в переводе стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку» он меняет местами слова «дважды» и «трижды»: «трижды тонул, дважды бывал распорот», по-английски звучит как «twice have drowned, trice let knives rake my nitty-gritty». Он создает анжамбеманы, которых нет в оригинале, например, между строками 5 и 6, 13 и 14. Невозможность найти в английском языке рифму к слову «солидарность» вынуждает Бродского воспользоваться клише: 'You can't make an omelette without breaking eggs' (не разбив яйца, омлета не сделаешь). Упрямый воин с любимыми клише, стучавшимися в его лингвистические двери, Бродский перефразировал и это, тем самым увеличив длину строки, зато получил рифму vomit/from it. В английском рифмы обычно не привлекают к себе внимания; рифмы же Бродского либо оригинальны до экстравагантности: «a brilliant addity that native speakers are unlikely to land upon»,⁴⁴ либо комичны и напоминают рифмы известного английского парадоста William Gilbert (1836-1911, автора либретто к оперетте 'Gilbert and Sullivan', music by Sir Arthur Sullivan). Многосложные женские рифмы в английской поэзии вообще комичны в духе забавных рифм Огдена Нэш (американского поэта-юмориста, 1902-1971). Для английский поэтов, считает Доналд Дэви, такие рифмические схемы Бродского, как АААВВВССС (Декабрь во Флоренции) выглядят крайне неестественными.⁴⁵ И чем изощреннее рифмы Бродского, тем чрезмернее их броскость. Ради рифмы к rafters он дополняет слово 'on truffles'; ради рифмы к city Бродский воспользовался слэнговым 'nitty-gritty'. В результате изящество и простота оригинала,

стоическое благородство всего стихотворения унижены комическими рифмами и политическими клише. Сдержанный по тону и лексике оригинал в переводе приобрел драматический характер. На родном языке, как мы знаем, драмы и мелодрамы Бродский всегда старался избегать. Стушеван в переводе и элемент самоиронии.

Поэты редко переводят самих себя. Но когда они вынуждены это делать, как Бродский, они берут на себя необычную задачу – написать одно и то же стихотворение дважды, что, как верно замечает Дэниэл Уэйсборт, трудоемко не только физически, но и эмоционально. Соблазн переписать текст заново, внести изменения, вероятно, немалый. И Бродский этому соблазну нередко уступал.

В отличие от Энн Стивенсон, на взгляд которой Бродский совсем не чувствует английской просодии, профессор Уэйсборт считает, что будучи свободным от предрассудков и клише английской просодии, Бродский смело сближал две поэтические системы в поисках некоего лингвистического двойника.⁴⁶ Эти две системы, наверное, можно сблизить, но синтезу они вряд ли поддаются. Тем не менее следует отдать должное русскому поэту, вошедшему в чужую литературу и приложившему немало усилий, чтобы изменить ее формы и контуры. Об этом пишет поэт Лахлан Мэкиннон: «Бродский был призван для того, чтобы представить новый языковой диалект. Точнее сказать – английский язык оторванного от родных корней человека. У Одена он научился выискивать в залежах языка его самые тайные пласты, и в результате родился особый стиль – может быть в некоторых случаях и приводящий в замешательство, но всегда последовательный и завершенный».⁴⁷

В идеале Бродский хотел бы получить некий новый диалект: русский вжечь в английский, а английский трансформировать в русский. Он верил в возможность формального мимезиса (*mimesis*), или миметизма, некоей мимикрии двух языков.⁴⁸ Другие тоже считают, что, как никто до него, Бродский сблизил два языка. Русские гиперболы уживаются у него с английскими литотами. На взгляд Майкла Гофмана, Бродский не только сильно русифицировал английский, но и американизировал его.⁴⁹ Дэниэл Уэйсборт приводит примеры того, как Бродский привносил русский акцент в английский, в частности, «усилил интеллектуальный аспект английской поэзии, внося в нее мощность знания, логики, исторических реалий».⁵⁰

Я уверена, что если бы Бродский не писал стихов по-английски и не переводил самого себя, его репутация в Англии была бы гораздо выше. Но вряд ли Бродскому можно предъявлять претензии за то, что он сам хотел чеканить свой английский профиль. Бродский вел себя так, словно у него была миссия – донести русский язык до английской аудитории, до самого английского

языка. Он был так предан своей миссии (языку, поэзии, культуре), что ему многое сходило с рук, в частности, его резкость, его самоуверенность и бестактность. Ему нужны были переводчики – носители языка в качестве помощников эту миссию выполнить. Поссорившись с многими из них, он начал переводить себя сам. Он приложил невероятные усилия воли, чтобы не просто выжить в чужой лингвистической среде, но обрести в ней компенсацию потерянного.

Далеко не все англоязычные поэты разгадали эту миссию Бродского. Рой Фишер полагает, что, Бродский в одиночку пытался изменить вектор эволюции английской поэзии, возвращая ей рифмы и классические метры. Благородный, заслуживающий восхищения, но донкихотский акт, считает он. По его мнению, Бродский совершает насилие над английским языком, и язык внятно и ощутимо протестует. Легендарная непереводаемость Пушкина на английский, продолжает Фишер, могла бы послужить Бродскому уроком.⁵¹ Питер Франс, переведший «20 Сонетов к Марии Стюарт», считает, что Бродский теряет в переводе меньше, чем Пушкин или Расин. Он признает, что Бродский часто идет на риск в своих переводах, но они всегда потрясающее интересны, ибо он, в сущности, пишет новое стихотворение.⁵² Питер Леви, бывший профессор поэзии в Оксфорде, совсем не любящий Бродского, тоже считает его переводы замечательными.⁵³ А Питер Робинсон называет их «гениальной странностью».⁵⁴

О причинах неприятия в англоязычном мире автопереводов Бродского задумываются и русские поэты. По мнению Ольги Седаковой, которая переводила таких трудных поэтов, как Т.С. Элиот и Эзра Паунд, «Бродский, реформатор отечественной словесности, на фоне актуальной европейской поэзии выглядит как чрезвычайно консервативный автор (еще более консервативным он часто становится в переводах, выравнивающих его стилистику, просеивающих вульгаризмы его языка). Он представляется своего рода парнасцем, поздним классиком (античные мотивы, культурофилия, традиционные жанры и формы, дисциплина версификации и под.), образцом настоящего поэта, на которого указывают культурные политики, призывающие теперь Back to Basics».⁵⁵

В заключение, я бы назвала еще одну немаловажную причину амбивалентных оценок английского Бродского – недостаточно хорошее знание его текстов. Можно сосчитать на пальцах одной руки количество англоязычных поэтов, прочитавших всего Бродского, включая и тех, кто знает русский язык. Насколько всерьез мы должны принимать мнения поэтов, которые признаются в том, что мало читали Бродского, не любят его и не принимают? Та же Энн Стивенсон признается, что купила только один сборник эссе

Бродского, который она называет *One plus One*. Их представление о поэтическом мире Бродского неполное, если не искаженное. Даже самые доброжелательные из них не услышали в ритмах его стихов бурного и неровного ритма самой истории 20 века; не усмотрели в его, как им кажется, злоупотреблении анжамбеманами и инверсией портрет судьбы поэта, когда оторванный от имени предлог вынужден прилипнуть к слову, рядом с которым его бросили ('a bard of / trash'..., 'I've learned about my own and any / fate, from a letter, from its black colour'..., 'where even a thought about / one's self is too cumbersome...'), 'Doesn't matter if it's pitch-black, doesn't matter if / it holds nothing...' и т.д. и т.п.⁵⁶ Эти знаменитые бродские анжамбеманы режут нежные уши западных поэтов, начитанных об изгнании только из истории мировой поэзии. Они не задумывались и о философии языка Бродского, не совсем понимают, почему Бродский настаивает, что рифма несет с собой семантическую неизбежность; почему «солидарность» может у него рифмоваться только с «благодарность», а не, скажем, с «бездарность» или с «безударность». Никто, кроме Милоша, не понял, что английский сборник *Часть речи* напоминает философский дневник в стихах.⁵⁷

Мне показалось, что наиболее авторитетную оценку английских стихов Бродского могли бы дать филологи, чей английский язык родной, чья профессия – русская литература, а специальность – русская поэзия. Составляя последний сборник статей, посвященных Бродскому, *Joseph Brodsky: The Art of a Poem*,⁵⁸ я обратилась к западным славистам с просьбой написать об английских стихах Бродского. Мы с Львом Владимировичем Лосевым (я имела честь редактировать три сборника статей вместе с моим любимым поэтом и самым большим авторитетом по Бродскому) включили три статьи о столь разных английских стихах Бродского, как 'Galatea Encore' (1983) Леона Бернета; 'Belfast Tune' (1986) Роберта Рида и 'To My Daughter' (1994) Дэвида Бэтеа.

Леон Бэрнет выявляет широчайший культурный фон английской миниатюры Бродского «Еще раз Галатея» от *Метаморфоз* Овидия до авторов нашего времени. Роберт Рид высоко оценил семантическую нагрузку метра и односложных слов, как и всю лексическую организацию стихотворения, поражаясь мастерству Бродского писать политическое стихотворение, не употребив ни слова из политической лексики и оставив за пределами текста всю политическую реальность Северной Ирландии, проявив одновременно недюжий такт, симпатию и отстраненность: «Эта необычное проникновение проникновение в природу североирландских волнений тем более замечательно, что достигается посредством формальной структуры и поэтического мастерства». Он усмотрел даже в рифмах стихотворения (hurt/short) ирландский акцент, что

свидетельствует о чрезвычайной чувствительности уха Бродского. Он указал на высокую функциональность анжамбеманов, в частности, межстрофного: 'and her stare stains your retina like a grey / bulb when you switch // hemisphere', ответив тем самым на критику этого стихотворения Доналда Дэви, считавшего, что анжамбеманы в этом стихотворении «грубы» ('coarse'), «бесцеремонны» ('cavalier') и «насильственные» ('violent').⁵⁹ Профессор Дэвид Бэтеа увязывает стихотворение «Моей дочери» с традицией Роберта Фроста и Томаса Харди, как и со всем корпусом русских текстов Бродского: та же нарочитая антилиричность, выдержанная отстраненность и беспощадная самоирония; то же бесстрашие, с которым он умел посмотреть в глаза ужасному ('a full look at the worst'). И технически английские стихи Бродского ни что иное как продолжение его русской поэтики: достаточно посмотреть, как изобретательны английские рифмы Бродского, как афористичен его язык, насколько семантически оправданы его дерзкие анжамбеманы, как поставлен на службу смыслу метр. Метаморфозы человека в истории, вечность, время, вера и язык – остаются магистральными темами Бродского и в русской и в английской обложках.

Что стимулировало Бродского писать стихи по-английски? Сам Бродский в разное время дает на него разные ответы: 1973 год – «я делал это исключительно для развлечения. Несколько лимериков и пару серьезных вещей, но не думаю, что они чего-то стоят»;⁶⁰ 1979 год – «Мои русские лавры – или их отсутствие – вполне меня устраивают. Почетного места на американском Парнасе я не добиваюсь»;⁶¹ 1981 год – «Надо сказать, я довольно много пишу по-английски, но не стихи. Стихи чрезвычайно редко и скорее развлечения ради. Или для того, чтоб продемонстрировать своим англоязычным коллегам, что я способен на это, – чтобы не особенно гордились.»⁶² 1987 год – «Я написал несколько стихотворений на английском, но это исключение. Это что-то вроде терапии. Я вижу, как мои американские коллеги пишут стихи, кладут их в конверты, отправляют в журнал и через неделю видят свои творения напечатанными. Начинаешь им завидовать, просыпается желание написать что-нибудь на языке, понятном всем, и не ждать пять-шесть лет, пока тебя переведут, это непреодолимое искушение, которое может стать навязчивым. Чтобы избежать невроза, я уступаю искушению».⁶³ Он то отрицает, что занимается этим всерьез, то гордится: «Я, например, сочинил 20 стихотворений по-английски, довольно, как мне кажется, хороших».⁶⁴ Он был убежден и, кажется, хотел убедить других, что «двуязычие – это норма»,⁶⁵ «обновлять или расширять английский язык – это в мои задачи не входило».⁶⁶

Несмотря на то, что с годами Бродский все больше чувствовал свою ответственность перед английским языком, его главной

заботой оставался родной язык. Но он, как те древние племена Скифии, о которых он упоминает в интервью Наталье Горбаневской, находился в состоянии постоянного изумления перед английским языком.⁶² И как преданный слуга языка, он нес свое бремя смиренно и гордо, упрямо и благородно. По мнению проф. Д. Уэйсборта, в ситуации, в которой оказался Бродский волею судьбы и собственной воли, справедливой критики ему было не дожидаться. Похоже, не дожидаться ее и нам. Изменить эту ситуацию могли бы новые переводы. К великому сожалению, их никому не разрешено делать в ближайшие годы. И этот запрет наследников Бродского, мне представляется большой ошибкой: Бродского в Англии просто забудут. Уже забывают. Нужно срочно снять запрет на переводы Бродского на английский и позволить переводить его всем, у кого к этому лежит сердце. Другой вариант возможен только через полстолетия, когда Бродский вернется в Англию из России как великий поэт. И тогда его начнет переводить племя младое и нам не знакомое.

Примечания

¹ *The Guardian*, 3 October 1986, p. 11; Stephen Spender, *Bread of Affliction*, *New Statesman*, 14 December 1973, p. 915, also in *The Observer*, 31 May 1987, p. 22.

² Пользуюсь случаем выразить благодарность Кэрол Руменс, приславшей мне свою рецензию в рукописном виде. Статья написана для ж. *Poetry*.

³ Бродский, *Книга интервью* (М.: Захаров, 2007, с. 312).

⁴ Stephen Spender, *New Statement*, 14 December 1993.

⁵ См. мое интервью с Алварезом в ж. *Знамя*, № 11, 1996, с. 143.

⁶ Michael Schmidt, *Time of Cold*, *New Statesman*, 17 October, 1980.

⁷ Tony Guld, *Out of Russia*, *New Society*, 17 October 1986

⁸ Alan Jenkins, 'Life in Venice', *The Independent on Sunday*, 7 июля 1982, с. 24.

⁹ Ann Stevenson, 8 February 1997 в ответах на мой вопросник, неопубликован.

¹⁰ Donald Davie, *The Saturated Line*, *TLS*, Dec. 23-29, 1988.

¹¹ Blake Morrison, "The Muse and Mortals", *The Independent on Sunday*, 24 ноября 1996 г., с. 34-35.

¹² Цитируется по ответам профессора Питера Леви на мои вопросы, неопубликованы.

¹³ Christooher Reid, "Great American Disaster", *London Review of Books*, 8 декабря 1988, рецензия на сборник *To Urania*.

¹⁴ Craig Raine, «A Reputation subject to Inflation», *Financial Times*, 16/17 November 1996, p. xix.

¹⁵ Иосиф Бродский, *Книга интервью*, с. 730, см. также с. 588-89

¹⁶ Подробный анализ этой некомпетентной критики был дан в моей статье «Английский Бродский», Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба (СПб.: «Звезда», 1998), с. 49-59.

¹⁷ "He arrived in the West with Anna Akhmatova's imprimatur, delivered to Isaiah Berlin and Stephen Spender when she received her honorary degree in Oxford. Asked who were the interesting young poets, she named Brodsky – as presumably just that, interesting. A modest accolade." G. Raine, *Ibid.*

¹⁸ Seamus Heaney, "Brodsky's Nobel: What the Applause was about", *The New York Times Book Review*, 8 ноября 1987, с. 1, 63 и 65.

¹⁹ Seamus Heaney, "The Singer of Tale: On Joseph Brodsky", *The New York Times Book Review*, 3 марта, 1996, p. 31. Русский перевод см. в газете Сегодня, 24 мая 1996, с. 10).

²⁰ Иосиф Бродский, Письмо в Нью-Йорк Таймс 1 окт. 1972 г., русский перевод опубликован в ж. Звезда, № 5, 2000, с. 4.

²¹ Carol Rumens, *Ibid.*

²² Интервью с Дэниелом Уайсбортом, Знамя, 1996, № 11, с. 149.

²³ Интервью с Ал Аларезом, Знамя, № 11, 1996, с. 143-146.

²⁴ John Bayley, "Sophisticated Razzmatazz", *Parnassus: Poetry Review*, весна/лето 1981, часть 9, с. 83-90.

²⁵ Charles Osborn, *The Life of a Poet* (London: Eyre Methuen, 1980), p. 325.

²⁶ John Bayley, *Mastering Speech*, *The New York Review*, June 12, 1986, p. 3.

²⁷ Michael Glover, «No one's contemporary ever», *Financial Times*, 19 January 1991.

²⁸ Дэниел Уайсборт, Памяти Иосифа Бродского, Бостонское время, 29 января 1997, с. 2.

²⁹ Peter Levi's answer to my questionnaire, 15 January 1997.

³⁰ Seamus Heaney: "Brodsky manifested freedom and integrity". В ответах на мои вопросы, август 1999.

³¹ Henry Gifford, *The Language of Loneliness*, *TLS*, August 11, 1978, p. 903.

³² Gerry Smith, *Joseph Brodsky: Recent Studies and materials*, *The Harriman Review*, July 1995, vol. 2, no. 2, p. 18.

³³ Joseph Brodsky, *A Part of Speech*, tr. by Daniel Weissbort, *Poetry*, vol. 131, no. 6 (March 1978), pp. 311-320.

³⁴ Daniel Weissbort, *From Russian with Love. Joseph Brodsky in English* (London: Anvyl Press, 2004), p. 90-91.

³⁵ Из переписки с Аланом Мауерсом: 'my own versions were too smooth, light and regular («cute») for his taste... The line-length (my) rhythm, evert the meaning might all undergo change. Indeed on one occasion he went as far as to say that everything should be sacrificed to the rhyme!».

³⁶ Бродский, Книга интервью, составитель В. Полухина (М.: Захаров, 2007), с. 222.

³⁷ См. мою заметку 'Brodsky's Views on Translation', *Modern Poetry in Translation*, no. 10, Winter 1996, с. 26-31; русская версия включена в на-

стоящий сборник.

³⁸ Автор этой статьи присутствовала на упомянутом фестивале.

³⁹ Дэниэл Уайсборт, Памяти Иосифа Бродского, *Бостонское время*, 29 января 1997, с. 2. ⁴⁰ *Ibid.*, p. 17.

⁴¹ Из интервью с Шеймасом Хини, 1 февраля 1997 г., Иосиф Бродский: Труды и дни под ред. Петра Вайля и Льва Лосева (М.: «Независимая газета», 1998с. 264-65.

⁴² John Bayley, 'I feel strongly that Brodsky is a Russian poet, and in no sense, Anglo-American one. I would not consider his verse in English to be "poetry" at all in the high and wonderful sense of his Russian poetry'. Профессор Бейли отвечает на мой вопросник, январь 1996. Неопубликовано.

⁴³ «... they have already been damaged, and I... well... I wouldn't want to add accent to injury...». Daniel Weissbort, *From Russian with Love. Joseph Brodsky in English*, *ibid.*, p. 108.

⁴⁴ Питер Робинсон (Peter Robinson), ответы на мой вопросник, 28 февраля 1997.

⁴⁵ Donald Davie, *The Saturated Line*, TLS, December 23-29, 1988, p. 1415.

⁴⁶ Daniel Weissbort, *From Russian with Love. Joseph Brodsky in English*, *ibid.*, p. 30-31.

⁴⁷ Lachlan Mackinnon, *Joseph Brodsky*, *The Independent*, 30 January 1996, p.12.

⁴⁸ "Presumably he believed he'd successfully demonstrated that rhetorically mimetic translation between Russian and English was possible". Daniel Weissbort, *From Russian with Love. Joseph Brodsky in English*, *ibid.*, p. 30.

⁴⁹ Michael Hofman, *On absenting oneself*, TLS, 10 January, 1997, p. 7.

⁵⁰ Даниэл Уэйсборт, «Памяти Иосифа Бродского», *Бостонское время*, 29 января 1997 г., с. 2.

⁵¹ Рой Фишер, интервью Валентине Полухиной, Бродский глазами современников (Спб.: «Звезда»), с. 344; также ответы на вопросы автора статьи от 19 февр. 1997 г., неопубликовано.

⁵² Питер Франс, ответы на вопросник автора статьи, 5 февр. 1997, неопубликовано. См. также комментарии Питера Франса и его перевод «20 сонетов к Марии Стюарт» в сборнике *Brodsky's Poetics and Aesthetics*, eds. L. Losev & V. Polukhina (London: Macmillan Press, 1990), p. 98-123.

⁵³ Питер Леви, ответы на вопросник автора статьи, 15 января 1997 г., неопубликованы.

⁵⁴ Peter Robinson, *Nobel's poet*, *Sunday telegraph*, Oct. 25, 1987, p. 17: ответы на вопросник от 28 февр. 1997 г., неопубликованы.

⁵⁵ Ольга Седакова, Побег в пустыню, Татьяна день. Православная газета МГУ, январь 1997, с. 19.

⁵⁶ Все примеры из «Римских элегий» в переводе самого Бродского, *To Urania* (Penguin, 1988) с. 64-69.

⁵⁷ Czeslaw Milosz, *A Struggle against Suffocation*, *The New York Times*

Review, 14 August 1980, p. 23.

⁵⁸ *Joseph Brodsky: The Art of a Poem*, Eds. Lev Loseff & Valentina Polukhina (New York: St. Martin's Press, 1999). См. русскую версию сборника под названием *Как работает стихотворение Бродского* (М.: НЛЮ, 2002).

⁵⁹ Donald Davie, "The Saturated Line", рецензия на сборник *To Urania*, *The Times Literary Supplement*, 25-29 декабря 1988 г., с. 1415.

⁶⁰ Бродский, *Книга интервью* (М.: Захаров, 2007), с. 21.

⁶¹ *Ibit.*, с. 81.

⁶² *Ibit.*, с. 159.

⁶³ *Ibit.*, с. 296.

⁶⁴ *Ibit.*, с. 435.

⁶⁵ *Ibit.*, с. 122, 204.

⁶⁶ *Ibit.*, с. 311.

⁶⁷ *Ibit.*, с. 244.

Григорий Кружков

РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ

О ЛИМЕРИКАХ ЛИРА И ТОЧНОМ ПЕРЕВОДЕ

1. Трудность первая: топоним.

Точность А

Лимерики Эдварда Лиры – или «нелепицы» (*nonsense rhymes*), как он сам их называл, – представляют интереснейшую проблему для переводчика.

Случай этот не канонический, потому что не чисто текстовой – каждый лимерик Лира сопровождается особым авторским рисунком (*nonsense picture*), что приводит к необходимости соотнести перевод не только со смыслом, но и с тем, как он «отрисован» Лиром.

На практике оказывается, что разные лимерики с разной легкостью (или трудом) поддаются переводу. Можно даже установить градации заковыристости текста. Заодно можно ввести и градации точности перевода.

Обратимся к примеру. «Жил один Старичок с Ямайки, который вдруг женился на Квакерше. Но она закричала: «Увы! Я вышла замуж за черного!» – что очень огорчило того Старичка с Ямайки».

There was an Old Man of Jamaica,
Who suddenly married a Quaker;
But she cried out, 'Alack!
I have married a black!
Which distressed that Old Man of Jamaica¹.

Начнем с первой строки. Лимерики Лира обычно начинаются с формулы “There was am Old Man (Old Person, Old Lady, etc.)...” Далее следует уточнение, в девяноста процентах случаев сводящееся к топониму. Например: “There was an Old Man of Calcut-ta...” Понятно, что вторая строка *подрифмовывается* к этому топониму – названию страны или города.

¹ У Эдварда Лира третья и четвертая строка были объединены в одну строку с внутренней рифмой. Но мы здесь приводим лимерики в их более обычной пятистрочной форме, чтобы подчеркнуть все рифмы.

Иными словами, в оригинале название места определяет содержание лимерика. Легко понять, что в переводе все наоборот – то поним подрифмовывается к содержанию. Место или город, указанные в оригинале, переводчик обычно игнорирует, ища новое, которое определяется, как правило, второй строкой. Хвост вертит собакой!

В нашем случае процесс перевода шел немного по-другому. С самого начала захотелось выбрать если не Ямайку, то какое-нибудь другое место, которое ассоциировалось бы с чернотой героя. И вот после недолгих поисков выговорилось:

Жил один старичок из Нигера...

Следующая строка явилась моментально:

Ему в жены попалась мегера.

В оригинале сказано «квакерша». Но и мегера тут на месте; она даже уместнее квакерши, потому что там русскому читателю надо еще соображать, что такое квакерша и почему это плохо, а с мегерой все ясно. Итак, хотя слово поменялось, но функция его, в целом, сохранена, даже усилена. Дальнейшее – дело техники:

Целый день она ныла:
«Ты черней, чем чернила», –
Изводя старика из Нигера.

В целом, все содержание лимерика на месте, недобавлено и не убавлено никакого важного мотива или колоритной детали (замену «квакерши» на «мегеру» можно признать эквивалентной). Перевод этого лимерика отнесем к первой категории точности (назовем ее А).

2. Трудность с диалогом. Точность В

Предыдущий пример относительно прост еще и потому, что, хотя в нем есть прямая речь, но говорит только один персонаж. В ряде лимериков говорят два персонажа, то есть возникает *мини-диалог*, обычно занимающий третью и четвертую строчку лимерика (назовем это место «перешейком»). Вот пример: «Жил один пожилой человек из Бертона, ответы которого были довольно неопределенны. Когда ему сказали: «Здравствуйте (как поживаете?)», он ответил: «Кто вы?» Этот невозможный пожилой человек из Бертона!»

There was an Old Person of Burton,
Whose answers were rather uncertain;
When they said, 'How d'ye do?'
He replied, 'Who are you?'
That distressing Old Person of Burton.

Уместить четыре реплики (включая вопрос и ответ) на узком “перешейке” не очень просто. Самым естественным эквивалентом английской формулы “*When they said... he replied...*» является русская формула «На вопрос... отвечал он...».

Возможен такой перевод данного лимерика:

Осмотрительный старец из Кёльна
Отвечал на расспросы окольно.
На вопрос: «Вы здоровы?»
Отвечал он: «А кто вы?» -
Подозрительный старец из Кёльна.

Как видим, здесь в точности удалось сохранить вторую реплику (ответ). Первая по необходимости поменялась. Возможен и другой вариант, в котором сохраняется первая реплика (вопрос), но по необходимости меняется ответ:

Молодой человек из Омана
Выражался довольно туманно.
На вопрос: «Как живете?»
Отвечал он: «У тети», -
Что звучало немножечко странно.

Замена пожилого человека на молодого – часть необходимого прилаживания лимерика под центральный диалог: если бы у тети жил старец, это было бы уже не «немножечко», а весьма странно. Изменена также последняя строка – но уже не по необходимости, а из соображения, как лучше, интереснее. Можно было бы закончить, например, фразой: «Непростой человек из Руана!» Но русский текст подсказал иную концовку.

Бывают случаи, когда мини-диалог передается по-русски не универсальной формулой «На вопрос... Отвечал он», а как-то иначе.

Например, первая реплика может заменяться косвенной речью, как в лимерике про «шаровидного» старика. В оригинале мини-диалог с двумя репликами: «Когда ему сказали: «Вы толстее-

те», – он ответил: «Какое это имеет значение?». В переводе:

На совет есть пореже
Он вскричал: «Вы невежи!»

Нередко бывает, что прямая речь в переводе возникает там, где в оригинале ее не было. Скажем, в лимерике про старушку, которая «подбородком играла на флейте». По-английски сказано только, что она заострила его, купила арфу и играла разные мелодии. По-русски получилось:

Старушенция, жившая в Гарфе,
Подбородком играла на арфе.
«В моем подбородке
Особые нотки», –
Говорила друзьям она в Гарфе.

Общее во всех этих случаях, что трудная проблема передачи мини-диалога, как правило, приводит к значительным отклонениям в конструкции лимерика. Все рассмотренные выше случаи перевода мы отнесем ко второй категории точности (B).

3. Трудность с рифмующимися деталями.

Чем меньше конкретных деталей нарисовано Лиром, тем переводчику легче. Хуже всего, когда обилие точных деталей в лимерике осложняется их рифменной связью. Это не то, что наш случай первый, когда рифмуется предмет и топоним, как это обычно бывает часто в начале. Там можно заменить топоним, подрифмовав его к предмету. А что делать, если рифмуется два разнородных предмета, причем оба изображены на рисунке?

Скажем, одна старушка в сером кормит попугаев морковкой. Русский читатель может удивиться – что за странная причуда? А разгадка проста. Попугай по-английски – *parrot*, а морковка – *carrot*. Вот и всё.

Или возьмем того старичка на границе, который танцевал с кошкой и заваривал чай в шляпе. Нелепо? Может быть. Но главное, что в рифму: *cat* – *hat*.

Или, скажем, юная леди из Уэллинга, которой все восхищались, играла на арфе и одновременно ловила карпов, а почему? Потому что по-английски «каarp» и «арфа» рифмуются: *carp* – *harp*. Но что прикажете делать переводчику? Заменить арфу или карпов на что-нибудь другое? Но это невозможно, потому что – вот они здесь на картинке! Можно попробовать убрать с рифмы один предмет,

или другой, или оба сразу. Например, так:

Жила одна леди в Кашмире –
Совершеннее не было в мире;
Она карпов удила
И во арфе водила
Милой ручкой, изящнейшей в мире.

Здесь можно лишь сочувственно вздохнуть. В том-то ведь и прелесть лимерика, что все определяет случайная рифма. Рифмующиеся слова должны гордо сидеть на концах строк, – а не так, как в этом переводе, внутри, где их можно легко заменить на другие, скажем, «арфу» на «лютню». В качестве подписи к рисунку такой вариант годится и, может быть, даже заслуживает первой категории точности. Хотя, по большому счету, это провал – у лимерика выдернуто его «жалю».

Но можно ли сделать так, чтобы сохранить и нелепые детали, и их ударное положение на рифме? Один способ разрешения этой задачи: вынести одно из двух слов – или даже оба слова – за пределы «перешейка». Допустим, в третьей и четвертой строке сказано: «он сидел на ступенях и ел груши», причем ступени (*stairs*) и груши (*pairs*) рифмуются между собой. Переносим и ступени, и груши во вторую строку и добавляем подходящий топоним:

Суеверный мужчина в Пномпене
Кушал груши, присев на ступени.

Другой способ. Возьмем лимерик про задремавшего старика, который полагал, что его дверь «частично заперта». Далее говорится: «Но несколько больших крыс (*Rats*) съели его пальто (плащи, сюртуки, и т. д.) и шляпы (*hats*)». Так это и нарисовано Лиром: одна крыса грызет шляпу, другая ест одежду на вешалке. В русском переводе мы переносим печальную участь сюртука в пятую строку – и картинка полностью соблюдена:

Задремавший один старичок
Думал: дверь заперта на крючок.
Но один толстый крыс
Его шляпу изгрыз,
А другой – съел его сюртучок.

Похожий случай произошел со стариком из Бангора, который в гневе «срывал сапоги (*boots*) и питался корнеплодами (*roots*)».

В переводе пришлось корнеплоды перенести в пятую строку:

Пожилой господин из Хунрепа
 В гневе выглядел очень свирепо:
 Он швырял сапоги,
 Отвергал пироги
 И питался морковью и репой.

Как подпись к картинке такой перевод, очевидно, подходит: действительно, на блюде, которое подносят разгневанному старику, Лир изображает что-то весьма похожее на морковь и репку. Но, к сожалению, из-за того, что корнеплоды не уместились на «перешейке», они вытеснили из пятой строки заключительное восклицание Лира: «Этот скучногневный старик из Бангора!». В оригинале придуманное Лиром *borascible*, представляющее собой контаминацию двух английских слов: *boring* (скучный) и *irascible* (раздраженный). Такого рода «морали» с мудреными или придуманными автором прилагательными характерны для лимериков Лира, и всякий раз, когда перевод их не сохраняет, он уже не может претендовать на первую категорию точности и автоматически попадает в категорию В.

3. Трудности игнорируются. Точность С

К третьей, самой низшей категории точности (С), мы отнесем такие переводы, которые не сохраняют деталей лимерика, изображенных на картинке. В них многое, порой до неузнаваемости, изменено. Лишь какая-то едва заметная пуповина связывает такой «перевод» – правильное было бы сказать, переложение – с оригиналом. Так в одном из лимериков на старика из Дувра, бежавшего по полю клевера, нападают пчелы, которые искусывают ему нос и колени («колени» оттого, что по-английски они рифмуются с «пчелами»), и ему приходится возвратиться в Дувр. Печальная история. Тридцать лет назад, отталкиваясь от этого лимерика, я сочинил такой стишок:

Жил-был старичок между ульями,
 От пчел отбивавшийся стульями.
 Но он не учел
 Числа этих пчел
 И пал смертью храбрых меж ульями.

Ни улев, ни стулев на рисунке Лира нет. Но если раз-

делять понятия *точности* и *верности* (адекватности), то данный перевод можно признать верным, хотя и не точным. Ибо он верен – чему? – самому принципу сюжетообразования в лимерике через рифму, через случайную, звуковую связь слов.

Тогда же у меня появился еще один вариант того же сюжета, только пчелу я заменил на *осу*. Тут же сразу, конечно, появилась коса, и безнадежная борьба старика с природой приняла несколько иной характер:

Один старикашка с косою
Гонялся полдня за осою.
Но в четвертом часу
Потерял он косу
И был крепко укушен осою.

Тогда, при первом моем знакомстве с лимериками, мое внимание, между прочим, привлекла проблема мини-диалогов и возможности их адекватного перевода на русский. Есть у Лира стишок про старика из Гретны, просившегося в кратер Этны. Далее происходит такой обмен репликами: «Когда его спросили: «Там горячо?» (*'Is it hot?'*), он ответил: «Нет, нисколько!» (*'Not, it's not!'*)». Я оттолкнулся от этого обмена и у меня получился такой стишок:

Одного молодца из Ньюкасла
Черти бросили жариться в масло.
На вопрос: «Горячо?»
Он сказал: «Нет, ничо».
Вот какой молодец из Ньюкасла!

Признаюсь, мне этот вариант нравится больше сделанного значительно позднее перевода, где уже нет никаких чертей и все точно соответствует картинке.

Конечно, бывает, что и точный перевод приносит полное удовлетворение. Но для этого нужно редкое совпадение множества факторов. Например:

Жил старик у подножья Везувия,
Изучавший работы Витрувия,
Но сгорел его том,
И он взялся за ром,
Романтичный старик у Везувия.

Здесь эпитет «романтичный» можно прочесть как «романтичный», что вполне соответствует знаменитым лировским

«словам-бумажникам», раскладывающимся надвое. Но это уже явный бонус от великого бога Случая.

В некотором смысле, мой опыт с лимериками уникален. Обычно у переводчика что-то долго не получается, не выходит – и лишь с годами (иногда через много лет) отыскивается правильное решение проблемы.

У меня наоборот. При первом знакомстве с лимериками, «заразившись» ими, я избрал путь подражания, то есть верности принципу, а не деталям. И лишь спустя много лет поставил задачу перевести лимерики «точно», то есть как рассказ по картинке. Увлечшись этой задачей, я не сразу заметил – что-то пропало. Что же именно пропало? Та свобода, без которой лимерик чахнет. Даже не свобода, а полная *анархия*, которая и составляет самую душу лировских нелепиц. Каждая конкретная деталь иллюстрации как будто маленькой веревочкой связывает Гулливера воображения.

Так, может быть, только подражание, вдохновленное оригиналом, и есть единственно верный перевод? Может быть, «и чем случайней, тем вернее»? И «точность С» есть, на самом деле, «верность А»?

Эдвард Лир

ИЗ «КНИГИ НОНСЕНСА»

Жил великий мыслитель в Италии,
Его мучил вопрос: что же далее?
Он не ведал покою
И, махая рукою,
Бегал взад и вперед по Италии.

Незлобивый старик из Китая
Пса имел – толстяка и лентяя.
Пес пыхтел и молчал,
А визжал и рычал
Добродушный старик из Китая.

Одна гувернантка в Кувейте
Так мило играла на флейте,
Что хрюкать ей в лад
Был счастлив и рад
Любой поросенок в Кувейте.

Один господин из Луксора
Любил широту кругозора.
Он взбирался повыше
И с пальмы, как с крыши,
Смотрел на руины Луксора.

Жил один старичок с кочергой,
Говоривший: «В душе я другой».
На вопрос: «А какой?»
Он лишь дрыгал ногой
И лупил всех подряд кочергой.
Жил старик с сединой на висках,
Обожавший стоять на носках.
Ему дали совет:
«Прекратите балет! –
А еще седина на висках!»

Одному господину в Версале
Так внезапно глаза отказали,
Что он видеть не мог
Даже собственных ног –
И просил, чтоб ему показали.

Пожилой господин на Таити
Уверял: «Если вы говорите,
Что мой нос длинноват,
В том не я виноват,
А избыток дождей на Таити.

Молодая особа из Халла
Упоительно вальс танцевала.
Так она закрутилась,
Что по шляпку ввинтилась
В паркет танцевального зала.

Старушенция, жившая в Гарфе,
Подбородком играла на арфе.
«В моем подбородке
Особые нотки», –
Говорила друзьям она в Гарфе.

Кругловатый старик из Британии
Был порою несдержан в питании.
На совет есть пореже

Он вскричал: «Вы невежи!» –
Толстопузый старик из Британии.

Жила старушонка в Джайпуре
С душой, вечно жаждавшей бури.
Забравшись на сук,
Она долго на юг
Глядела: не видно ли бури?

Жил один господин в Иордании,
Диверсант на особом задании.
Он пиликал на скришке,
Расточая улыбки,
Чтоб запутать народ в Иордании.

Жил один старичок из Непала,
Всё глотавший, что в рот ни попало.
Но, съев десять кроликов,
Он умер от коликов –
Неуёмный старик из Непала.

Жил один старичок из Венеции,
Давший дочери имя Лукреции.
Но она очень скоро
Вышла замуж за вора,
Огорчив старичка из Венеции.

Старичок, проживавший в Рангуне,
Погулять как-то вышел в июне.
Возвращаясь назад,
Нес он двух поросят,
Арестованных лично в Рангуне.

Драгиня Рамадански

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПЕРЕВОДЧИКОМ

Писатели, насколько мне известно, редко интересуются проблемами перевода, включая и перевод собственного текста. Судя по всему, это отношение не является простым сцеплением, а динамическим образованием, участников которого отличает символическая готовность к своеобразному, ментально-телесному обмену. Эта психофизичность в объятии или обоюдном дерзании – клинче, эта синергетическая или антагонистическая сумма, легче всего поддежит грубой карикатуре.

Мне вспоминается эротизированная персона переводчика-помощника Габи из романа «Пять рек жизни» Виктора Ерофеева, или образ любвеобильной пожилой сербской переводчицы из его же «Энциклопедии сербской души». Похоже, что в свете этой имагологии все участники культурной коммуникации вовлечены в какую-то молчаливую, сексуальную самоогласку, несмотря на пол, возраст и национальность. Это переносится даже на образ собственного отца – в молодости сталинского персонального переводчика – в романе Ерофеева «Хороший Сталин».

В своём эссе «Памяти славы» Александр Генис подчёркивает сублимированную пансексуальность культурогенного общения, тем более если оно имеет место в рамках новейшей технологии. «В поисках славы мы добивались любви тех, кого нам хотелось, в поисках популярности – всех, кто движется. Чем-то мне это напоминает висящую на Бродвее рекламу джинсов. Они туго обтягивают неизвестно кому принадлежащий зад-унисекс, позволяя усидеться сразу на двух стульях».

О том, что это всегда было так, свидетельствует и переписка Марии Башкирцевой с Ги де Мопассаном. И без атрибутов женственности, именно что почти ангелично, нейтрализуя свои эпистолы табачным запахом, Башкирцева, своей не то поклоннической, не то критической (во всяком случае культурно вызывающей, под маской мужчины) речью, вызвала сексуальную реакцию писателя, назначившего своему незнакомому адресату, по меньшей мере, двусмысленное свидание. Чего хотела и хотела ли вообще Башкирцева в чем-нибудь удостовериться этим инкогнито, мы не знаем, но знаем, что вышло на поверку. Мне не верится, всё же, что после этого у неё было чувство хотя бы малейшего успеха.

Либидинозное понимание отношения текста и перевода, остроумно беллетризовал Сергей Довлатов, бывший прямо помещанным на погоне за хорошим (и удачливым) переводчиком на

английский язык. Его парафразированный вопрос звучит так: почему, с оглядкой на взаимное понимание, писатели просто не жмутся на своих переводчиках? А что сказать о транзакционной гипотезе, высказанной Исааком Бабелем в рассказе «Ги де Мопассан», целиком посвященном феномену перевода? Читая эту блистательную экспертизу переводческого труда, мы получаем представление и о гендерной составной культурной коммуникации, на этот раз между переводчиком и читательницей. На первый взгляд, тут речь идёт не о чём ином, как о сочном сексе. Молодой переводчик соблазняет более или менее желательную даму средствами наррации, т.е. неточным переводом мопассановского «Признания». Не является ли любой перевод тенденциозным пересказом, своеобразным товарообменом? Об этом писал Александр Желковский, в своей книге, посвященной творчеству Бабеля. Структуру «Я даю тебе обаятельный рассказ, а ты мне взамен свою любовь» Желковский отыскал и в бабелевском рассказе «Мой первый гонорар». Рассказчик на этот раз своей нарративной оплачивает услуги проститутки. На самом деле ей и не надо другого гонорара.

В данном стремлении найти подходящую метафору данного гештальта (дающего и принимающего культурные услуги), где каждый чувствует себя награждённым по заслугам, остановимся на довольно-таки приличной метафоре переплетения. Посвящая свою книгу «Трикотаж» своей переводчице, тот же Александр Генис, наверное, руководствовался сходной идеей. Переводчик же Коля Мичевич свои виртуозные переводы с тосканского на сербский так и называет: переплёты. И подписывается: «Переплёл К.М.». Мы всего в одном шаге от тканевых метафор Ролана Барта из «Смерти автора» (1970). Перевод – как красный товар. В этом смысле большая поддержка – прочтение ответного подарка Марии Игнатьевой своей сербской переводчице:

На темное время не сетуй,
Оно уже тем хорошо,
Что можно с компьютера в Сенту
Последний отправить стишок.

Его там, как в некие ризы,
В чужие слова облекут
Изысканный высветят призраком
Вполне узнаваемых чувств.

И старые дыры пространства
Заштопают умной иглой,

И теплою брагой славянства
Холодный согреют простор.

Ризы, с которыми М.Игнатьева сопоставляет сербский перевод русского подлинника, не являются рискованным переодеванием или маскообразным перелицовыванием в Другое, чужое. Правильно, что ризы «некие», поскольку поэтесса не знает доподлинно, какова именно та ткань, чьё благоприятное влияние она опосредованно чувствует, и на которую бросает свой отстранённый взгляд. Ризы перевода являются не то власяницей из регистра высокого аскетизма, не то роскошным облачением. «Высветление призрака» склоняет и к другому прочтению: риза – как оклад иконы, что подчёркивает тончайшее и таинственное просвечивание подлинника.

Образ же штопания «старых дыр» пространства, с применением иглы перевода, включает переводческие усилия в сферу не только худо-бедного старания, но и преданного, тщательного подвига. Кондовая домотканность вычерчивается и сопоставлением данного перевода с «тёплой брагой славянства». Брага – это ведь замена пива, вызывающая не только отрадную негу, но и головную боль, и похмелье. Такой, бражный, перевод искрится не шампанским, а скорее бузой. Это тяга к красоте, потребность в ней, подмена красоты, а не красота сама по себе. Но тем сильнее интимная магия. Оттуда провод компьютера иногда сопоставим с пуповиной: он способен восполнить/ заштопать физические и ментальные прорехи иного захолустья родственной культуры, равно как и уменьшить экзистенциальную тоску участников творческого общения.

Стихотворение Юлии Скородумовой написано ко дню рождения переводчицы, но тем не менее на первый взгляд лишено всякой «поздравительности». Поэтесса сурово моделирует данное распределение сил, расставив точки над *i*, и зарифмовав имя переводчицы с глаголом «сгинуть». Ибо в мире этого стихотворения что-то должно умереть, или в лучшем случае – одолеть смерть. Хронотоп стихотворения – осенний пустырь, время усталости и запустения. Неологизмом ясень вместо ясно как бы выдвигается флоральная магия ясеня (если женщина не хочет иметь детей, ей надобно найти ясень самосейку, сжечь его и оставшийся уголь зарыть в землю). Будучи адресатом этого стихотворения-послания, переводчик нарочно упускает из виду коннотации детоубийства. В переводе этого стихотворения никакого ясеня не может быть. Не будет ни минерала ксилита из первой строки, странной, бесплодной, неродящей руды, из которой дистиллируется алкоголь, и которой, в свою очередь, услан переводческий путь. Переводчик

разбил вдребезги флакон стерильного, неприятного на вкус денатурата, пытаясь дотянуться до непорочного материнства: выцарапать разбитыми же осколками перевод.

Труден путь без сахара с ксилитом.
 Страшно далеки Магомед с горой.
 Во рту полк солдат разлил селитру.
 Цыплята рассчитаны на первый-второй.

Доподлинно ясен, что вот и осень.
 Мышь устанет дышать и сгинет,
 не дожидая последней папиросы.
 А как Вам рождалось вчера, Драгиня?..

Откровенно говоря, этот скепсис и есть то, с чем переводчик постоянно борется, зачиная в себе стихотворного двойника. Переводчик и есть суррогатная мать. Сколько муштры, подавления, фрустрации, нервоза, и всё же что-то рождается, будет жить, и мы готовы усыновить такое для нас новое стихотворение...

В стихотворении, написанном Сибелан Форрестер, выдвигается швейная метафора: переводчица – как швея, портниха, закройщица. Конечно, её труд не более, чем перекройка, перелицовка, но со множеством креативных отсебятин, не только изменяющих, но и обогащающих его. Такому ходу дел в принципе грозит безвкусица, вычурность и белые нитки, но ему улыбается и вдохновенная синергия, когда новоявленное целое превышает сумму частей, взятых в отдельности. Наверняка, и так можно прочитать это стихотворение, посвящённое лучезарной стороне переводческого ремесла.

Draginja is the most amazing seamstress:
 I've never seen such a quick hand
 with the needle, not even my sainted
 grandmother, who made all her own gowns
 and the best buttonholes in town.

The alteration fits far better
 than the original ever did, and look
 at the special details! Here
 she's removed a faded zipper to add
 19th-century carved shell buttons,
 here a stippling of cobalt embroidery,
 here a live horsetail, here a working eyeball

(too farsighted to rely on for fashion advice,
but what elegant lashes it bats), here
she has tucked a bunch of growing nettles
into the left pocket: like a fairytale wallet,
there's always something to harvest.
I'll never go hungry, and my jacket
will never be the same.

Для финала мы приберегли отрывок из одного, совсем частного, письма.

“А, вообще, я знаю, за что мы с тобой друг друга полюбили. За то, что любим влюбляться. При этом не имеет значения, какого пола предмет и когда он жил. Как говаривал в таких случаях Берестов: “Болезнь развивается нормально”. Тот же Берестов считал, что дружба – это норма людского общения. (Пока не обломают.) Но должно быть что-то выше дружбы. У историка Натана Эйдельмана, впрочем, был другой взгляд: уезжая в больницу (последнюю), он сказал жене: “Для меня дружба выше любви”. Как ни странно, но оба имели в виду примерно одно и то же. Так что люби Львова¹ и дружи с ним. За это воздастся».

С таким определением отношения «талант-поклонник» мало кто не согласится.

¹ *Н.А. Львов (1753-1803).*

ПЕРЕВОДЫ НА СЕРБСКИЙ

Марија Игнатјева

• • •

Не жалим се на умор и сету,
Већ је и зато добро мени,
Што се с компјутера у Сенту
Могу слати свежи катрени.

Њих ће, као у неке ризе,
Заоденути у туђа словеса.
Истанчан блеснуће привид
Непоречииво знаних телеса.

Вајкадашњи зјап размачица
Закрпиће веште игле бод,
И словенства блага капљица
Хладни ће згрејати свод.

Јулија Скородумова

• • •

Посут је срчком уместо шећером тај пут.
Страшно су далеки и Мухамед и брег.
Пиротехнике укус у устима је љут.
На парове разброј с' док вијори стег.

Белодано је јасно да јесен стиже.
Задихани мишић нестаје без трага,
Последњу цигару док грицка и лиже.
А Ви, шта сте Ви родили јуче, драга?..

Сибелан Форестер

• • •

Та Драгиња је особита шваља:
Никада не видех руку тако вичну
Игли, па чак ни у моје нане
Сусретљиве, што сама је шила своје рубље
И правила најлепше рупице за дугмад у граду.

Њена преправка зацело стоји боље
Од првотног кроја, баци само
Поглед на све те детаље! Овде је
Скинула цибзар и ставила
Давнашње седефне дугмиће,
Ту додала набор кобалтног веза,
А онде живахни коњски реп и разиграно око
(одвећ далековидо да се ослони на савете моде,
Али какав само даје шик), овде
Пак заденула снопић једрих чиода
У леви џеп: као са чаробног столњака,
Ту вазда има нешто да се куса.
Никада нећу огладнети, а мој жакет
Никада неће бити као пре.

Ирина МАШИНСКАЯ

ОБ СТЕКЛУ

Интереснее всего, конечно, переводить самое трудное и трудноопределяемое: не звукопись, даже, а интонацию и другие тонкие особенности оригинала. Но на наше счастье, потеряв в одном языке, находим в другом. Для примера рассмотрим стихотворение ирландского поэта Имона Греннана «Up Against It».* Этот пример выбран не оттого, что он демонстрирует какую-то особенную находчивость переводчика, а из-за связанных с ним чудесных и счастливых совпадений.

Eamon Grennan

UP AGAINST IT

It's the way they cannot understand the window
they buzz and buzz against, the bees that take
a wrong turn at my door and end up thus
in a drift at first of almost idle curiosity,
cruising the room until they find themselves
smack against it and they cannot fathom how
the air has hardened and the world they know
with their eyes keeps out of reach as, stuck there
with all the want just in front of them, they must
fling their bodies against the one unalterable law
of things – this fact of glass – and can only go on
making the sound that tethers their electric
fury to what's impossible, feeling the sting in it.

* Имон Греннан (Eamon Grennan) – ирландский поэт, давно живущий в США; преподает в Вассар Колледже в штате Нью-Йорк. Стихотворение переводилось автором статьи для первой книги в поэтической серии *Ars-Interpres. Ars-Interpres* («искусство перевода» по латыни) – возглавляемый поэтом Владимиром Гандельсманом переводческий проект, идея которого заключается как в том, что издательство находится в Америке, и переводчики потому имеют возможность работать в прямом контакте с авторами-американцами, так и в том, что и сами русские переводчики живут «внутри» английского языка.

Что поражает нас в этом ладно сбитом, сквозном, как стрела, стихотворении? Настойчивая насыщенность звука – при отсутствии регулярного метра и, само собой, рифмы; напряженность интонации, почти раздражение; настойчивое гудение, но и достаточно умеренная аллитерация – оперение быстро летящей стрелы сюжета...

А сюжет задается в оригинале с третьего по пятый стих: в комнату случайно, “не туда свернув”, влетают через открытую дверь пчелы – вначале кружат, любопытствуя: куда это мы тут попали? – а потом, почувствовав ловушку, не на шутку встревожась – шмяк об окно! – и свобода, то есть все то, что они прежде в мире знали, вдруг превращается для них в недостижимое, в мечту. «Затвердевший воздух» становится непроницаем:

the air has hardened and the world they know...

И вот какое замечательное оказывается для этого средство: по-русски преграда возникает сама собой, в материале:

непонятно как затвердевший воздух...

Ведь сочетание «тв» в сто раз лучше указывает на твердость и невозможность, чем слово *hardened*: тут и светлая прозрачная твердость материала (легкий звон в слове «воздух» нам ничего в этом смысле не дает), и близость к прозрачному небу-тверди.

Теперь – сам полет: на это у нас есть летний звук «ле»: легкий полет, круженье по залитой июльским полуденным светом комнате – «ле» во «влетев» и беспечном «влекло»:

*В полураскрытую дверь мою как легко влекло!
Как турист, весело комнату облетев...*

и еще неясно, что все эти прозрачные светлые «лу» и «ло» – так удачно для нашего стихотворения появившиеся в русском языке предвестники твердого: стек-ла.

И тут мы принимаем решение: меняем пчел на одну пчелу. Может, по английски они, *bees*, зудят звонче, зато по-русски одинокая пчелА (смелый открытый звук А – привет, Москва!) летит ясней, прямее и дальше.

Вот она злится, не разумея стекла, пчела,

звереет, врезываясь в стекло...

Ну, с жужжанием во втором стихе (*they buzz and buzz against, the bees...*) придется, конечно, расстаться, но у нас на это свои есть «ж» и «з». Звуковые эти штуки в любом языке вообще не проблема. Гораздо интереснее передать странную затрудненность интонации стихотворения Греннана, неуспокоенность, отчаяние, кружение, прерываемое многократным столкновением со стеклом.

they buzz and buzz against...

Against – трудный, взрывной, почти трагический звук! Но в русском на это есть предлог в котором уже есть в сжатом до предела виде маленький взрыв лобового столкновения: **об**.

желанье сжимает ее и швыряет об...

И предмета, о который расшибается пчела, уже не нужно, да он и невидим, то есть его, прозрачного, как бы нет (в этом и ужас).

Постоянное разворачивание фразы и направления полета, переданное в оригинале чуть неловкой, с паузами, прозаической фразой: *It is...the way... they cannot understand...* Рассказчик тут и слегка ироничный наблюдатель (к чему английский язык вполне располагает), и сдержанный сочувствующий, можно сказать, скупой (*stingy!*) на эмоции. Но и в скупом этом описании, в неудобной фразировке, в нагромождении синтаксиса, полного препятствий, слышно, как нелегко дается это невмешательство.

*with their eyes keeps out of reach as, stuck there
with all the want just in front of them, they must
fling their bodies against the one unalterable law
of things – this fact of glass*

Вот она: разгадка – в третьей с конца строчке. А мы запустим стрелу сразу – и назовем стекло стеклом.

*... нет, не берет сверло тельца,
буравящего за чем светло...*

Алмазное полуденное сверло – наконечник стрелы-пчелы. И опять нам сказочно везет, так как в нашем распоряжении нешуточная настойчивость в существительных среднего рода, в муж-

ских настойчивых рифмах на «о»: **стекло, сверло, светло**. А еще удивительнее – случайное вроде сцепление английской цепочки с русскими звеньями. Так, *sting* (жало, жалить) – *bow string* (тетива) – задают траекторию полета через все стихотворение Грэннана. С другой стороны, наша «тетива», появившаяся из еще неназванного *string*, отзывающегося, в свою очередь, на жало-*sting* – окликает важное слово из предпоследней строки: «*tether*» (канат, узы, привязь: от пчелы – к недоступному объекту желанья). Смотрим в этимологический словарь. И, пожалуйста, очередные чудеса: *тетива* происходит в одной из версий именно от *tether* (литовск.), а по другой – от латинского «времени»: *tempus* – ну что еще может быть натянуто так *туго*? Натянем его, этот лук –

*...и тетива выпускает звук – ярость – электрическую
стрелу...*

О, нет, наша пчела не из тех назойливых и злобных, что покусали джентельмена из лимерика Лира-Кружкова. Тут – то, что русские психологи называют страшным словом «фрустрация». Тут невозможность желанья. И наша пчела этим желанием – и ужаливается. И для этого в русском языке масса возможностей: *desire* (желанье) – сродни *жалу*. Можно принять еще одно решение: не открывая развязки, назвать желанье желаньем:

желанье сжимает ее и швыряет об...

Впоследствии, в процессе работы выяснилось из переписки, что автор и собирался вначале назвать стихотворение именно так: «*Desire*».

Желанье! Не жужжание согласных – не такая уж это ценность. Желанье и отчаяние – *desire and despair*. «Жало» спрятано в «желанье», как кощеева смерть, а по-русски слово заканчивается этим чудесным остроконечным – **ье**.

И стрела летит.

Пчела летит, но есть непредложный «факт стекла» –

*...one unalterable law
of things – this fact of glass –*

«Факт стекла» можно заменить еще более окончательным,

непреклонным, звенящим – «закон»:

*...натывается на заслон
окна, на стекла закон...*

Есть в нашем распоряжении еще и непроницаемое (в обоих языках) «н»: злость, дующее отчаяние – и тут опять неслышанно везет: яркая, как факел, вспыхивает буква «я» в баснословно прекрасном русском слове: ярость – подобно тому, как как загорается *fire* в слове *fury*. Но насколько ж это русское «я» яростнее и ярче!

*...can only go on
making the sound that tethers their electric
fury to what's impossible, feeling the sting in it.*

*...Желанье сжимает ее и швыряет об,
и тетива выпускает звук – ярость – электрическую
стрелу,
она стекает вниз по стеклу,
и разгоняется вновь, и жалит ее стекло.*

Осталось сказать два слова о ритме и рифме. Примем еще решение: сделаем ритм более регулярным. Ибо кто сказал, что верлибр следует переводить непременно верлибром, четырехстопник – четырехстопником, а белый стих – белым? В разных языках восприятие одного и того же размера разное, потому это не только можно, но часто и необходимо – вводить поправку на слух. По-русски уровень нерегулярности сдвинут на несколько уровней вверх: то, что кажется нам шероховатым, для современного английского уха может показаться нестерпимо, до отвращения, гладко. Английский акцентный стих из перемежающихся пяти- и шестистопных строк дадим тоже акцентным (по-нашему – дольником), но более регулярным, чуть синкопированным, преимущественно трехсложным стихом. Введем настойчивую мужскую рифмовку, отсутствующую в оригинале: по английски она звучала б легковесно, а по-русски – вполне по-взрослому, настойчиво и хмуро.

И стрела – летит, тельце буравит неразличимую обидную преграду, возвращается, разгоняется вновь, как легкоатлет перед барьером – и разбиваясь, снова стекает вниз, по жалящему ее стеклу, и барьер в русском языке по необыкновенному совпадению – две буквы: с и т.

И, наконец, заглавие: взрывное «Up Against It» – в русском оказывается возможным передать предлогом и существительным, в громком столкновении которых – невозможность затеи.

Имон Греннан

ОБ СТЕКЛО

Вот она злится, не разумея стекла, пчела,
врезываясь в стекло.
В полураскрытую дверь мою как легко влекло!
Как турист, весело комнату облетев, она
натывается на заслон окна,
на стекла закон, на непонятно как затвердевший воздух –
нет, не берет сверло тельца, буравящего за чем светло –
о, как знакомо, недостижимо за,
желанье сжимает ее и швыряет об,
и тетива выпускает звук – ярость – электрическую
стрелу
она стекает вниз по стеклу, и разгоняется вновь, и жалит ее стек-
ло.

Об стекло – это ведь и метафора отчаянья в ремесле переводчика, любого – и стихов, и прозы, непреодолимая прозрачная преграда – все те невозможности, которые нам так хорошо известны и на которые так сладко сетовать поэту. Но на наше счастье, иногда удача помогает волшебным образом, не буравя стекла – оказаться «за». И переводчик тогда – вовсе не почтовая лошадь просвещения, а пчелка, каждый раз заново пробующая непочатую сладкую пыльцу родной речи, и каждый раз готовая удивляться: как же ладно и удачно в этой речи все сошлось и сложилось! Переводчику некогда думать ни о потерянном в переводе, ни о найденном, ни о нищете, ни о блеске своем. Бесконечные возможности валяются в языке под ногами – только подбирай.

Май 2008

Александр Вейцман

МАКСВЕЛЛ И ПЕРЕВОДЫ*

У русского читателя, привыкшего к англоязычному верлибру второй половины двадцатого века, поэзия Глина Максвелла может вызвать восторженное замешательство.

Максвелл не только обильно использует рифму, иногда довольно точную и музыкальную, но также не гнушается традиционными ямбом, хореем и анапестом. Его поэтика отталкивается от классического английского стиха, впускает в себя полтора века пост-уитменского новаторства, и вновь, уже переродившаяся и обогащенная, возвращается к классицизму. В своем роде – к неоклассицизму, в котором невероятная концентрация мысли сосредоточена в бегущей вниз по течению строке А к строке Б. Иосиф Бродский считал, что Максвелл преодолевает «большее расстояние одной строкой, чем большинство авторов – целым стихотворением».

Концентрация мысли не обязательно приводит к конкретной фабуле, точнее – не всегда способствует ее развитию. Нередко стихотворение движется по сюжетной траектории, которая вот-вот должна перейти к кульминационной метафоре, но именно на этом месте поэт направляет слог совсем в иное русло. Как и его англоязычные предшественники Э.А. Робинсон и Р. Фрост, Максвелл часто пишет повествовательные стихи, но повествовательность их бывает отрывиста. Типичное стихотворение состоит из пяти, шести строф, где каждая последующая строфа относительно автономна от предыдущей. Хаоса не происходит, а, наоборот, произведение превращается в мини-главы. Впрочем, иногда Максвелл дает волю анжамбеманам, и тогда несколько глав преобразуются в одну:

Потом, когда попали мы в столицы
Супердержав, то старенькие леди,
В них обитающие, говорили одна другой:

* см. примечания к тексту в конце статьи (стр. 107)

«Ах, эти? Они за нас». И мы почти дружили.
Хоть воспитанье им не позволяло кивнуть в ответ.
Под Триумфальной аркой когда пойдешь,

То, сколько глаз хватает вверх, читай –
На мраморе там наши имена.
Заметь, что в нашем языке нет гласных.¹

(«Союзники», перевод М. Эскиной)

Анжамбеман является лишь одним из инструментов сложного синтаксиса в поэзии Максвелла. Задача переводчика – попытаться сохранить смысл, ритм, звук, пробравшись через архитектуру грамматических условностей:

То-то лыбятся все, точно это гном
среди мраморных статуй. Им жажду не утолить,
залетевшим в магический круг, фьюить,

им ничем не насытиться, с чудом наедине
оставаясь, сладёнам. На том же крошечном дне
что ни ночь в заботах они одних:
пусть все будет или не будет, но их. Их-их.²

(«Темной цветок», перевод В. Гандельсмана)

Сложный синтаксис сосуществует с упомянутыми традиционными размерами и рифмами. Максвелл не провозглашает: «Назад, от верлибра». Более того, верлибр ему не чужд, хотя, вероятно, он менее «свободный», по сравнению с употребляемым в современной поэзии; периодически он переходит в дольник. Однако, классические метрика и рифма остаются в центре поэтической философии Максвелла. «Когда ты рифмуешь, ты таким образом вступаешь в диалог с теми, кто тебя старше, с теми, кто старше твоей собственной истории, кто старше чего-либо, что ты осознаешь или испытываешь»³, замечает Максвелл. Поэтому, переводы в идеале должны отражать его технические решения, чему привыкший к классическому слогу русский язык безусловно способствует.

Приходят чувства и уходят в никуда,
и в этом тоже память. В свежих думках
мне слышен голос, восходящий в вечера
ноябрьские; слышен ветер с судна.
Но, затихая, ни один из них пера

не колыхнет, не вдохновит попутно.

(«Стихотворение вспоминает поэта», перевод АВ)

Мысли

Претит внезапность, взгляд через плечо.

Мысль – не трещотка в лапах дикаря,

Не тень, отброшенная на паркет.

Она не отвечает за того,

Кто в телефонной трубке вдруг расслышит

Ее настойчиво зовущий голос.⁴

(«Мысль», перевод Г. Стариковского)

Другая особенность Максвелла, которую иной перевод стремится передать, – тенденция к интертекстам и стилизациям. Подобная тенденция неизбежна для поэта, чей взгляд обращен в прошлое с литературным благоговением. Когда Максвелл продуманно выбирает *terza rima* для романа в стихах «Time's Fool», как аллюзию на «Божественную комедию», то при переводе строка «When the train stopped I started and woke up» невольно вызывает в памяти слог из перевода Михаила Лозинского. В итоге, это уже другая *terza rima*, лишенная окончаний а-ля «творенье-вельенье», но связь с Данте неизбежна, напоминая поэму В. Гандельсмана «Там на Неве дом». Или возьмем максвелловское «The Tale of the Chocolate Egg» – сам поэт говорит о поэмаственной метрике из «Похищения локона» Александра Поупа. При переводе на русский это подразумевает пятистопный ямб и мужскую рифму, которые использовал Владимир Микушевич, переводчик Поупа. Не имитация – традиция движет переводчиком стихов Максвелла, ибо он, при другом наборе синонимов и звуков, представляет некоторое *alter ego* поэта, не только принимающего, но и культивирующего влияние того или иного предтечи на свои стихи.

Максвеллу близки и Оден, и Элиот, и Фрост. Не без участия Фроста – Эдвард Томас. Удивительны строки Максвелла о Мандельштаме: «Without a word of his I embrace his every / word. His work in mine and our lives only / words.” Совершенно особенную роль для него играет поэзия Бродского. Последний является одним из немногих, кого Максвелл переводит на английский (по подстрочнику):

Now drifting on a dark-blue wave
across the city's gloomy sea,
there floating by, your New Year's Eve –
as if life could restart, could be

a thing of light with each day lived
 successfully, and food to eat,
 – as if, life having rolled to left,
 it could roll to right.⁵
 («Рождественский романс»)

Максвелл-переводчик сохраняет здесь и рифму, и размер. Если большинству англоязычных поэтов Бродский известен стихами американского периода, то Максвелла не меньше интересуют его ранние стихотворения, написанные до 1972 года. Отголоски из раннего поэтического корпуса Бродского, где преобладающим размером являлся пятистопный ямб, можно найти в некоторых строках Максвелла:

У Бродского:

Some future night you will appear again.
 You'll come to me, worn out and thin now, after
 things in between, and I'll see son or daughter
 not named as yet.⁶

В какую-нибудь будущую ночь
 ты вновь придешь, усталая, худая,
 и я увижу сына или дочь,
 еще никак не названных...⁷
 («Любовь», перевод Д. Уайсборта и автора)

У Максвелла:

Some ancient will,
 Though night is safe and quiet here, commands
 You be watched over now, and, to that end,
 Exacerbates the wind and whipping rains,
 Or amplifies the howls of animals

Тишь в ночи
 Влечет меня по воле праотцов
 Спасти тебя, но этим прежний рев
 Животный, как и ветер, хлыст дождя
 Лишь нагнетаются, покой мой теребя...
 (“Храня тебя”, перевод А.В.)

Помимо “Рождественского романса”, Максвелл перевел на английский “Речь о пролитом молоке”, таким образом больше

погружаясь в бытовые рождественские стихи Бродского, нежели в вифлеемские. Бытовая тематика, где младенец, Мария, волхвы условно перенесены в наше время и позволяют автору вновь пережить главное рождение последних двух тысячелетий, находит место и в поэзии Максвелла:

Town of a hundred thousand hands
Locks in for snow. The sky goes somehow
Orange and green, orange and green
As the animals go where animals go:
Away, behind, due south, below.⁸

Город этот в сто тысяч голов
Запирается на зиму. Небо
Превращается в нечисть цветов.
Звери бродят повсюду, и где бы
Ни бродили – им нет пастухов.
(«Рождество», перевод АВ)

В данном случае Максвелл применяет трехстопный анапест, которым Бродский написал «24 декабря, 1971 года». Если торжественный амфибрахий, нередко появляющийся у Ахматовой, Пастернака и Бродского, отсылает нас именно к библейскому пейзажу – к жене Лота, к путешествию из Вифании в Ерусалим, к святому Симеону с младенцем на руках, то музыкальный и быстротечный анапест погружает читателя в рождественскую суету современных событий:

В рождество все немного волхвы.
В продовольственной слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
совершает осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
(«24 декабря, 1971 года»)

Возможно, что с поэзией Бродского Максвелла познакомил Дерек Уолкотт, у которого он учился в Бостонском университете. Максвелл пришел к нему в двадцать с чем-то лет, уже имея за спиной публикации в ведущих журналах. Уолкотт посмотрел на одно из напечатанных стихотворений и раскритиковал его от первой до последней строки. Назвал Максвелла настоящим поэтом, который ничего не ведаёт о поэзии. Писать стихи, вероятно, научить нельзя,

но Уолкотт попытался научить молодого поэта их читать. А главное – он заразил Максвелла любовью к театру и познакомил со своей драматургией.⁹

Пусть каждый лист,
Начав с азов,
Найдет для строк
Прозрачный слог,
Пока театр
Куда как прост:
Не до кулис,
Где мир – помост.¹⁰

(«Питер Брук», перевод Г. Стариковского)

Под влиянием своего учителя Максвелл тоже начал писать пьесы. Традиционные, пятиактные, насыщенные пятистопным ямбом. Критики упрекали его за чрезмерное увлечение этой метрикой но Максвелл парировал, что старый ямб – «метафора времени»¹¹. В одной из пьес – пересказ истории Орфея и Эвридики. В другой – судьба жертвы Джека Потрошителя. Самой удачной, на мой взгляд, является «Кровь жизни» – пьеса о последних днях Марии Стюарт. О королеве шотландской писали Шиллер и Цвейг, сочиняли музыку Доницетти и Слонимский, слагал в сонетной форме Бродский. Максвелл оттолкнулся от пьесы Шиллера, сократил количество героев процентов на восемьдесят и оставил Марию наедине с самой собой. Сам сюжет пьесы малозначителен; главные акценты – на внутреннем состоянии Марии, надрывные монологи которой раскрываются через ямбическую ткань. Порой произведение даже больше напоминает поэму, нежели драматургический опус. Тем не менее, дух «Марии Стюарт» Шиллера неизбежно витает над Максвеллом в «Крови жизни», и особенно это заметно в строфике, что в свою очередь побуждает иного русского переводчика задуматься над пастернаковским переводом «Марии Стюарт»:

...А я была – шотландцам королева!
И в грязь какую б гнусные министры
меня ни втоптывали в лондонских беседах,
с каким бы рвением ни спускали Вас с цепи,
не забывают никогда: мои глаза
на Вас глядят глазами поколений.

(«Кровь жизни», перевод АВ)

Глазами поколений когда-нибудь можно будет посмотреть и на поэзию Глина Максвелла. Завуалированную, волшебную, притягивающую рифмой и знакомым размером. Которую нелегко, но

хочется переводить. И, вероятно, – необходимо.

Примечания

Автор сердечно благодарит Любовь Краснопольскую и Марину Эскину за помощь в редакции этой статьи.

¹ Максвелл, Глин. Публикация переводов М. Эскиной и Г. Стариковского. Санкт Петербург: журнал Звезда, №4, 2005.

² <http://www.stosvet.net/union/Gand/translations.html>

³ Interview with Glyn Maxwell. Atlantic Unbound, Poetry Pages, 06/14/2001.

⁴ Максвелл, Глин. Публикация переводов М. Эскиной и Г. Стариковского. Санкт Петербург: журнал Звезда, №4, 2005.

⁵ Brodsky, Joseph. Nativity Poems. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2001, p.5.

Твой Новый год по темно-синей
волне среди моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

⁶ Brodsky, Joseph. Collected Poems in English. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2000, p.44.

⁷ Сочинения Иосифа Бродского (СИБ). Том II. Санкт Петербург: Пушкинский фонд, 1992-2001, стр . 265.

⁸ Maxwell, Glyn. The Boys at Twilight. Poems 1990-1995. Boston: Houghton Mifflin Company, 2000.

⁹ http://www.phoenixtheatreensemble.org/press/Maxwell_Guardian.html

¹⁰ Максвелл, Глин. Публикация переводов М. Эскиной и Г. Стариковского. Санкт Петербург: журнал Звезда, №4, 2005.

¹¹ http://www.phoenixtheatreensemble.org/press/Maxwell_Guardian.html

Ирина Машинская

ЖЕРТВЕННИК

*«Музыка – это и шелест, и говор, и стук,
и хрустенье, и визг...Зачем нет регистра «ветер»,
который интонирует десятиными тона?»*

Илья Сац

Часть 1. Adagio-Allegretto troppo: Топография. Замысел

При строительстве новой столицы рабочие переносили выкопанную землю в собственной одежде – идея одежды закрепились в именах героев и заглавиях написанных тут книг. И то: в Петербурге все время какая-нибудь погода. Одиноким прохожий не идет – перебегает, как Евгений – запахнув шинель, запахнув шубу, подняв воротник – сквозь полый город, сквозь пустой город.

*...Петер-пург,
Петер-вьюг...*

Через сто с лишним лет прибывший с юга писатель записывает: «Идея города, возникшая до высшей степени Пустота...» С Пустоты, с Нуля город начался и построился. Воля замысла – это ты, это твой великий соблазн.. Как странно, что другой, местный литератор назовет Петра первым русским нигилистом. Начать с нуля = свести к нулю?

«Леблон, автор генерального плана, был бит царем и вскоре умер.»¹

Но у него было и другое число: 14. 14-ый ребенок в семье, ставший царем-императором и овладевший 14 ремеслами, соорудивший табель о рангах с 14 классами, 14 сводится к 5. – Петр заложил город 16 мая 1703 года: $1+6+5+1+7+0+3=23=5...$

Новый Орландо откладывает тяжелую книгу и подходит к окну. Пока он читал, должны уже были наступить сумерки, но за окном все тот же день, только чуть более прозрачный.

¹Здесь и далее: из книги «История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней» Соломона Волкова. ЭКСМО, М. 2003 – и по мотивам.

Зеленовато-кварцевый северный свет – сквозь него, как сквозь огромные расставленные в разных плоскостях стекла, он видит, как копошатся внизу тысячи фигурок.

Мерцают слюдяные болотца. Стучат топоры.

– Замышлен, измышлен, исполнен – и вот декорации ожили, макет озарил заходящим лимонным солнцем, зарябила вода в игрушечных каналах.

Словно Гулливер, стоя на границе игрушечных царств, одной ногой в Швеции, другой в Финляндии, русский царь забавлялся, вовсе не прорубая окно (Франческо Альгаротти, 1739), а забивая дверь в Европу. Щепки – летели. Через полтора века Сталин, с нежным упреком: «Недорубал Петруха».

Метр задается стуком топора. Век восемнадцатый, потешный. Век девятнадцатый, железный, поистине жестокий стук. И сразу – век двадцатый, *настоящий*. Медными копытами лед колотя – медный всадник. Метроном – стук топора – вспомнился, исполнился. Не быть человеку счастливым в идеальном городе.

Петр – скупи

Юная столица должна была стать образцом практицизма. Но трудно представить себе более непрактичный город, чем созданный на острове с названием Заячий. Блеснула, как раскрытый циркуль, Нева с Малой Невой. Герда отправилась искать Кая в еще не построенном ледяном дворце.

ветер-бург

штер-пург

ветер, ветер на всем белом свете

Черновик проворачался тем временем в темнеющий от копоти и гари беловик.

Часть 2. Allegro con grazia: Каллиграфия Росси

Петербург построен на рифме, на метре, на аллитерации. На отзвуке мерзлой земли, на гранитном эхо берегов. Соединяющие строки, как легкие рифмы, разводные мосты, и звенящая прямизной, заглавная, сквозная – Невский проспект. Медными копытами лед колотя. – Медный всадник. По едва народившейся тверди идут волны парадов, играет военная музыка зданий: Синод, Сенат. Так, так, а потом вот так.

«Человек не может быть счастлив в городе, где мокрый гра-

нит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые, под ногами туман, над головой тоже туман.» И сквозь туман – подробный, дробный город, через полвека одомашненный пристальными акмеистами. Как же много жалуется в петербургской литературе! И вроде бы все о погоде, о пейзаже.... Знаменитая топографическая точность Достоевского – традиция, пошедшая от *Княгини Лиговской*. Запомним: и Лермонтов, и Достоевский получили военное образование. И не странно ли, что «натуральная школа» (Булгарин, рецензия на Петербургский сборник) возникла именно тут, в «самом умышленном городе».

Проспект – от *pro speculo*: смотреть вдаль. Замысел зрения. Город не на сейчас, город на перспективу. Парадная литография «Панорама Петербурга» Алексея Зубова, где уже изображены еще не построенные, а только замысленные здания.

Между тем мрачная подпольная мифология нарождается вместе с городом. Так при сочинении стихотворения нарождаются вместе ритм и шум. Так оркестровал потом – одновременно с записываемой музыкой – знаменитый ленинградский композитор.

Но вначале – ритм парадов, парадный замысел звука – плац, плац, плац. И – каллиграфия Росси.

Над желтизной правительственных зданий

Кружилась долго мутная метель...

Все в этом городе неслучайно, все недаром, всякое событие есть торжественный отзвук другого. Да и что есть рифма, как не ожидание звука? Вот-вот разрешится – когда опустит он копыта. Потому-то так хорошо получаются в этом городе стихи. Этот город звенит ожиданием, как страстью.

... И правовед опять садится в сани,

Широким жестом запахнув шинель

– правовед Чайковский, правовед Апухтин, правовед Алексей Жемчужников, правовед. Арсеньев...

светел бург

светел бел

не сти-не сти не сти

Бессонные рассветные бледные фамилии : Белый, Бальмонт, Блок – зеленые, синие, желтые вагоны, путешествия – из Петербурга в Москву и обратно. Поблекший при дневном свете балаганчик. Блок, не найденный Кай.

Петербург условен, как условен балет. И не случайно, что родившийся в России любимый архитектор Николая, Карло Росси, был сыном итальянской балерины. Город, где все здания должны быть одного роста, город на пуантах, столица-на-мизинце. Демо-

кратия аристократизма, ровные линии дворцов, острова – бесцветные полувоенные названия: Первая линия, Вторая линия.

А над Невой – посольства полумира...

Иностраннный легион России, вплавленный в ее сырое тело не то алмаз, не то просто полевой шпат. Кварц, кварц, кварц. От него так светел гранит. И вода отсвечивает этим нерусским светом.

В Петербурге девятнадцатого века 10-20 процентов – иностранцы. Плавильная светлая чаша – как и другой страшный-прекрасный новый Амстердам: Нью Йорк. «Для этих город был скорее не Петербургом, а «Питером», в этой кличке смешались растерянность, фамильярность, некоторая ирония, цинизм, доброжелательность, – сложная смесь, характеризующая отношение новичков к принявшей их столице».

И по вертикали – все по-немецки определенно – шпили, вместо сорока сороков. Шпили, шпили, штыки...

Адмиралтейство, солнце, тишина!

И государства жесткая порфира,

Как власяница грубая, бледна.

Черный люд, белый люд. Белый лед, черный мост. Замысел шахматной доски Так в солнечный ветренный день и в Манхеттене идешь с А1 на Е8. Эти прописи понятны и пришельцу – стриты-авеню, белые ночи, зимние дни.

Это тоже – условность, нереальная бодрость умысла, но, все равно, там и там нарушаемая отчаянием вдруг пошедших вкось улиц, сгнившей черной хаотической сердцевиной обгрызанного Гудзоном яблока, заветрившимися окраинами и разбросанными семечками островов.

«Человек не может быть счастлив в городе, где мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые...» Каменный остров, Каменный проспект – мираж, окаменевший уже окончательно после Петра, при Анне Иоанновне. Едва материализовавшаяся легенда, уже не справляющаяся сама с собой. Литография, не ставшая идеальным городом, город, не ставший литографией.

Гости из будущего? Лотова жена, обернувшаяся вперед.

Часть 3. Allegro molto vivace: Гнёт

«Ужо тебе.»

Медный всадник

Чему приносится в жертву судьба, жизнь, людская плоть?
Прихоти, климату? Воле?

Петер – рук.

Но есть ведь и другое: «из рук моих – нерукотворный град...»

Пластичная, естественная, как естественен и потому *неповторим* Блаженный. Московская кажущаяся неразбериха нерукотворна. Москва разбегается, как Вселенная. Ритм ее – волновой (толпы в московском метро – разливаемые). Она и в плане волновая, а не кольцевая И звучит, как волна: Моск-ва-а. Начнешь ее давить – расплзается, как квашня. А Петербург – как кристалл с уже заданными гранями, лишь трещины по нему, как весной по невшскому льду – и молчит.

Питер-пи-терпи-терпи-терпи

Чужая воля, гнет, жертвенная чаша империи. Окровавленный русский лед – двадцать пятого, пятого. Где твой Кай? – в Крестах.

Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар, Отыми и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар...

Все отняли, ничем не пренебрегли.

Бедные люди, медные всадники.

Вот Петр, заставлявший плясать падагрических стариков на ассамблеях, вот Сталин, пускавший Хрущева вприсядку – ну да, мы знаем. Но вот еще странное сближение: Сталин и Николай Первый: умерли – по старому стилю – в конце февраля, оба – после тридцатилетнего правления (1825-1855 и 1924-1953), такого долгого, что подданным, незащищенным и открытым, как на плацу, казалось – и внуки их будут жить при том же государе. А как любили вмешиваться в культуру! А какие были – по легенде – аскеты, из возводящих свой аскетизм в образ. Военная форма, сержантская выучка «Умирая в Зимнем дворце на простой железной кровати, Николай сказал сыну Александру: «Сдаю тебе свою команду не в порядке».

Два великих бестселлера девятнадцатого века написаны в Петербурге:

1. Бедные люди. 2. Мертвые души...

Циркуляры, циркуляры, партикулярное платье, артикулированная речь, перпендикуляр виселицы Казармы, казармы, лед, вода, гранит. Его Превосходительство Казначейство, Его Первостроительство Адмиралтйство, Его Превосходительство Сам Петербург.

Черно-белый? Нет, и фиштакшковый, и главное – желтый... «Желтый пар петербургской зимы, / Желтый снег, облипающий плиты...». Как другой, так же сильный нелюбовью все прибывающих жителей: город *желтого дьявола*. С каким жаром ненавидел бы Гоголь Нью-Йорк, с каким ослепительным пылом.

Желтые обои. Желтая мебель «Был в лампочке повышенный накал, / невыгодный для мебели истертой. / И потому диван в углу сверкал / коричневою кожей, словно желтой...» Да это же Достоевский! Блеснул симметрический циркуль – рассветные лучи над макетом идеального города. Не стоит сомневаться, что стало бы с Достоевским при Иосифе I, может быть именно так бы и было: вначале арест, потом пытка потешной казнью, а потом ссылка. По делу петрашевцев проходили 22 человека Казнь, до мелочей разработанная самим Николаем, назначена на 22 декабря 1849 года. Ее местом он выбрал плац Семеновского полка. Тираны, как и судьба, любят забавляться симметрией чисел.

Достоевский, как говорит легенда, уже на эшафоте успел пересказать соседу сюжет задуманной в Петропавловской крепости повести. Эта легенда похожа на правду, потому что похожа на Петербург, самый рабочий город в России – и именно потому не сдавшийся.

Петербург построен на энергии сопротивления: Всадника – болотистой косности почвы, и почвы – копытам Всадника.

Часть 4. Adagio lamentoso

*«...все струны порвались, но звук еще дрожит,
И жертвенник погас, но дым еще струится»*
Апухтин

Он стоит у окна. Зеленовато-серебристый северный свет – и сквозь него, как сквозь огромные расставленные в разных плоскостях стекла, он видит, как копошатся тысячи фигурок. Стучат топоры. Загадочно мерцают болотца. И вот уже не в них, а в узких

каналах отражаются елисаветинские дворцы и торцы, и тихо идут по Неве корабли. Гудят, пожирают округу пожары. Город выгорает – и вырастает в камне, и в небе, как на нотной бумаге, чертятся скрипичные, виолончельные голоса шпилей, а в секции ударных на плацу тяжело и уже устало – маршируют полки.

Следуя неведомому, но неумолимому закону, с загадочной, многозначительной периодичностью вспухает Нева, и он вновь и вновь видит мечущиеся фигурки, лодки, лодки, и тут сошедшая с ума река отрывает целый домишко и небрежно зашвыривает на отдаленный остров.

Но рано или поздно вода спадает, и толпа снова заполняет освещенные множеством масляных – нет, уже газовых фонарей улицы. К театральному подъезду подъезжают кареты, перемежаются свет и тьма. На всех углах продается газета «Копейка». Авиаторы кидают апельсины из своих аэропланов. Луи Блерио обедает с Ахматовой и Гумилевым на Монмартре, и мерцает в светлых сумерках записка с телефоном, подброшенная в туфельку АА. А потом город опять горит, и проваливается под землю, и исчезает как мираж, и возникает снова.

Прозрачная весна, блуждающий огонь... Фабрики остановились, и небо стало голубым. Город увидел сам себя, как впервые.

«Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей путоты, ничего не было....В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта еще пахло шоколадом»...

Ночью по улицам мчатся пожарные в шлемах, с пылающими факелами в руках, над Невой лопаются, шипит фейерверк. А утром – полупустые улицы, голодные, ослабевшие люди, пробивающиеся меж оставшимися от вчерашних растерянных первомайских процессий декораций: зеленых полотен, и оранжевых кубов, и красных с черным парусов....

Он стоит у окна и видит Город – бледное пятно восходящего солнца над асфальтом, лимонную пятнистую мостовую, осыпающийся угол бывшей фабрики, рельсы, бурые струйки пива, пар из люков: жертву приняли.

2003

Виктор Клоков

О БОРИСЕ РЫЖЕМ¹

Надо построить какое-то пространство, не декорацию и не балаганчик. Что-то вроде прихожей в другие миры. Ну а из чего же строить, как не из себя... поэтому начну так. Почти эпически.

Много-много лет назад, в своей второй жизни, когда первая рухнула, обвалилась и распалась на довольно несимпатичные ошметки, я полюбил ночную работу. Совершенно пустые машинные залы с громадами ЭВМ, приглушенный свет, серо-голубые шкафы, центральные панели с пробегающими огоньками. Негромкий шум кондиционеров, стрекот печатающих устройств, жужжание дисководов и вихревое пожирание перфокарт с невероятной скоростью вакуумной подачи. Машины казались живыми, я понимал их и почти физически ощущал, что творится внутри, как перемагничиваются ферритовые сердечники оперативного запоминающего устройства, по каналам струятся потоки данных, я знал назначение лампочек на панелях и видел, когда машинам плохо и им нужна помощь. Высокие потолки, чистый прохладный воздух, неповторимые запахи электроники и мои программы. Ночами я учил их делать предписанное и учился у них сам. В коридорах института стоял аромат натёртого мастикой паркета, шторы закрывали окна и ещё ночное почти полное безлюдье. Оттуда я возвращался домой...

Дома было уютно, поскрипывающие досчатые полы и паркет в моей комнате, раскаленные чугунные радиаторы, окно с девятью рамами, которое можно было держать открытым даже зимой. Шкафы с книгами, кресло, письменный стол и тахта. Мама обычно ещё спала, я готовил завтрак, добывая его из огромного холодного шкафа. В его закоулках, ведущих к форточке, стояли банки с вареньем, грибами, огурчиками. Можно было постоять, прислушаться и выбрать то, что хотелось именно сейчас. Потом я брал книгу, какая попадалась под руку или настроение, напяливал наушники, включал магнитофон с записями Долиной, которая не Лариса, или

¹ см. Борис Рыжий. Ранняя Лирика. Публикация И. Князевой. Стороны Света №7 (www.stosvet.net/7/ryzhiy/)

другими, тоже по настроению, и устраивался поудобнее. Читал, дремал, снова читал. Наконец засыпал и просыпался уже днём.

Между этими двумя моими мирами был третий, который мне не нравился. Это – дорога домой. Город был населён, а мне не нужны были люди. Мне были неприятны полупроснувшиеся дома, зевающие прохожие и заранее уставшие от работы временные жители троллейбусов. Чаще всего я добирался домой на такси, это всего 10 минут и если садишься на заднее сиденье, то водитель не пристает с разговорами. Не всегда удавалось поймать машину и тогда я ехал на троллейбусе. Рано утром самые первые шли по маршруту почти пустыми. И однажды, только один единственный раз... это была зима, не очень морозная, с непонятым снегом-неснегом-дождём-градом-крупой... я ехал в троллейбусе и случился снег. Настоящий, невозможно красивый, пушистый и мягкий. Он не падал, не кружился, а опускался из ниоткуда, укутывал деревья, провода, крыши и карнизы. Застилал улицы, тротуары и скверы. Он серебрился в лучах фар и уличных фонарей, в нём исчезали контуры и таяли расстояния.

Я смотрел на снег, давно проехал свою остановку, не хотел отрываться от увиденного. Совсем не было машин, троллейбус оставлял свою и только свою колею, и хотелось ехать бесконечно и неважно куда, только бы оставаться рядом со снегом. Я вышел, или как говорят – сошел, может быть, немного и с ума. Искупался в сугробе, посидел на скамейке, слепил что-то несуразное и пошел к дому. Дышал снегом, ловил ртом снежинки... шёл, петляя по улочкам, останавливаясь и не думая ни о чем. В эту и только в эту ночь два мира соединились снежным мостиком, потом был дом, все ещё пахнувший снегом, и я и сейчас нахожусь там. Это можно – вернуться и прожить мгновения заново. Невероятная, никогда не повторенная гармония, неразрывность моего собственного пространства. Ни одного разрыва, через который утекает материя настроения, ничего не надо поправлять или сглаживать. Нет дыр, нуждающихся в заплатках, и нет никого и ничего, что мешало бы плавать или летать.

Отсутствие разрыва – это то, зачем я написал это предисловие-прихожую.

Не так важно, что дома я немедленно выполнил тогда ещё ненаписанный завет Венички Ерофеева и уж совсем неважно, что больше никогда это не повторилось, да и зачем? Это – было и, значит, есть и сейчас.

Вот такая у меня получилась прихожая к миру, в котором скоро появится Поэт Борис Рыжий. Совсем не классик, ещё не классик, хотя уже и в Вечности. И ещё... оказавшийся своими стихами здесь и сейчас, когда несколько случайностей уже просто не оставили возможности обойтись без него.

Пока я спал, повсюду выпал снег –
он падал с неба, белый, синеватый,
и даже вышел грозный человек
с огромной самодельною лопатой
и разбудил меня. А снег меня
не разбудил, он очень тихо падал....

... Стоя у окна,
я слышу плач и вижу снег. Едва ли
теперь бы побежал, не столь горяч.
(Снег синеват, что простыни от прачек.)
Скреби лопатой, человек, плачь,
мой мальчик или девочка, мой мальчик.

Оставим в покое даты, как хочу – так и читаю. Попытка прочесть снег. Понимаете, снег не должен, не может кричать или плакать. Кричащий снег или плач на снегу – нонсенс, разрыв его сущности, смысла укрытого белизной полусна. Все слышали, но мало кто сам знает и испытал: в снегу тепло. Он – последняя линия обороны, передышка, отдых и собирание сил.... пока не проявится то, что под снегом. И он может быть только белым, никаким больше. Его оттенки – это только отражения. Снег синеват, что простыни от прачек – уже катастрофа, потому что никакой синькой не закрыть серость беля от прачек, таких – какими я их знаю. А ещё я не знаю, когда, почему и зачем снег стал горячим, черным, кровавым, но это уже не снег и даже не его агония. Это – разлом, провал в никуда от встречи несоединимого. Встречи, в которой не бывает побед, а случаются только исчезновения.

Помните – в декабре в той стране снег до дьявола чист... Было ли это? Возможно, я не стану спорить. Осталось ли? Похоже, уже нет. Что остается? Наверно уйти, может быть, и так:

...мы с тобою пойдём туда,
где над лесом горит звезда.

...мы построим уютный дом,
будет сказочно в доме том.

Да оставим открытой дверь,
чтоб заглядывал всякий зверь

... ..а когда мы с тобой умрём,
старый волк забредёт в наш дом –

хлынут слёзы из синих глаз,
снимет шкуру, укроет нас.

Будет нас на руках носить
да по-волчьему петь-бубнить:

«Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Бу-бу...»,
в кровь клыком раскусив губу.

Уйти так – безумно красиво, это невозможная роскошь детской сказки, с исчезнувшим временем и дверью, открытой зверю, но закрытой для людей из твоего прошлого.

Так вот... я никуда и ни к чему не клоню и даже, в общем-то, ни о чем не рассказываю (здесь.) Будут стихи, будут и тающие на глазах рассуждения. Я не хочу ничего изменить, а только показать. А это очень трудно, потому что картина соткана из расхожих банальностей, не желающих признаваться. Признаваться не в том, что они банальности, а в том, что только собранные вместе – они не банальны. Вот они и борются, дерутся в умах и ощущениях, прячутся и не хотят соединяться.

Снег универсальнее воздуха и поэтому я говорю о снеге. Это воздух через полкилометра может стать другим, морским, сосновым или же бензиновым, заводским. Его можно кондиционировать, можно окрасить искусственными запахами. Можно сделать только своим, нацепив противогаз. Или закрыв окна дома или авто. А снег – не бывает личным, он одинаков на каком-то протяжении пространства, его не изменить и не присвоить другим, иным, чем у соседа. И ещё одно, самое важное на мой взгляд. Без воздуха нельзя обойтись, мы вынуждены дышать. А снег – необязателен, тем и значим. Тем, что оставляет выбор – быть с ним или нет.

Сейчас рассказ рухнет в бездну, так надо. Но сначала ещё одно стихотворение.

Урал – мне страшно, жутко на Урале.
На проводах – унылые вороны,

как ноты, не по ним ли там играли
марш – во дворе напротив – похоронный?

Я расскажу об одной семье. Она – из деревеньки в изрядно депрессивном районе, он – с западной Украины, оказались в Риге, поженились. Он отсидел ещё там, недолго, обычная бытовуха, ничего экстр. Сын. Вспомогательная школа, родители пили, хоть дом не был бомжеватой развалиной, скорее, наоборот. Совсем мальчишка, в голове мало и в очередной пьянке-гулянке он зарезал своего друга. Почти просто так, всплеснуло. Десять лет от звонка до звонка. Дочь. Вышла замуж за «откинувшегося», двое детей, как-то в гостях украли деньги. Просто так взяли. Потом муж снова сел за что-то. Ещё родственники. Он – путевой обходчик, напился, попал под поезд, отрезало ноги. Другие по другой линии. Семья, он – сидевший, она – пьющая, дочка – наркоманка. Таки и жили себе. В кругу, где так принято, где это норма и не стыдно совсем. Большом-пребольшом кругу... Насколько большим ?

В том доме жили урки –
завод их принимал...
Я пыльные окурки
с друзьями собирал.

.... Но стороною беды
не многих обошли.
Убитого соседа
по лестнице несли.

Я всматривался в лица,
на лицах был испуг.
...А что не я убийца –
случайность, милый друг.

Какой снег падает, такое и остальное. У меня в детстве была тонкая книжка, называлась «Путешествие капли воды», по-научному – круговорот воды в природе. Конечно, мой здешний снег – это аллегория ауры места и времени, но не только. Ещё и он сам, снег выпавший, растаявший и... Такое сложное «И». Напоивший землю ? Смешавшийся с грязью ? Перенесший своими ручейками что-то куда-то ? Или унесший, забравший ? По-разному бывает или даже одновременно. Только завтра с неба нападает то и только то, что растаяло вчера. Вчера изменить уже нельзя, а значит и завтра – тоже?

В длинном пальто итальянском.
В чёрной английской кепке.
В пиджаке марки «Herman».
В брюках модели «Dublin».
Стою над твоей могилой,
Депутат сталинского блока
Партийных и беспартийных
Пётр Афанасьевич Рыжий –
Борис Борисович Рыжий,
Не пьяный, но и не трезвый,
Ни в кого не влюблённый,
Но и никем не любимый.

Да здравствуют жизнь и скука.
Будь проклято счастье это.
Да будет походка внука
Легче поступи деда.

Выберемся на время из сугроба. Сiju я здесь и сейчас, читаю стихи Рыжего, что-то пишу, о чём-то думаю. О чём? О том, что не здесь и не сейчас, кто-то мог бы тоже сидеть и читать. Смешаем времена, это можно.

Кто-то совсем-совсем недавно сказал бы – «Упадничество, искажение советской действительности, антисоветская агитация... прочая-прочая-прочая... стереть в лагерную пыль.»

А кто-то потом, не знаю когда... наверно прочитает и скажет – «Вот какими они были тогда, в такой стране, вот чем они жили и жили они так...».

Это такая редкость – когда стихи не отражают ничего, не рассказывают ни о чем, не зовут, не вдохновляют, не жалуются, не плачут или не кричат или что угодно ещё не. Кроме одного – они живут той же жизнью, что и их время, до чертиков той же. И ещё они не просто живут, а сами стали – уже стали немалой частью этого времени, хоть и сейчас почти неизвестны. Живут и думают нашими головами.

В черной арке под музыку инвалида –
приблизительно сравнимого с кентавром –
танцевала босоногая обида.
Кинем грошик да оставим стеклотару.

Сколько песен написал нам Исаковский,
сколько жизней эти песни поломали.
Но играет, задыхаясь папироской,
так влюбленно – поднимали, врачевали.

Отойдем же, ведь негоже в судьи лезть нам, –
верно, мы с тобой о жизни знаем мало.
Дай, Господь, нам не создать стихов и песен,
чтоб под песни эти ноги открывало. ...

Вернусь к своему миру. Только сейчас не в снег, а сначала в дождь. Летний дождь, не помню какого года в начале 60-х. Под дождём замечательно гулять, мокрый жасмин пахнет, трава прохладная, и сидеть на даче совсем не хочется. А меня мама не пускает. Позвонил отец и сказал - сидеть дома. Я не знаю, да и вряд ли кто вообще знает, насколько действительно было опасно под дождём бегать, до Новой Земли не близко и то, что там взорвали очередную бомбу... не знаю, попадало ли что-то в дожди. Где-то – точно попадало. Так или иначе, меня прятали от дождя.

И так или иначе – все мы от чего-то спрятались. По возможности, а они у всех разные. Так кто-то может говорить – в нашем доме, районе, улице, городе или стране – всё ок. Мы спрятались и нет соседей-алкашей. Спрятались – и нет ещё чего-то, не к ночи будь названо. А оно – все равно есть. Мы хотим не замечать – а оно в нас, замечай-не замечай. В норке можно отсидеться, можно и прожить жизнь, можно норку там и так вырыть – где безопасно и красиво вокруг, так что и норка без запоров, за символической дверью. Можно ещё зонтик приспособить, например натовский.

У Бориса Рыжего наверняка были все возможности отгородиться. Биография к этому весьма располагает. Кстати, отгородившись – можно и вылазки делать, экскурсии себе устраивать, потом о них рассказывать в уюте и тепле безопасности, даже можно при этом охать и ахать. Ну, а он не стал ни отгораживаться, ни охать. Стал писать стихи, много, очень много стихов о смерти. Почему? Думаю – потому, что бывшее с ним рядом не назвать жизнью.

Здесь много плачут. Здесь стоят кресты.
Здесь и не пьют, быть может, вовсе.
Здесь к небу тянутся кусты,
как чьи-то кости.
Когда б воскресли все они на миг,
они б сказали, лица в кисти пряча:

«Да что о жизни говорить, старик...
...когда и смерть не заглушает плача».

* * *

Ночь. Каптерка. Домино.
Из второго цеха – гости.
День рождения у Кости
и кончается вино:
ты сегодня младший, брат,
три литрухи и назад.

И бегу, забыв весь свет,
на меня одна надежда.
В солидоле спецодежда.
Мне почти семнадцать лет.
И обратно – по грязи,
с водкою из магази...

Что такое? Боже мой:
два мента торчат у «скорой».
Это шкафчик, о который
били Костю головой?
Раз, два, три, четыре, пять
и – в машину, вашу мать.

Зимний вечер. После дня
трудового над могилой
впечатляюще унылой
почему-то плачу я:
ну, прощай, Салимов К. У.
Снег ложится на башку.

Здесь немножко задержимся. В воспоминаниях о Рыжем Андрей Пурин говорил – «Не припоминаю, кстати, чтобы Борис говорил что-либо о Есенине (а, по-моему, лишь о стихах он и говорил – о чем же еще?) – разве что высказывал справедливую мысль: всё лучшее в Есенине – от Блока, а раз так – вернемся к первоисточнику...»

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бесмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.

Вот этот первоисточник с его «Исхода нет» вряд ли мог даже предположить степень торжества гегемона, выраженную в трёх литрухах. Такую степень, по сравнению с которой бессмысленный и тусклый свет – недостижимая вершина неторопливой задумчивости. Задумчивости и значит все же – осмысленности.

Что ж, пора снова к снегу. Снег ложится на башку. И хочется сказать: Остановите планету, я сойду.

Это как солёная вода и солнце. На пляже поваляться неплохо, если кожа цела. А если содрана – какво? Или в океане на плоту, даже если и цела, правда это ненадолго бывает. Мы ведь по-разному толстокожи, реагируем по-разному. Это нормально. У Рыжего кожа была содрана, вот он и сошел. А Земля не остановилась. Впрочем ещё один самораскручивающийся маховик, катящийся камень – алкоголь. Он тоже сдирает кожу и совсем не всегда он отупляет. Слишком часто только помогает принять решение сойти. Понимаете, не микросоциум влияет на нас, это мы сами на него влияем, но никак не наоборот. А на нас влияет весь наш мир. И прошлый и сегодняшний и даже будущий. Я не оговорился – наш мир – это тот, который у каждого свой. Дело только в том, из чего он состоит.

Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.
Отвечает цыганка, мол, ты умрешь,
не живут такие в миру.

Станет сын чужим и чужой жена,
отвернутся друзья-враги.
Что убьет тебя, молодой? Вина.
Но вину свою береги.

Перед кем вина? Перед тем, что жив.
И смеется, глядит в глаза.
И звучит с базара блатной мотив,
проясняются небеса.

Вряд ли кого-то из нас хоть в какой-то степени (не считая цен на кофе) беспокоит Кот'д'Ивуар, не правда ли? Он вне нашего мира, его вполне можно не замечать, и дичью стало бы требование

проникнуться скорбью и от того прослезиться или слезть с планеты. Или отказать себе в чашечке кофе, например. Вина, о которой говорит Рыжий – это ведь вина за проросшие корни в чужом мире, в мире, который – не твой. От понимания – разным мирам нельзя встречаться. Встретившись – они оба становятся непригодны для жизни.

Мы вернёмся к снегу, только сначала ещё постоим под дождём. В нашем доме был двор и садик. Садика давно нет, на его месте паркинг, отгороженный от двора мёртвой стеной. А когда-то садик был для меня целым лесом, в его глубине стояла деревянная крытая беседка, росли кусты и деревья, а ещё недалеко на замшелой полянке в вечно сыром углу под забором был проделан лаз в смежный мир стеллажей, железяк и досок склада какой-то конторы. Недалеко – это метров десять, но это было очень много. Странно, километры по улицам города были меньше нескольких метров садика, в котором я знал каждый кустик одуванчиков и который имел восхитительные и почти опасные уголки, свои тайны, закопанные совочком и впоследствии позабытые. Выходы в лабиринты подземелий и это всё-всё-всё имело свои, отличимые и запомненные навсегда запахи. Во время дождя запахи становились острее, в беседке можно было сидеть часами, болтая ногами и слушая падение капель. Этот садик тоже до сих пор со мной. Может быть, и потому, что его нет, что в него не вернуться. Исчезая, он не оставил привкуса потери, как и сам дом, как и квартира, да и люди из этого дома тоже. Та жизнь закончилась, началась другая, меня нет в той жизни, хотя я могу иногда туда забрести, как сейчас, например.

Наверно неплохой способ выживания – уйти, не оставив части себя, эгоистично забрав всё нужное и оставив около мусорников мешки, чемоданы, старую мебель и даже фотоальбомы. Оставив кому-то голые стены. К голым стенам не приходят призраки, им нечего там вспомнить. И некого. И совсем-совсем иначе у Рыжего:

Старенький двор в нехорошем районе –
Те же старухи и те же качели.
Те же цветы и цветы на балконе,
Будто не годы прошли, а неделя,
Как я отсюда до капельки вышел.
До испарившейся с века слезинки,
После упавшей на серые крыши
Капелькой. Радиоактивной дождевой.

....

Благо и то – постоять, оглядеться

И навсегда удалиться отсюда.
Ты отпусти меня, глупое сердце!

Мне было куда спрятаться от неизвестно-радиоактивного-ли дождя, а вот родившемуся в закрытом городе Рыжему – некуда, да он и не стал прятаться. Я много раз бывал на Урале, и в Свердловске тоже, и всякий раз с неизменным облегчением улетал оттуда. Там не мой мир, хоть и видел я его в основном из гостиничного люкса «Исети». Не стану даже задаваться вопросом – не обидно ли это для того мира, который не мой. По крайней мере, лучше я бы его не сделал своим присутствием. А он – меня.

Продолжу... может быть самую трудную часть своего рассказа. Пусть и здесь появится снег. Сначала пусть совсем немного, несколько крупинок с неба. Потом побольше, потом может проясниться, ночное небо засверкает звёздами, потянет ледяным холодом, потом снова выплывут облака и пойдёт снег. Пусть его насыплет много, очень много, так, что и не прокопать дорогу к дому. Один раз мне пришлось просто плыть по сугробам к крыльцу, оставляя за собой вмятины, немедленно заполнявшиеся рушащимися снежными краями. Пусть снега будет даже ещё больше, он все равно когда-то прекратится, потом я раскидаю его фанерной лопатой, появятся дорожки, их можно расширять, может быть, их заметёт снова, но когда-нибудь наступит и весна. Знаете ли вы, что самое страшное – это не когда снега очень-очень много? И не когда его совсем нет. Самое страшное – когда завтра его будет (или не будет) ровно столько, сколько и сегодня. А потом послезавтра столько же, и через два дня и всегда. Самое страшное – когда ничего не меняется, а тупо и бессмысленно повторяется изо дня в день, и ты знаешь – завтра будет то же самое.

Древняя попытка падающей каплей. Сурдокамера. Сенсорный голод. Не можешь изменить мир – значит, изменяешь себя, так и происходит. Это иллюзия, что падающими каплями алкоголя человек меняет только видение мира, нет – он изменяет себя, потому и видит иначе. Я знаю, как это происходит. Знаю, как меняются краски и появляется смысл в мертвой бессмыслице. Как брызжет энергия, взятая взаймы из ниоткуда, и ещё знаю, как труднее и труднее выплачивать проценты по этому кредиту. Иллюзорный мир в твоём кармане, а из него – из кармана – ещё и черпают полной мерой восхищенные тобой и твоими достоинствами почитатели или... или прихлебатели. Этот мир в твоём кармане, но другой мир, смотрящий на тебя и показавшийся тебе застывшим в постылой неизменности – уже не захочет меняться для тебя. И не он тебе,

а ты ему станешь чужим. Он не захочет показать тебе, каким он может быть. А если и покажет, то скорее назидательно, с укором, свысока или – что ещё хуже – с жалостью. И тогда...

Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участия,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей – в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.

...

Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.

Я не стал бы писать это, если бы не умирал раньше. Меня даже убивали, и я убивал себя сам. Потом возвращался, наверно оставалось что-то впереди, к чему стоило возвращаться. Но узнать об этом я смог только тогда, когда сам себя выбросил в другие миры, другие пространства и другие времена. Я не жалею об этом. Сейчас в моём мире оттепель.

Оттепель. Просёлочная дорога превращается в бугристый каток с лужами и осколками льда. Мне негде бегать в такую погоду, а бегать хочется. Сажусь в автомобиль и еду к шоссе, бежать по асфальту хуже, но ещё есть пологий спуск к речке, здесь не растаял снег, а вода стекает себе вниз. Недалеко заснеженное поле, холмистые перелески, речушка, так и не вставшая в этом году. Недалеко от шоссе развалины. Стены, сложенные из гранитных валунов, остатки кирпичных арок окон и входа, всё это разбито, изуродовано и растащено. Что смогли выломать – то выломали и унесли. Или побросали рядом, если оказывалось тяжелым.

Когда-то здесь был трактир. Двери распахивались, засыпанные снегом люди с мороза входили в жаркий зал. В очагах горел огонь, жарилось мясо, в котлах побулькивала похлёбка. Со стен свешивались окорока и колбасы. На притолочном бруске стояли кор-

зины с тыквами и засушенной зеленью. Еда разложена в глиняные горшочки, они долго хранят жар, можно сидеть и неторопливо пить пиво. Есть, разговаривать, отогреваться перед продолжением пути или просто коротать время. Трактир не противопоставлен пейзажу и снегу. Он дополняет их, не отгораживает человека камнями толстых стен, а, наоборот, – даёт уютно побыть частью пейзажа, частью леса или поля, частью этого кусочка страны и, значит, – мира. В этом легко убедиться, мысленно перенеся трактир в щель между бетонными коробками типового спального района. Почувствуйте разницу и верните трактир на место.

Сейчас зима, внутри толстый слой снега, через него пробиваются кустики, даже берёзка успела вырасти среди битого камня. Зимой можно зайти внутрь, постоять там, походить, потрогать камни. Разбитые стены почти не защищают от ветра, над головой хмурое небо, под ногами обломки. Иногда кажется – настанет лето, стены укроют от жары, чем-то зелёным зарастут. Руина тоже может быть уютной, замшелой и древней, хранящей знаки прошлых времён. Но здесь ничего этого не будет, кроме горок мусора и смрада разлагающихся отбросов. Да и не лето сейчас. Оттепель.

Оттепель. Заигранное, многозначное слово, слово-ожидание, слово-иллюзия. Как будто растает снег и сама собой появится крыша, в окна вставятся стёкла и дубовые, почти нескрипучие двери откроются в пригодное для жизни прошлое. А прошлое не станет будущим, впереди только разочарование от несбывшегося, от сломанного и убитого когда-то. Прошлое не вернётся сюда, ему нечего тут делать. И проросшая берёзка тоже погибнет, её корням нет места в каменных завалах. Иллюзию рождает яркое голубое небо, пробивающаяся травка, почки на деревьях. Но стены и обломки не умеют оживать весной.

Сейчас оттепель. Только одно слово, которое совпало со стихотворением Рыжего:

Вдруг вспомнятся восьмидесятые
с толпой у кинотеатра
«Заря», ребята волосатые
и оттепель в начале марта.

В стране чугуна изрядно плавится
и проектируются танки.
Житуха-жизнь плывёт и нравится,
приходят девочки на танцы.

... Но всё равно кино кончается,
и всё кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
сын человеческий в буфете.

Я ухожу из развалины, убегаю. Снова бегу туда, где ждет автомобиль, я сажусь, запускаю двигатель и уезжаю к своему дому. Трактор – от слова тракт, дорога, путь. Мой путь не закончен, я не знаю ещё где и когда он продолжится. Знаю только, что мёртвых развалин на нём не будет.

Опять снег. Упавший на землю, а точнее – тоже на снег, чуть опередивший падающий сейчас. Надолго ли он там останется? Для бабочки, пригревшейся в тёплом подвале, проснувшейся на свою беду и вылетевшей через открытую для каких-то дел дверь – навсегда. Для человека – иногда до весны. Я был там, где упавший снег и для меня – навсегда.

Даже не очень высоко в горах снег может оставаться тысячи, десятки и сотни тысяч лет. Над скальным ложем ледника многометров глетчерного льда, над ним пористый лед, ещё выше кристаллики самого плотного фирна, который у поверхности почти неотличим от снега и покрыт настом. Сверху, может быть, только что, в этом году выпавший снег, если его не сдувает ветрами, не сносит к скальным выступам или лавинами в долину. Снежная лавина очень красива, если не барахтаться в ней самому. Но в ней хотя бы можно плавать, выплывать к несущейся вниз поверхности и при удаче выкопать себя самому. Снежная лавина скользит вместе с подрезанным настом, а под ней остаётся фирновое поле. Если же где-то внутри фирна протёк ручеек, если что-то сдвинулось, потеряло прочность, если туда попал воздух или горы содрогнулись землетрясением – тогда сходит фирновая лавина. Из неё выбраться невозможно, человека она сразу окружает непробиваемым ледяным панцирем, для этого достаточно просто тепла тела и человеческого дыхания. Из такой лавины могут спасти и изредка спасают те, кто сам не попал в неё.

А ещё ниже толща ледника. Только кажется, что ледник неизменен и твёрд. Он пластичен, он течёт подобно реке, отступает или продвигается дальше. Каменистые осыпи древних морен показывают его путь, длящийся тысячелетиями. Изредка накопившиеся во льду напряжения разрывают его и тогда миллионы тонн ледя-

ных глыб, раскалываясь, обрушиваются вниз.

Я стою на снежном плато, все вокруг спокойно, я курю. Бросаю окурочек в снег и не задумываюсь о том, что и через сотни лет этот окурочек будет лежать внутри ледника, будет опускаться вниз и когда-нибудь достигнет скалы. Течение горной речки вынесет его в долину и кто-то когда-то сможет найти его следы в воде. Или дожде. Или снеге. Так будет с окурочком, жестяной банкой, всем мусором, который мы оставляем в горах или с тем, который оставили внизу, на равнине. Оставили, вода растворила его, и вот уже вместе со снегом падает и грязь, оставленная нами.

Прожитые годы похожи на мой рассказ. Так же спрессовывается, уходит в глубь сделанное или, напротив, не сделанное сегодня. Так же случаются потрясения и разломы нашего времени и нашего пространства, будь то дом, город, страна, континент или весь мир. В толще нашего личного времени остаётся всё, личное наслаивается и перемешивается с другими частными биографиями. Там под прессом времени хранится и сплур поднятая рука на каком-нибудь собрании, и занятая ценой чьей-то судьбы должность, брошенные злые слова, неподанная рука помощи, просто нежелание остановиться, прислушаться и понять. Там остаётся всё, даже поздние раскаяния и сожаления, которые, чаще всего, некому адресовать.

И ещё точно также, как из под ледника, из кажущегося монолита памяти и архивов вытекают ручейки, складывающиеся в речки, реки, озёра, моря и океаны. Около которых есть мы и будут те, кто придут после нас. Иногда там можно жить. А иногда...

Маленький, сонный, по чёрному льду
в школу – вот-вот упаду – но иду.
Мрачно идёт вдоль квартала народ.
Мрачно гудит за кварталом завод.
«...Личико, личико, личико, ли...
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма... –
в ватный рукав выдыхает зима:
– Аленький галстук на тоненькой ше...
греет ли, мальчик, тепло ли душе?»...
...Всё, что я понял, я понял тогда:
нет никого, ничего, никогда.

Где бы я ни был – на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.
Ржавая, в странных прожилках, звезда,
и – никого, ничего, никогда.

Пора найти место, куда упасть последнему снегу моего рассказа. Тридцать с лишним лет назад в предновогоднюю ночь я случайно оказался в Ленинграде. Десятки раз я бывал в этом городе, но ночью, перед которой не было дня проведённого там, я понял – я впервые вижу его. На снегу желтые пятна от фонарей, тени. Никого, почти никого не видно. Снег, только что выпавший и падающий. Я шёл, останавливался, смотрел, думал о чём-то. О чём? Не знаю сейчас и тогда тоже не знал. Просто впитывал в себя то, через что проходил. Петлял, как заяц, находил собственные следы. Кружил по улицам, стоял на набережных и мостах, сворачивал в переулки и снова выходил куда-то.

Ночью был Петербург, заснеженный, каменный, ледяной и совсем не чужой мне. Потом настало утро, на улицах появились машины, люди, стало шумно и Петербург исчез, как будто его и не было никогда. Всё стало узнаваемым, но перестало быть привычным. Перестало, потому что уже была подаренная мне случаем невозможная ночь. По обретаемой привычке я унёс с собой ту ночь, спрятал для себя, изредка возвращался, проверял – не испортилась ли, не потратилась ли временем, проживал её вновь и снова убирал из своей реальности. Так случилось, что в моей жизни не было невозвратности. Не оказалось странной нелогичности притяжения к своему прошлому, которое держит и не пускает, не отпускает, не разрешает его оставить позади. Прошлого, ставшего настоящим, которое неизбежно повторится в будущем, чему помешать может только смерть. Которое страшно и от которого уехать бесчестно, так как у Рыжего:

Я уеду в какой-нибудь северный город,
закурю папиросу, на корточки сев,
буду ласковым другом случайно проколот,
надо мною расплачется он, протрезвев.

Знаю я на Руси невеселое место,
где веселые люди живут просто так,

попадать туда страшно, уехать – бесчестно,
спирт хлебать для души и молиться во мрак.

... Вот такая беда. Дорога казалось бы открыта, но пойти по ней уже нельзя. Ты уже изменился необратимо, уже не придешь в многоцветную легкость иной жизни, не соединишься с ней, будешь чужим. Но ведь тогда и идти незачем, правда? Мудрый безумец собрал афоризмы, размышляя о сторонах добра и зла: «И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Можно найти, выбрать точку с которой начать смотреть. Для моего снежного рассказа точка может быть только там, где рассказ заканчивается. Только в Петербурге и только вот так:

Над головой облака Петербурга.
Вот эта улица, вот этот дом.
В пачке осталось четыре окурка –
видишь, мой друг, я большой эконом.

Что ж, закурю, подсчитаю устало:
сколько мы сделали, сколько нам лет?
Долго еще нам идти вдоль канала,
жизни не хватит, вечности нет.

Помнишь ватагу московского хама,
читку стихов, ликованье жлобья?
Нет, нам нужнее «Прекрасная дама»,
желчь петербургского дня...

Я закончил рассказ о снеге, по которому меня водил, зачастую против моей воли, Борис Рыжий. Миры распались, им не встретиться никогда. Желчи петербургского дня не существует там, где выпало оказаться Рыжему.

...Я родился – доселе не верится –
в лабиринте фабричных дворов,
в той стране голубиной, что делится
тыщу лет на ментов и воров...

Желчь петербургского дня. Не станет дверью в другой мир строчка стихотворения. Совсем недавно другого поэта убили за эту строчку, потому что она не ведёт в бездну.

Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,
За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине роллс-ройса и масло парижских картин.
Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.
Я пью... но ещё не придумал, – из двух выбираю одно:
Весёлое асти-спуманте иль папского замка вино?

Я бесконечно благодарен Борису Рыжему за дни, прожитые с его стихами. Их я тоже спрячу, сохраню, буду возвращаться к ним – чтобы измерить расстояние до бездны.

Игорь Фролов

РЫЖИЙ, НО НЕ КОНОПАТЫЙ¹

ПОЭТ В ЖИЗНИ И ПОСЛЕ НЕЁ

Я помню появление свердловского поэта Бориса Рыжего на большой печатной сцене — честно скажу, тогда не понял масштабности шума вокруг имени. Читал, когда попадались, стихи. Да, поэт, да, Есенин из промышленного квартала, — ну и что? Каждому поколению нужен свой Есенин, свой Мандельштам... Хотя последний вряд ли так сильно нужен, а вот первый является с завидной периодичностью. Это такая фигура, в которой пересекаются интеллигенция и народ — если хотите, сознательное с бессознательным (уровни общественного разума), — и всем любо. Да еще славно, что недолго, но ярко живет такой поэт — можно побыть современником, а потом и помемуарить. Борис Рыжий — явление такого рода. Молодой, из провинции, талантлив, замечен, вознесен и на пике славы, в возрасте Лермонтова, покончил со всем сам.

Если всмотреться, то можно увидеть — Рыжий был не столько Есениным, сколько советским по стилю поэтом, просто время позволило эту тематику выплеснуть. Рубцову не повезло с временами, которые, как известно, не выбирают, — а то бы и он развернулся по полной.

Я имею в виду тему, которая так восторгает нашу элитную поэтическую интеллигенцию и роднит ее с народом. Вот только народ пьет, чтобы скрасить свое бессмысленное время от работы до работы, а интеллигенция — она, как мы знаем, пьет от страдания, от невыносимости бытия засушую. У нее ведь нет иных методов пострадать, если она не на лесоповале. Чтобы писать стихи, нужно познать рай и ад, а как их в нормальной жизни познаешь, да когда жена, да ребенок, будь они неладны, свободы нет, работать надо, а вокруг одни ублюдки...

¹ см. Борис Рыжий. Ранняя Лирика. Публикация И. Князевой. 'Стороны света' №7 (www.stosvet.net/7/ryzhiy/)

Господи, это я
мая второго дня.
— Кто эти идиоты?
Это мои друзья.

А давайте, раз уж подвернулись, отвлечемся на них, на друзей. Был у уральского Есенина и свой Мариенгоф. Это же ему Рыжий писал:

...белую ночью под окнами Блока,
друг дорогой, вспоминать о тебе!

Конечно, друг дорогой выдал свои воспоминания после смерти Б. Р. Интересно, «Знамя» опубликовало литературно никакие, но полные тщеславия записки, оттого что это о Рыжем, или потому что автор их — самостоятельная ценность? Меня это всегда в таких случаях интересует.

Там автор много чего понаписал, но пока выдернем вот это:

«Но не было дня, слышишь, Боря, не было за эти чертовы четыре года ни одного дня, чтобы я не вспомнил о тебе. Сiju ль меж юношей безумных, еду ли ночью по улице темной, дергаюсь ли, увидев свое отражение в окне, в вагоне метро, где провожу два часа в день, а стало быть почти четверо суток в месяц или месяц в год. Стою ли в очереди в «Билле» вечером, набрав к ужину того-сего в юркую сетчатую корзину на колесиках (увеличивает продажи в супермаркетах самообслуживания на пятьдесят процентов), я думаю о тебе».

Корзинка на колесиках увеличивает продажи. Как и известный лэйбл, наклеенный на неизвестный товар.

Помимо этой приторно-притворной любви к мертвому другу (апостольская классика), начитанный прочитает (спасибо, недавно Прилепин напомнил): «Милый Толя. Если б ты знал, как вообще грустно, то не думал бы, что я забыл тебя, и не сомневался... в моей любви к тебе. Каждый день, каждый час, и ложась спать, и вставая, я говорю: сейчас Мариенгоф в магазине, сейчас пришел домой... и т. д., и т. д.»

Так кто тут Есенин, а кто Мариенгоф? Странные гипертекстовые совпадения. Или всего лишь совпадения, что тоже бывает сплошь и рядом. Ну да ладно, мы еще вернемся к поцелуйному другу...

...А пока читаю стихи. Да, хороший советский поэт — судя по евклидовой геометрии стиха, его понятной и простой линейности. Что касается содержания, то и тут не ново — одно из решений все того же страдательного уравнения. Подставляем начальные и гра-

ничные условия — свердловская промзона, водка, детство, дворы
— и получаем как решение:

Пойду в общагу ПТУ,
гусар, повеса из повес.
Меня обуют на мосту
три ухаля из ППС.
И я услышу поутру,
очнувшись головой на свае:
трамваи едут по нутру,
под мостом дребезжат трамваи.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.

(Две крайних строчки вдруг коснулись какой-то не той зоны мозга, зазвучал голос Пригова...)

Это одно из первых опубликованных. Оно еще не прямо страдательно, а опосредованно, — это есенинские «красные сапожки» (или косоворотка — не помню уже), в которых провинциальный поэт Рыжий вступил в поэтический «свет» страны. Тот «свет» как раз познал хаос 90-х, распад и раздрай, и тут вдруг — как вовремя! — явился парень из глубинки, «с Уралу», из первородного ужаса, из гнезда народной бездуховности, вопреки которой живет угнетаемая народом, стиснутая этим народом творческая интеллигенция, живет, страдает и творит, презирая и боясь. И этот рожденный в эсэсэсэре вдруг оказывается тонким изящным портным, чудом шьющим из грязной мешковины уральских буден что-то трепещущее и тонкое. Свердловская шпана, боксер, шрамоносец, хулиган — самородок! Его устами говорит скорбная расейская поэзия, а он и не ведает, что творит, что творит...

Кстати, если вам уже кажется, что я ругаю поэта Рыжего, — то совсем даже нет. Я еще и сам не знаю, о чем я. Наверное, в первую очередь о методологии мифа вообще. А во вторую — о поэте как жертве Аполлона.

Да, дети Арбата или Литейного всегда любили талантливых урок — ну, или фальшивых урок, — всегда с удовольствием подхватывали блатные и матерные. Естественно, большая часть этого творчества — имитация, сувенирные такие ножички-перышки. Интеллигент, попавший в среду, делает из нее искусство.

Вот и тут, если заглянуть в глазок мифа, увидим нормального книжного мальчика, сына горного инженера (а потом папа стал академиком, если не врут источники), в семье которого жила литература; увидим Бориса — студента Горной академии, потом аспиранта, потом автора нескольких научных работ. Читая письма

к Ларисе Миллер, видим тонкого интеллигента, совершенно «своего», книжного, эстета.

Но этот эстет писал:

Вот здесь я жил давным-давно
— смотрел кино, пинал говно
и пьяный выходил в окно.
В окошко пьяный выходил,
буровил, матом говорил
и нравился себе и жил.
Жил-был и нравился себе
с окурком «БАМа» на губе.

А что до боксера (чемпион города в «юношах»), то это был умный (может и папин) ход — перчатки вместо шаблонной скрипки.

...Вспоминается мне этот маленький двор,
длинноносый мальчишка, что хнычет, чуть тронешь,
и на финочке Вашей красивый узор:
— Подарю тебе скоро (не вышло!), жиденыш.

Дядя Вася как крестный отец русскоязычных поэтов — значит, и всей великой русской поэзии...

Потом, когда скрипку обменяли на перчатки, — кто бы, спрашивается, захотел повторить это «жиденыш» (звучит здесь как детеныш человеческий в «Маугли» и эхом продолжается дальше, к сыну человеческому, который естественно возникнет и у Рыжего, как возникал у всех поэтов; сколько поэтов, столько мессий), — кто захочет повторить, тот получит в торец хуком справа или слева. Есть об этом в воспоминаниях любимого друга.

Итак, если коротко и условно, то стал детеныш человеческий вожаком стаи. Таков миф о лирическом герое, который (миф) естественным образом переходит на автора. Особенно когда автор живет как истинный, нет, истый (Казарин) поэт — вот он уже и не спортсмен и не ученый — он свободен, он пьет и дебоширит, потому что, как и положено поэту, страдает. Это страдание в России даже не надо обосновывать и доказательно объяснять. За тебя все сделают. Ну, к примеру, Андрей Высоков (предельно честен): «Поэзия — это не «состояние души» в расхожем понимании, не ее те или другие свойства, но совершенная души обнаженность, незащищенность... Всем страшно жить, стареть, всем одиноко, всем больно любить и больно терять любовь и близких, больно равнодушно встречаться глазами и расставаться, завязывать шнурки и

глупо хохотать над анекдотом. Все с ужасом молча смотрят в грязное троллейбусное окно, с ужасом пьют на службе кофе... Но все свыклись с этим, сжились, научились смотреть на это как на естественный и непреложный ход событий».

Хочется ответить сразу, но кроме контркультурных слов ничего на языке не вертится. Да, поэты ходят пятками по лезвию ножа. А мы, привыкшие, естественно, в сапогах. Я сейчас прокомментирую, вот только успокоюсь немного.

Для успокоения процитирую тоже поэта, но умного, — Юрия Казарина. Хотя он и говорит почти про то же самое: «У поэта родовая травма — душевная, или врожденная душевная травма: такое состояние является нормой для него». Но он в статье о народном поэте Борисе Рыжем странным образом выводит, что поэт еще не является человеком: «Категория Всеведения поэта, о которой в начале XX века вспомнил Александр Блок, может легко и незаметно трансформироваться в категорию Вседозволенности, так как поэт, учась быть человеком, все-таки постоянно находится в процессе углубления и расширения языкового стресса, который принято называть поэтической одаренностью или поэтическим талантом». Конечно, недочеловечность поэта (я еще не человек, я только учусь) — оговорка, но я за нее зацеплюсь...

Статьи Казарина о Рыжем наполнены почти нескрываемым вторым смыслом, — временами он становится первым. Видно, что отношения двух поэтов — старшего и младшего — были напряженными. Я бы сравнил их с отношениями офицера поэзии и ее солдата-самовольщика, с тягой первого к строю, а второго — к ленивой и бессмысленной вольнице. Оба в моем сравнении лишены минусов, присущих этим армейским категориям, — только плюсы. Две половинки поэзии — аполлоническая и дионисийская, разнесенные в конфигурационном пространстве поэзии. Любил ли Аполлон Диониса? Нет, точнее так: любил ли Аполлон Марсия?

Это сравнение не значит, что К. содрал кожу с Р. Но... Жаль, нет у меня под рукой книги Юрия Казарина со стихотворением, посвященным Б. Р., которое заканчивается символом «Пластмассовый стаканчик на городском снегу» (если правильно помню — а в Сети что-то не обнаруживается). У Казарина есть намеки, что Рыжий исчерпал свою хулиганско-городскую поэтику, а к новой не вышел. В этом символе (одноразовый стаканчик с бурными каплями портвейна русской поэзии), как мне кажется, сказано все, что думает офицер о солдате, который в конечном итоге вообще дезертировал...

Да, чуть не забыл о комментарии к послышу об ужасе повседневного существования в этом лучшем из миров, к которому привыкают обычные люди, но никак не Поэт. Тут-то и пригодится от-

крытие Казарина о поэтической недочеловечности (опять же имею в виду «настоящих», у которых «нахлынут горлом и убьют»). Нет, мы (которые нормальные) не привыкаем к ужасам. Мы, кроме ужасов, видим в жизни ее хорошую, светлую сторону, мы вращаемся вокруг этой круглой жизни по замкнутой орбите, пролетая мимо зависших над ее темной стороной истых поэтов. Над светлой стороной тоже есть свои стационарные спутники — вечно веселые и оптимистичные больные. Первые, в отличие от вторых, очень сложно и тонко устроены. Это две половинки нормального человека — чистая феминность (пессимизм) и чистая маскулинность.

Развивая мысль, возвращаюсь к Казарину — он неисчерпаем (и один из двух моих самых любимых поэтов, чтобы не подумали, что я стебаюсь). Он сказал по поводу Рыжего: «Как-то поэт Геннадий Русаков произнес тогда еще не совсем понятную мне, а сегодня абсолютно ясную фразу: «Поэзия — дело мужское, кровавое...»». Конечно, Казарин как мужчина и как поэт подписывается под таким определением миссии. Можно мне как прозаику с душой, обутой в сапоги, понизить и опустить, — особенно с учетом открытой феминности истой поэзии? И сказать обратное: поэзия — дело женское, кровавое. В смысле строк Светы Хвостенко «Кровью созревающей брызну, перельется жизнь через края». Эта угнетенность и неумение радоваться свойственна среднестатистической женщине в определенные дни и обозначается аббревиатурой ПМС. Здесь пролив собственной крови есть освобождение от страдания. Стихи вообще сущность циклическая, высокочастотная — колебательный контур крови и души, управляемый все той же Луной. При чем здесь мужские дела — типа войны или хоккея...

Я, конечно, перебарщиваю ради красного словца и от раздражения. А если честно — что думаю я о Поэте, который есть обнаженный нерв общества? Мое мнение, конечно, не играет, но тем не менее. Просто я таких наблюдал близко, принимал участие и пр. И они говорили, роняя пьяную слюну: о знал бы ты, сколько во мне силы, и она все копится, и если что-то не сделать, она взорвет меня... А вот после запоя слаб, как после бани, и надо восстанавливаться, дурная сила ушла, зато стихи сейчас будут... Но это и убивает. О как тяжело в этом мире, где ты всем должен, обязан, а я — Поэт!..

Пока Поэт (которого я нежно люблю) колобродит, я скажу очередную гадость. Эту болезнь лечит только работа. Физический труд — лучшее лекарство от больной души. На самом деле все эти показательные страдания — они все снаружи — грим страдальца — для того, чтобы беднягу жалели и разрешали ему плевать на всех и вся. И знаю, что честен Рыжий в признании:

Только в песнях страдал и любил.
И права, вероятно, Ирина —
что-то книги читал, много пил
и не видел неделями сына.

Поэт такого типа (опять общие рассуждения, а не пофамильные) и правда не человек еще. Не взрослый человек. Душа его застряла в детстве и не хочет из него, теплого, вылезать. А тело все матерееет и матерееет, вызывая женскую тоску утекающего кровью времени. И когда этот разрыв становится критическим, наступает понимание — у талантливых и честных перед собой:

А теперь кто дантист, кто говно
и владелец нескромного клуба.
Идиоты. А мне все равно.
Обнимаю, целую вас в губы.
И иду, как по Дублину Джойс,
смердный ветер вдыхаю до боли.
I am loved. That is why I rejoice.
I remember my childhood only.

Все перевели, чему он радуется? «Я помню лишь свое детство». А они — то бишь мы (ведь ряд профессий можно протянуть до честного ассенизатора) — идиоты, устремленные в будущее, к смерти. Это нормально, это компенсация, потому что на самом деле не мы, а он чувствует себя идиотом в общей системе координат. И можно всех обогнать, если пуститься вспять...

И еще:

Мальчишкой в серой кепочке остаться,
самим собой, короче говоря.
Меж правдою и вымыслом слоняться
по облетевшим листьям сентября.

Самим собой — это детство, почти чистый еще лист, на котором воображение пишет симпатическими чернилами то самое «меж вымыслом и правдой». Все лучшее — до того, как начал адаптироваться к окружающей жизни, вращаться в нее, как дерево в чугунную ограду. Адаптировался, врос, но так и не привык. Одел свою детскую душу взрослым мифом, который, как оказалось, не греет.

Да и правду ли он говорил окружающим его идиотам? Ведь идиотам можно и врать. Опять же, лирический герой — не автор, да? И миф может быть только придуманным мифом.

Кстати, а что там писал честный и преданный друг? А друг зачем-то решил разрушить миф, тобою созданный. И вообще, друг на то и друг, чтобы быть честным, чтобы показать не миф, а простого, слабого человека. Такого же, как ты и я. Это же несправедливо — вместе, понимаешь, боролись на фронтах поэзии, а вот ему Героя, а я неизвестен. Тем более что равен по таланту (а то и — реплика в сторону — выше!). Поэтому надо написать:

«Звездной болезнью ты заболел серьезно, чего там. Хотел и любил командовать. Поэзия — это армия, эту милитаристскую теорию Слуцкого мы знали как отче наш. Проступили отцовские замашки — холодность в общении с проштрафившимися литераторами-подчиненными, повисающие паузы в разговоре, который ты не считал нужным поддерживать, и прочее в том же духе. Чтобы была настоящая слава, говорил ты, нужно человек тридцать идиотов, которые будут ходить по салонам и орать твои стихи. Да вот закавыка — в Екатеринбурге не набрать столько, очень уж тонок культурный слой, очень уж беден. Значит, надо ехать в Москву, ничего не поделаешь.

...И вообще, сколько можно, блин, закатывать дурацкие истерики. «Я гений, я Моцарт!». Мы-то тоже не пальцем деланы, между прочим, и руку нам тоже жали уважаемые поэты.

Вона оказывается как! Да это прямо фамильная самоуверенность. Рыжий — якобы конвертированное Рудый. А один Рудый Панько тоже кричал в молодости: «Я совершу!». И совершил...

Орать по салонам — это 20-е годы прошлого года. Нынешние идиоты орут в печати. Теперь все, кто поддерживал Рыжего, кто рекомендовал, печатал его и о нем, — все они, загибая пальцы, должны считать до тридцати...

А то, что вам руку жали известные поэты, так талант при рукопожатии не передается. Это врожденная болезнь.

Теперь насчет мифа о вожаке стаи: «Однажды один персонаж подвалил и спросил огоньку. Мы шли из редакции «Урала» к тебе мимо рынка, так было ближе. Ты протянул ему сигарету. Черт прикуривал намеренно долго и все спрашивал, кто мы да откуда. Давай прикуривай короче, оборвал ты. Он отвалил — тебя колотило. Глаза выдают, с досадой усмехнулся ты. Слишком добрые».

А вдруг и это не вся правда? Вдруг этот черт еще и побил двух друзей-поэтов?

А еще, по словам друга, ты боялся заразы, все время мыл руки «после каждой дверной ручки». Хорошо еще без маски ходил, думаю я, как твой коллега по знаку Зодиака «белый» Майкл Джексон. Осенние знаки вообще безразличны и пугливы, любят носить маски...

Да что там поцелуй друга, если сам автор не скрыл:

Мой герой ускользает во тьму,
вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его, потому
что поэту не в кайф без героя.
Я его сочинил от уста-
лости, что ли, еще от желанья
быть услышанным, что ли, чита-
телю в кайф, грехам в оправданье.
Он бездельничал, «Русскую» пил,
он шмонался по паркам туманным.
Я за чтением зренья садил
да коверкал язык иностранным.
Мне бы как-нибудь дошкандыбать
до посмертной серебряной ренты,
а ему, дармоеду, плевать
на аплодисменты.
Это, бей его, ребя! Душа
без посредников сможет отныне
кое с кем объяснить в пустыне
лишь посредством карандаша.
Воротник поднимаю пальто,
закурив предварительно: время
твое вышло, мочи его, ребя,
он — никто.

И не только собственный миф распался. Был миф об Олимпе, куда его так тянуло. И он взлетел на него. И вместо богов, которые по-родительски возлюбят «приемного сына русской поэзии», удволят его тоску по своей детскости, по раю, он увидел там тех же промзоновских персонажей:

До пупа сорвав обноски,
с нар полезли фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачен у бугра.
Начинаются разборки
за понятия, за наколки.
Разрываю сальный ворот:
душу мне не бреди.
Профиль Слуцкого наколот
на седеющей груди.

И какая разница, кто бугор — Евгений, «учитель» Иосифа, или Александр, все жгущий несгораемое «Письмо в оазис». Олим-

пийский миф рухнул с грохотом камнепада.

И что делать? Может быть, так:

Зеленый змий мне преградил дорогу
к таким непоборимым высотам,
что я твержу порою: слава богу,
что я не там.
Он рек мне, змий, на солнце очи шуря:
вот ты поэт, а я зеленый змей,
закуривай, присядь со мною, керя,
водяру пей;
там наверху вертлявые драконы
пускают дым, беснуются — скоты,
иди в свои промышленные зоны,
давай на «ты».
Ступай, он рек, вали и жги глаголом
сердца людей, простых Марусь и Вась,
раз в месяц наливаясь алкоголем,
неделю квась.
Так он сказал, и вот я здесь, ребята,
в дурацком парке радуюсь цветам
и девушкам, а им того и надо,
что я не там.

Но разве кто-то опроверг закон, открытый Дж. Лондоном, подтвержденный его М. Иденом? Назад пути нет, а впереди — совсем не то, куда ты стремился. Идиоты и там и там. И сам ты, оказывается, сам себя не устраиваешь. Не получается «ты царь, ты бог, живи один». И тогда:

Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.

Был бы я критиком, я бы написал что-нибудь типа: поэт умер оттого, что продал и предал единственное любимое — свои детство и юность, свое предчувствие счастья и весь сор, окружающий и под-держивающий это ощущение, сор жизни, из которого и росли его стихи. Но это опять был бы миф.

Да и все тот же друг прозрачно намекает, что причина смерти — совсем не поэтического свойства. Р. Т. подставил О. Д., Б. Р. в ответ набил или почти набил Р. Т. лицо, Р. Т. остался один на один с проблемами, выбросился или был выброшен из окна. Б. Р. написал стихи памяти Р. Т., а через несколько месяцев и сам...

Остался только О. Д., который, сидя в Англии, рассказал, как все было. «И я скажу незнающему свету, как все произошло...» Но это Горацио не классический, а из моего «Уравнения Шекспира». Рассказчик...

Я бы законодательно запретил писать воспоминания друзьям, женам и детям. Они, конечно, пишут правду, но расставляя ударения и запятые в этой правде так, что...

...А в принципе — неважно. Какая разница, какой миф рождается после? Ведь даже собственная честность поэта мебиусно перекручена:

Расставляю все точки над «ё»:
мне в огне полыхать за враньё,
но в раю уготовано место
вам — за веру в призванье моё.

Остается (мы скажем так же хитро) верить, что каждому — по вере его...

Р. С.

И тут я опомнился. Оглядевшись в недоумении — где я, как меня сюда занесло? — вспомнил: хотел же написать всего несколько строк о Борисе Рыжем. Вернее, о моем отношении к его поэзии.

Можно придумывать разные определения — вроде «истерическая лирика», — искать декаданс души и всякие культурно-политические контексты. Но я просто читал стихи Бориса, читал подряд, совершенно без предвзятости. Я знаю, что у «моих» поэтов всегда споткнусь о «мое» стихотворение — когда вдруг озноб по коже, те самые мурашки.

Здесь не случилось ни разу. Хотя все время было предчувствие — вот-вот, сейчас... Отдельные строчки, строфы — но в целом так и не слилось. Как будто я, голодный зверь чтения, грыз вкусно пахнущую, но голую кость.

Возможно, я слишком жизнерадостен и груб в восприятии, чтобы, слушая длинное вотумруяумру, испытать катарсис. Пьеро — даже если он играет городского хулигана — не мой персонаж.

P. P. S.

А как редактор (должность, требующая божественной объективности) скажу: Рыжий — хороший поэт. Прожил бы дольше, вполне возможно, научился бы большему. Просто на месте его редакторов я бы не печатал многое из того, что напечатано. Внешний отбор влияет на отбор внутренний. Впрочем, это уже другая тема.

Александр Генис

ТЕНИ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Когда отпрыск древнего рода Адельберт Шамиссо вместе с родителями бежал от ужасов Французской революции в Германию, он был совсем ребенком. Но никогда, даже став известным немецким поэтом, Шамиссо не забывал о своем статусе человека, потерявшего родину. Делясь опытом, он написал сказку — «Необычные приключения Петера Шлемияля». Эта маленькая книжка обессмертила автора и обогатила немецкий словарь, сделав нарицательным имя главного героя.

Фамилия «Шлемиль» происходит от еврейского слова, означающего размазню, простака, неудачника, умеющего заключать только невыгодные сделки. Как раз такую, как герой Шамиссо, продавший дьяволу свою тень за кошелек неразменных червонцев. Очень скоро Шлемиль обнаружил, что в нашем мире «тень уважают еще больше, чем золото». Сперва он пытался выкручиваться: «Прошлой зимой, — объяснял Петер, — когда он в трескучий мороз путешествовал по России, его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее оторвать». Другим он рассказывал иначе: «Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать ее в починку».

Увертки, однако, не помогали: ни богатство, ни честность, ни щедрость не заменили Шлемилю пропавшую тень, без которой его не признавали за человека. Отчаявшись найти свое место под Солнцем, он менял адреса, как перчатки, собирая по пути коллекцию растений: «Я начал новую жизнь не связанного службой ученого. Я бродил по земле, то измеряя ее высоту, температуру воды и воздуха, то наблюдая животных, то исследуя растения, я спешил от экватора к полюсу, из одной части света в другую, сравнивая добытые опытом сведения».

Шлемиль с легкой душой отдал тень дьяволу, думая, что ему она не нужна. Но оказалось, что без тени человек не полон. Оставшись без нее, мы лишаемся бездны, а значит — глубины. Нарушение естественного баланса чревато смертным светом безжизненности.

Именно на этой — теневой — диалектике построен роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Это — не проповедь торжествующего добра, а манифест вечного порядка, гарантом которого служит равновесие между утверждением и отрицанием, между светом

и тьмой: «Что бы делало добро, если бы не существовало зло, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?»

Не было у тени лучшего защитника, чем Воланд, что и не удивительно, если вспомнить о его профессии.

Хотя тень бывает только у тела, ее часто считают душой, точнее — ее изнанкой. Юнг, например, взваливая на тень тайные порывы, темные страсти и смутные вожеления, называл ее «внутренним» дикарем. Обычные «дикари» с этим не спорили.

В архаических культурах к тени относились с большим уважением, чем к себе, и следили за ней, как кот за хвостом. В тени видели сверхъестественное продолжение человеческого естества. Джеймс Фрезер в «Золотой ветви», этой библии первобытной культуры, пишет, что индейцы запрещали под страхом смерти наступать на чужую тень — особенно если она принадлежала теще.

Тени окружают человека, как свита — короля. Стоит ее, свиту, отнять, и он зачахнет в одиночестве, как Лир, отрекшийся от престола.

Тень и отражение связаны друг с другом, как негатив с позитивом. Поэтому и табу у них общие. Отражение, как все живое, но бестелесное, обладает магической властью над тем, кого оно отражает. В Древней Греции существовал неписанный закон, запрещавший смотреть на свое отражение в воде. О том, что получалось, когда его не соблюдали, рассказывает история Нарцисса, не сумевшего оторваться от того, что он увидел в ручье.

Не зря дикари отказывались фотографироваться. Тиражируя свой облик, справедливо считали они, человек теряет врожденную уникальность, постепенно становясь тем, что постмодернизм назвал симулякром: копией без оригинала. Предусмотрительно оберегая себя от этой участи, король Сиам вплоть до XX века запрещал чеканить свое лицо на монетах. Это табу Фрезер объясняет следующим образом: «Когда с лица снимается копия и уносится от владельца, вместе со снимком уходит часть его жизни. Поэтому суверен едва ли мог допустить, чтобы его жизнь вместе с монетами расплылась по его владениям».

На Балканах вплоть до совсем недавнего прошлого старались заманить случайного прохожего на строительную площадку, чтобы установить краеугольный камень в его тени. Через сорок дней после этого человек умирал, зато дом стоял веками.

В своей сказке Шамиссо нигде прямо не объясняет, что он по-

нимает под тенью, но его читателям легко догадаться: речь идет об утраченной отчизне. У них и правда немало общего. Потерять тень трудно, как родину: мы к ней так привязаны, что она не отвяжется, даже если очень стараться. Привычно, незаметно, неумолимо она следует за нами. От нее нельзя избавиться, как от снов и воспоминаний детства. Она не отстает и тогда, когда мы о ней забываем. Нерушимость этого союза вызывает тот священный трепет, который пытается внушить нам Родина, когда ее пишут с большой буквы. Достаточно, впрочем, и маленькой, чтобы она волочилась, то отставая, то обгоняя, но никогда не отходя ни на шаг. Тень может скрыть темнота, акцент — молчание, горбатого исправит могила.

Отношения с тенью строятся на невольности — она следует за нами, повторяя наши жесты. Со стороны кажется, что мы подчинили ее себе, но, в сущности, мы умеем управлять ею не больше, чем собой. Мы, конечно, можем заставить тень плясать под свою дудку, но, как и нас, вырастить ее способно лишь время. Когда Солнце клонится к западу, тени растут сами собой — молчаливо и неостановимо, как седина. На этом сходство кончается. Старая вместе с нами, тень — в отличие от нас — каждый полдень рождается заново. Синхронность наших движений создает иллюзию симметрии. Тень копирует жесты, но она вовсе не похожа на нас. В ней нет глубины и смысла, которые мы приписываем себе. Признавая только свет и его отсутствие, тень, как шахматы, не отличает оттенков. Оставляя нас без подробностей, она рисует характерный, как в шарже, профиль. Тень — двумерное изображение личности. Ей свойственна бездумная и пугающая простота контурной карты. Фальшивый двойник, она — не столько копия, сколько схема, прототип, эмбрион, чертеж, первый набросок человека. Говорят, что так родилось искусство: первый художник очертил мелом свой силуэт.

В Нью-Йорке так делают до сих пор, но лишь с покойниками и только полиция.

Нью-Йорк всплыл не случайно. Дело в том, что, оставшись без тени, Шлемиль пытался ее найти в самых дальних уголках земного шара, для чего автор подарил ему семимильные сапоги. Сперва тень казалась Шлемиллю бесполезней аппендикса, но, лишившись ее, он понял, что тень служит корнями, которые можно пустить и в чужую почву. Петер (как и его совершивший кругосветное путешествие автор) тщетно рыскал по всей планете. К сожалению, в своих бесконечных странствиях Петер Шлемиль так и не сумел добраться до Нью-Йорка. И зря, ибо нет на земле места, где легче жить без тени или вырастить себе новую.

Любимый приют изгнанников, Нью-Йорк — город иноземцев, может быть, — инопланетян. Как искусственный спутник Земли, он стоит в стороне от нее. Возникший без претензии на историческое величие, Нью-Йорк рос естественным путем. В нем нет никакой умышленной идеи, более того — у него нет даже своего лица. Уникальность Нью-Йорка лишь в его всеядности. Он сворачивает вокруг себя пространство и время. Его нельзя назвать городом одной эпохи, он не принадлежит ни одной культуре, ни одной истории, ни одной расе. Нью-Йорк — совокупность всего, сумма человеческой природы, включающей и все тeneвое, темное, низкое, злое в ней. В нейтральности и ничейности Нью-Йорка — его безмерная притягательность. Здесь нет общего знаменателя, и потому в Нью-Йорке так просто стать самим собой. Он ничего другого и не требует от человека, даря ему высшую свободу — безразличие.

Прилепившись к самому краю Америки, Нью-Йорк служит транзитом между тем светом и этим. Не удивительно, что тени чувствуют себя здесь так привольно: это — их страна. Но виновата в этом не зловеще потусторонняя география, а безалаберная городская архитектура. Нью-Йорк — это опрaвленный в цемент случай. Все главное в этом городе уместилось на узком острове. Вынужденный ютиться там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский. Параджанов, впервые увидев знаменитый манхеттенский абрис, с восторгом кавказца закричал:

- Это же — горы!

И правда — горы. Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке: пьянящий произвол провидения исключает трезвую градостроительную логику.

Лишенный ее рельеф тут не подражает природе, а является ею. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях. Не только так же быстро, но и так же непараллельно. Ни одно здание не учитывает соседа. Дома то кучкуются, где попало, то наползают друг на друга, то жмутся к земле, то пронзают небо. Единственный закон, которому подчиняется дикая градостроительная поросль, продиктован страхом остаться в тени. Дональд Трамп, самый амбициозный из всех строителей, мечтающих расписаться на Манхеттене, много лет пытается водрузить 200-этажный дом и вернуть городу давно украденную у него славу столицы небоскребов. Осуществлению этого проекта мешает его тень, угрожающая покрыть собой лучшую часть острова. Раньше Нью-Йорк так не церемонился, из-за чего и вырос бесстыдно тесным. Этот город можно осмотреть либо сверху, либо со стороны. Оставив вершины посторонним, своих он поселил в ущелья.

Издали Нью-Йорк — как пачка «Памира», внутри он — ло-

вушка для теней.

Тень — живая часть города. Он будто дышит ею. Благодаря серым теням, неспособная к движению архитектура растет и опадает, как грудь олимпийца — размеренно, покойно. В замедленной съемке суток тень послушно следует распорядку дня. Подчиняясь часам и солнцу, она венчает архитектуру с астрономией.

Когда Нью-Йорк не может отбросить тени, он отражается в одном из тех водоемов, что делают его архипелагом. Ведь Новый Амстердам, как и старый, весь прочерчен замысловатой водяной сетью, которая умело ловит его отражения то в грязных каналах порта, то в морском языке Ист-ривер, то в гордом Гудзоне, то в отмеченной статуей Свободы заливе, куда стекаются нью-йоркские воды, чтобы соединиться с атлантической волной.

Тени и отражения умножают Нью-Йорк и путают его гостей — но не обитателей.

Нью-Йорк — город платоников. Привыкшие жить в густом вареве миражей, они легче расстаются с иллюзиями, которые другие считают окружающим. На каждый дом в рецепте Нью-Йорка приходится столько бестелесных спутников, что привкус реальности делается почти неразличимым. Волоча за собой шлейф неощутимых эманаций, этот город ведет зыбкое, но бесспорное существование, о котором можно сказать то же, что Шопенгауэр писал о природе сновидения: нельзя утверждать, что сон есть, тем более — что его нет.

Сны и тени, говорил другой знаток вопроса, Евгений Шварц, состоят в двоюродном родстве: «Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам».

Самое странное в сновидении — не что в нем происходит, а с кем. Во сне субъект лишается центра самоидентификации. Это значит, что мы перестаем быть только собой. Сквозь истонченное дремой «Я» просвечивают чужие лица и посторонние обстоятельства. Осчастливленные ветреностью, мы бездумно сливаемся и делимся, как амебы. При этом во сне мы перестаем считаться со всеми грамматическими категориями, включая одушевленность — как на картинах Дали, где вещи совокупаются без смысла и порядка: швейная машинка с зонтиком.

Тени и отражения делают видимыми сны города. Идя по нью-йоркской улице вдоль домов, сплошь покрытых зеркальным панцирем, мы попадаем в волшебный мир непрерывных метаморфоз. Как во сне, сквозь стену тут пролетает птица, тень облака служит штормой небоскребу, в который бесшумно и бесстрашно врзается огромный «боинг». [Пугающий факт жизни: это написано до 11

сентября. Прим. автора].

В этой скабрёзной игре света и тьмы и нам достаётся соблазнительная возможность — слить свои тела со стеклом и бетоном Нью-Йорка. Для этого нужно смешать наши тени и отразиться вместе со всей улицей в зеркальной шкуре встречного небоскреба. Свальный грех урбанизма порождает сказочное существо — «людоград». Одушевленное сочетается в нем с неодушевленным как раз в той пропорции, которую предусматривает смутная органика теней и отражений, выталкивающая нас в другое — магическое — измерение.

Однажды на закате я показывал приезшему писателю вид, открывающийся с одной из двух 110-этажных башен Всемирного торгового центра. Я хвастался панорамой, но зачарованный писатель с завистью смотрел вниз. Там, на площади у фонтана копошился турист, жалкий и невзрачный, как все мы, когда на нас смотрят свысока. С крыши он казался не больше муравья, зато какая у него была тень! Смуглая, как Отелло, она занимала полнебоскреба. Раскинувшись на трехсотметровой стене, тень величаво жестикулировала, ведя немой диалог с облаками. Возможно, это была тень Петра Шлемиля, искавшая себе нового хозяина.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СУМЕРКИНА (1943 - 2006)



Константин Плешаков

АЛЕКСАНДР СУМЕРКИН: ТРУДЫ И ДНИ*

При жизни Александра Евгеньевича Сумеркина русская литературная эмиграция называла его «нашим Жаном Женэ». Уместнее было бы сравнить А.С. с французскими энциклопедистами. Понятие «скромность» только приблизительно описывает Сумеркина, для которого неприятие известности было последовательным философским выбором. Ключ (или, как минимум, параллель) к социальному аскетизму А.С. находится в известном стихотворении Пастернака, который наряду с Цветаевой был его любимым поэтом.

Быть знаменитым некрасиво,
Не это поднимает ввысь,
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

.....

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.¹

Сегодня исследователь, намеренный проследить шаги А.С., сталкивается именно что с таинственной неизвестностью: знаковое выступление, знакомое только узкому кругу филологов; первое издание важной книги, ныне забытое; негласная помощь литератору Экс и мемуаристке Зет – и так далее. Кто-то сказал, что Саша Сумеркин был перекрестком. Замечательное определение. Литературное наследие Александра Сумеркина состоит из пяти пластов: издание классических работ, запрещенных в Советском Союзе; работа с авторами «третьей волны»; перевод и издание текстов Иосифа Бродского; литературоведение и критика; просветительская деятельность. В первом ряду стоит семитомное издание прозы и поэзии Марины Цветаевой, осуществленное А.С. в издательстве «Руссика». Когда двенадцатилетний труд был завершен и последний том вышел из типографии, директор издательства, Дэвид Даскал, предворил его

* см. примечания к тексту в конце статьи (стр. 310)

словами: «Singlehandedly, Alexander Sumerkin, Russica' s editor-in-chief, completed this unprecedented work which otherwise would have taken an academy of scholars to realize.[...] It is unthinkable today to author a notable publication or conduct an acceptable conference on Tsvetaeva without consulting this work or gaining the participation of Mr. Sumerkin.»²

Литературный матриарх «первой волны», Нина Николаевна Берберова, книги которой А.С. представил современному читателю, писала: «Что касается до главного редактора издательства «Руссика», А. Сумеркина, то работая вместе с ним [...], я оценила тщательность его работы и тонкость его замечаний, и я рада, что судьба свела меня с таким внимательным, чутким и знающим человеком.»³

Среди новых имен, открытых Сумеркиным, самым заметным стал псевдоним «Эдуард Лимонов»; как ни относиться к лимоновской прозе, роман «Это я, Эдичка», изданный А.С., стал вехой в освобождении русского голоса «из-под глыб».

Сумеркина-издателя отличала невероятная тщательность. «Академия Наук в единственном числе», А.С. перенес в эмиграцию бескомпромиссные стандарты советского книгоиздания – литературного и академического. В статьях и рецензиях последних десяти лет А.С. настойчиво возвращался к скрупулезности прочтения факта и слога: «Теперь – о пользе комментария»⁴ – «С этими знаками препинания прочесть текст трудно: последние три строки представляются достаточно невнятными»⁵ – «И еще одна «мелочь» [...] : авторская орфография (не радикально, но иногда значимо расходящаяся с общепринятой) и пунктуация, часто достаточно индивидуальная»⁶. Характерно, что Сумеркин-редактор часто становился на сторону автора – вот что он писал о трех «невнятных» строках, упоминающихся выше и принадлежащих Цветаевой: «Очень хотелось «помочь» читателю прочесть их следующим образом: [...] Однако после обсуждения этой идеи было решено все же оставить текст без изменения.»⁷ (Оскар Уайльд: «I have spent most of the day putting in a comma and the rest of the day taking it out.»)⁸

В 1990-98 годах Сумеркин положил начало школе переводов Бродского на русский язык, а в 1994-96 был редактором-составителем последнего прижизненного сборника Бродского – «Пейзаж с наводнением». По смерти Бродского, А.С., поневоле, стал «бродсковедом»; вместе с Львом Лосевым, Яковым Гординым и Виктором Голышевым, Сумеркин приступил к работе над академическим изданием трудов Бродского в Петербурге.

В последние годы жизни А.С. опубликовал множество просветительских статей в эмигрантской прессе – литературные обзор-

ры и рецензии, отклики на концерты и выставки, портреты выдающихся современных исполнителей – как уже было сказано в начале статьи, следуя принципам французских гуманистов конца XVIII столетия, которое неслучайно вошло в историю под именем века Просвещения.

В заключение – о потерянном. Естественный сумеркинский авторский жанр был сказ – отсюда его блистательные переводы (понятно, что перевод основан больше на звуке, чем на букве), любовь к Цветаевой и Ильфу-и-Петрову, интерес к Лимонову и Высоцкому, песням Ноэля Каурда и Аллы Пугачевой. Неповторимый авторский голос Сумеркина сохранился по большей части лишь в немногих интервью, имеющих отношение, по понятным причинам, в основном к Иосифу Бродскому. Сам Сумеркин свой голос не записал («У меня нет авторского самолюбия») – по Библии, закопал талант в землю. Опять-таки, это было намерением, а не трагической несурзницей. А.С. был намерен уйти, размыться, прекратиться. Да вы посмотрите на фамилию – Сумеркин.

По его собственным словам, «начисто лишенный дара веры»², А.С. тем не менее относился к своей фамилии с иронической любовью и, выбирая электронный адрес, взял итальянский псевдоним – tramonto. Вспомним, что в упомянутом нами пастернаковском стихотворении говорится о плавающей в тумане местности, в которой не выдать ни зги.

К сожалению, в том же тексте содержится следующий завет: «Не надо заводить архива,/ Над рукописями трястись». Бумаги А. С., переданные им в Бахметьевский Архив и отчасти в Фонд Иосифа Бродского за несколько лет до смерти, опять же чрезвычайно скромны, не сказать – неполны. По смерти А.С. в 2006 году его квартира освобождалась в спешке, и, без сомнения, многие материалы теперь навсегда утеряны.

Примечания

¹ Борис Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»

² David Daskal, in: Марина Цветаева, Стихотворения и поэмы в пяти томах (составление и подготовка текста А. Сумеркина, предисловие И. Бродского, биографический очерк В. Швейцер), New York: Russica Publishers, Inc., 1980-1990, Том 5 (б/с)

³ Нина Берберова, Люди и ложи

⁴ Александр Сумеркин. Пути поэта. Иосиф Бродский. Пересеченная местность. «Новый журнал», № 196, 1995, 404.

⁵ Александр Сумеркин, Опыт издания цветаевской поэзии – проблемы и решения.

⁶ Александр Сумеркин. «Пейзаж с наводнением» – краткая история, Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. Санкт-Петербург: Журнал «Звезда», 1998, 42-48.

⁷ Александр Сумеркин, Опыт издания цветаевской поэзии – проблемы и решения.

⁸ Oscar Wilde.

⁹ Александр Сумеркин, «Вольный дух».

Нина Аловерт

МИЛЕЙШИЙ САША СУМЕРКИН

Мне не приходилось встречать другого такого человека, как Саша Сумеркин, который распространял бы вокруг себя такую абсолютную благожелательность ко всем людям. Для всех у него была приветливая улыбка и для всех неблагоприятных поступков, о которых он знал, находилось оправдание. И не потому, что Саша хотел заступиться за друзей и знакомых, а потому что таково было его отношение к людям. Я познакомилась с Сашей в Москве перед отъездом из Союза в 1977 году. Но это было очень краткое знакомство, которое не оставило бы воспоминаний, если бы судьба не свела нас позже. О чем я и хочу рассказать.

Саша уехал в эмиграцию незадолго до меня. В то время стандартный путь для «беженцев» (статус, по которому нас оформляли), которые направлялись в Америку или Канаду, шел через Вену и Рим. Ко времени моего приезда в Вену, Саша был уже в Риме. Но его имя я услышала почти сразу же по приезде.

В Вене меня с семьей (мамой, детьми, фиктивным мужем) поселили в гостинице «Валенштайн» (как говорили, раньше в этом здании находился публичный дом). Утром следующего дня в огромную комнату, где мы все жили, вошла хорошо одетая, надушенная тонкими духами молодая венка и обратилась ко мне на русском языке: «Вы – Нина Аловерт? Мне говорил о Вас Саша Сумеркин, я пришла Вам помочь».

Уезжая из Вены, Саша сказал своей новой венской знакомой: «Скоро сюда приедет Нина Аловерт, помоги ей». И Ева помогла нам во многих проблемах нашей странной, кочевой, незнакомой жизни. Она же дала знать Сумеркину в Рим, когда мы приедем. Я этого не знала, поэтому была чрезвычайно удивлена и еще больше

обрадована, когда на перроне римского вокзала увидела знакомое улыбающееся лицо. Трудно передать сегодня читателям, какое это было чудо: увидеть на перроне в незнакомом городе, среди людей, говорящих на незнакомом языке, милого, доброжелательного, Сашу Сумеркина, который пришел помочь нам, малознакомым людям.

Саша участвовал и в нашей жизни в Риме уже как самый близкий «римский друг». Мое положение в Риме было исключительным, по сравнению с обычной жизнью эмигрантов из России. Нам помогал Михаил Барышников, мой (в прошлом) ленинградский друг, римская знакомая его секретарши на следующий же день после приезда поселила нас в хорошей гостинице. Нам был оплачен не только завтрак, но и обед для всех членов семьи. И тут случилась беда: моя пятилетняя дочь наотрез отказалась есть незнакомую пищу. Не помню, как мы выходили тогда из положения, но я пригласила Сашу, и он ходил с нами обедать вместо дочки и учил нас есть спагетти. Саша водил нас на «круглый рынок», учил меня первым необходимым итальянским словам, словом, помогал мне адаптироваться в абсолютно незнакомой жизни. Если я не ошибаюсь, Саша работал тогда в русском отделении какой-то римской библиотеки. Возможно, не работал, а ходил туда, свел знакомство с заведующим отделом. При его содействии мне давали книги на дом. Саша очень забавно рассказывал, как возмущался мною этот заведующий, когда я назвала Георгия Иванова второстепенным поэтом по сравнению с Гумилевым, Ахматовой и т.д. Не знаю, что думал Саша, но наша перепалка его забавляла. Вообще же он предпочитал не вмешиваться в чужие отношения, и, во всяком случае, никогда не передавал услышанного от одного к другому. Однажды, уже в Нью-Йорке, он с большой неохотой объяснил мне причину сложной ситуации, в которой я оказалась по вине наших общих ленинградских знакомых, но в детали не пускался: «Что-то говорили, но я не слушал». Саша любил своих друзей, и отношения между этими людьми на Сашину дружбу не влияли.

Повторяю, он для каждого находил объяснение его поступков.

Разговаривая, он умел расположить к себе собеседника и вызвать его полное доверие. Я это знаю по себе. Однажды, гуляя с Сашей по East Village, я рассказала ему историю из своей жизни, которую предпочитаю никому не рассказывать. Саша не давал советы и не утешал. Но то, как он слушал, приносило облегчение. При этом сам он о себе говорил очень мало. Таким он и был, мне кажется: абсолютно открытым для всех и более замкнутым, когда дело касалось его самого. И все это происходило как бы само собой.

Приношу свои извинения за то, что постоянно, в своих воспоминаниях о Саше, говорила о себе. Но мои записки о нем чисто личные. Мне хотелось только, пусть в небольшой степени, но оставить память об этом исключительном человеке, милейшем, добрейшем Саше Сумеркине.

София Чандлер

ТОЛЬКО БЫЛ БЫ

Мне трудно писать про Сашку, слишком он был близок. Наверное, когда расстояние больше, то человека виднее. Буду просто писать, что в голову придет.

Помню, шли мы с ним в августе по раскаленному Нью-Йорку, по Черч-стрит в больницу, где умирал Джим. Шли через весь город и искали какие-то жуткие конфеты, которые Джим попросил. Не Гадайву, и не Перуджину (которых полно на каждом углу), а скверные химические шоколадные конфеты, которые продаются в самых дешевых лавках и аптеках. Попросил Джим именно их – наверное из-за ностальгии по детству? Их не было нигде и помню, с каким упорством Сашка искал, жара стояла дикая, мы погибали и казалось, он готов так бесконечно блуждать... И нашел! Приходим в больницу – Джим с раздражением бросил их на стол.

Не забуду, как Саша стал уговаривать его подняться и сделать несколько шагов (врач велел), Джим упирался, а у Саши в голове появилась беспрекословность, нежность и боль переплавились в суровость: «Мы сейчас поднимемся и сделаем один шаг».

Когда Джим умер, Саша сказал: «Я думал, что все так невыносимо и безнадежно, что уже скорее бы закончилось. А теперь... все равно какой – больной, капризный, злой, невыносимый, но только был бы...» Вот и я думаю, все не важно, только был бы.

Сашина особенность состояла в том, что он часто говорил – «Я эгоист» или – «Я жадный», хотя не знаю никого щедрее и внимательнее к другим. Я приходила к нему раз в неделю в течение нескольких лет его болезни, и чем хуже ему было, тем легче, веселее, беззаботнее он становился. Мы все время смеялись (сейчас думаю, какой ценой ему это удавалось?). Когда больной, изможденный человек тебя веселит и шутит, то начинает казаться, что все наладится, обязательно найдется выход. В этой вере он держал меня, с ним было легко в самое трудное время.

Как-то он рассказал мне, что его дед дожил до девяноста трех, кажется, лет потому что бабушка два раза в неделю ходила на рынок и покупала ему вырезку. Вот и я уверовала, что если Сашу кормить вырезкой (которую он обожал), то он проживет очень долго...

У нас был свой ритуал: я держала у него специальную чугунную старинную сковородку и прямо с порога шла в его крошечную кухню, он подвязывал мне фартук и мы рассказывали друг другу новости и сплетни. Здесь тоже был свой ритуал – в самых мелочевых историях я останавливалась и спрашивала: «Почему это?» А Сашка давал непредсказуемые и восхитительные объяснения. В этом и был его фантастический талант, в комментариях, ремарке. Всегда у него выходило точно, иногда – дико смешно. Но кто ж упомянет... Говорят, в старости память возвращает прошлое. Буду ждать.

Вот, вспомнила. Однажды спрашиваю у него: Почему голос певца волнует гораздо больше, чем любой инструмент в самом гениальном исполнении? На что Саша ответил: Это просто. Потому что в голос «вставлена» Божья благодать, а в инструмент – железка.

А про музыку как он мог говорить! В возрасте пяти лет у него появился проигрыватель и он так восхитился музыкой, что отказывался идти в детский сад без этой штуки. Так и носил с собой этот ящик, благо, что заведение было в том же дворе.

Я заметила, что когда люди входят в лифт, то кабинка лифта колышется, подрагивает, когда же доходит очередь до Саши, то совершенно нет вибрации, словно дух бесплотный влетел, и спросила его, почему так? Он ответил: «Потому что я хочу как можно меньше оставить своих «колебаний» в этом мире.»

Примерно так же он ответил на вопрос, почему он не пишет прозу. «Я стремлюсь оставить как можно меньше следов своего присутствия. « И еще: « Мне этого не надо. У меня нет амбиций». (Он был уверен, что только желание обозначить себя в мире, признание, внимание окружающих являются движущей силой творчества.)

Вы заметили, как много у Саши было женщин-подруг? И все любили его с невероятной силой, ревновали, кто явно, кто тайно. Если нас всех собрать, то получится довольно разношерстная компания. Базарные бабы и неземные создания, гениальная пианистка и озлобленная садо-мазохистка... Женщины в него влюблялись. Все, или почти все. Что-то было в Саше, что не находили они в мужской части народонаселения, что это? Думаю, тонкость наблюдения и точность найденного слова и еще что-то. Саша ведь, при всей его

мягкости, мог словом убить. Я была свидетелем один только раз и не забуду, как птицы петь перестали, трава к земле пригнулась...

Приходилось говорить себе: раз Саша ее любит, то и я должна принять. Так он странною любовью любил Маринку. И боялся при ней говорить о многом. Она считала, что гейство – дурная прихоть, и если я вдруг касалась этой темы, то молчаливая Марина высказывала свое недовольство. И как много она значила в последние годы его жизни!

*

Недавно зашла я к Клоду, это наш легендарный кондитер с Вест Четвертой улицы, обнаруженный Сашей много лет назад.

Какое количество людей Саша туда приводил!

Думаю, отчасти Клод ему обязан процветанием бизнеса.

Пирожные он печет и правда, нет слов, как великолепно и без остановки, открыт с утра до ночи. Ничего не изменилось у него, все те же кондитерские шедевры, то же крошечное кафе, те же пожелтевшие фотографии его французских предков-кондитеров на фоне семейного заведения... тот же скверный характер. Только сам Клод стал еще больше походить на кусок непропеченного теста, как лицом, так и фигурой.

У «Сайнфелда» есть герой «Суп-наци», так и наш Клод – кондитерский туркмен-баши, потому что характер у него еще тот... может человека выгнать, за мельчайшее преступление: если вид у клиента наглый или слишком улыбается, не так пирожное называет – покажет на кофейный эклер и назовет его «шоколадным» (разница только в оттенке коричневого).

Так он нашего нобелевского лауреата выгнал с воплями и скандалом, за то, что слишком долго выбирал между крем-пафф и эклером. С тех пор он не смел зайти к Клоду, и я несколько раз захватывала что-нибудь для них с Марией, к счастью, жили они недалеко.

Потом у Саши возникла вполне правдоподобная теория, что дело не в том, что Бродский замешкался, а в ревности кондитера. Клод, по Сашиному мнению, как и все мужчины, которые достигают совершенства в каком-либо деле, совершенствуются исключительно, чтобы завоевать сердца красивых женщин. «Сидит Клод, как паук – говорил Саша – и плетет свою сладкую паутину в виде пампушек и волшебной красоты пирожных, притаился в своем закутке и ждет добычу...» Поэтому всех женщин, которые приходят к нему в кафе, он подсознательно считает собственностью и, соответственно, ненавидит их спутников.

Когда у меня появился жених, то Саша разработал план,

как его представить Клоду, и не пострадать (жизни без Клодовых чудес мы не мыслили). Саша, единственный, к кому деспот благоволил, должен был смягчить Клодово кондитерское сердце словами о восхитительных круассонах (фамильной гордости Клода), потом представить ему Митю, потом должна была появиться я... Митя страшно волновался, он понимал, его «будущее счастье» в мясистых руках Клода.

Когда я иду по Вест Виллиджу, столько раз хоженому с Сашей, мне кажется, что последовательность домов, вывесок, витрин и сам серый тротуар, как старая магнитофонная пленка, сохранили все наши бездумные разговоры, что слова когда-то сказанные, застряли в трещинах асфальта и хранятся там, надо только знать, как включить этот проигрыватель. Иногда он может включиться и сам, если ни о чем не думать.

После Сашиной смерти, я в первый раз зашла к Клоду и на вопрос: «Как Саша?» ответила, что умер. Клод странно отреагировал: «Это к лучшему. Последний раз он даже пэ а росан (булку с изюмом) не доел – что ж это за жизнь?»

Ирина Машинская

СВЕТ МОЙ

«Ирочка, – говорит он, – свет мой... Это Сумеркин» (иногда – старомодно: «Сумеркин беспокоит»). Всегда с утвердительной, никогда – с восклицательной интонацией. Как будто ставит точки, а не запятые.

Это мне очень ново. Я недавно из Москвы. В Москве взрослые люди так друг друга не называли, разве что родственники. А вне семьи так ко мне обращались только в детстве. Только в детстве – так заведомо принимали, прощали, так искренне интересовались мной. Эта нежность: «Лизочка наша, – говорит он, – Сонечка, Геночка, Лёничка...» И в этом нет сладости – совсем. А то – с удовольствием: Наташка! И – смесь восхищения, юмора, нежности, загадочности – и какого-то неведомого нам долгого спора, несогласия: Марина Александровна.

Первые годы нашей дружбы: сплошное солнце, юг Манхэттена, я спускаюсь с ним, вернее, за ним – курить к подножью высотного здания, где мы служим. Хотя не курю. Но ради того, чтоб

поболтать с Сашей – курю. Часто – втроем: он, Соня и я. Саша обожает мои ослышки. Они с Соней их коллекционируют. «Ирочкины, – говорит он однажды, обращаясь к Соне, – небесные трели...» Вокруг гудки, грохот канализационных решеток под уходящими в тоннель колесами. «Что? – глуховато переспрашиваю я. – К е... фене?» Я вообще-то никогда не произношу этих слов, я, в отличие от Саши, страшно консервативна, от этого им еще смешнее. Они сползают по стене. Они всхлипывают, не могут остановиться. «К е... фене»... Глаза у Саши совершенно мокрые Мы обнаружили кафе неподалеку от конторы. Такое жалкое. Мы его назвали, в честь моего любимого романа: *Яйцо и Мы*. То есть такое, куда ходят из чувства милосердия к хозяину... Мы там иногда сидим в перерыве: Саша, Соня и я. Там я впервые читаю им новый стишок про капельку. Он слушает меня с радостным восторгом. Я не понимаю, почему. Как я не понимаю, что он вообще нашел во мне. Это какая-то необъяснимая ошибка с его стороны, от щедрости. Но вот опять перерыв – он выходит из комнаты на двери которой написано *Twilight Zone* – мы выползаем на свет, и он говорит: в «Яйцо и Мы»? Это благородно со стороны Саши – так говорить, ибо он совсем не любит Набокова. Я защищаю, пытаюсь что-то доказать: ну какой он холодный? «А я, – говорит Саша просто, – не люблю аристократов».

Не любит. А уж если чего не любит... Он поэтому, слава Богу, не монархист, хотя с годами становится, к ужасу моему и Марины, совсем державником. С непонятными нам политическими пристрастиями. Ну и что.

Саша демократ. Он ходит в вытертой футболочке и радуется, когда находит – на грязном нью-йоркском тротуаре, уже на краю люка – и бережно поднимает своими тонкими пальцами – целую сигарету. Подбирает довольно-таки неприглядные копеечки. Смеется моему брезгливому ужасу.

Он вообще любит смелое – и в искусстве, прежде всего. Все немного странное, самостоятельное, по-настоящему новое: страстно увлекается – стихами Саши Пушкина, его коллеги по «Новому журналу», позже – романсами Юльки Беломлинской. Он счастлив талантом другого. А если Саша увлечен – это всегда означает: вовлечен. Это означает восхищенные – всем вокруг – рассказы, деятельную помощь – предисловия, рецензии...

«Все-таки, я не понимаю, – говорит в который раз моя мама, как будто надеется получить ответ, – как это Саша, с его вкусом – восхищается Пугачевой?» Ага, восхищается. Мы сидим у него в

комнатушке. «Вот, новый диск мне привезли», – довольно говорит Саша, показывая куда-то на полку (из магазинных ящиков). Пауза. «Гениальный». Пауза, с нежностью: «Аллы Борисовны...» (Теперь-то я понимаю: он слышал голос, талант – а остальное его не смущало – может, даже забавляло, восхищало: вызовом, дерзостью). Я без энтузиазма киваю. Мне совсем не хочется говорить про Аллу Борисовну. Я хочу говорить с ним о его кумире – Рихтере. Слушать, как он говорит о музыке.

Когда-то, знакомя меня с Сашей, наша общая приятельница, музыкант в прошлом, прошептала: «Знаете, Саша – настоящий меломан». Вот он идет навстречу по коридору нашей конторы: Саша, настоящий меломан.

Европеец. Чувствующий и слышащий языки, как никто из моих знакомых – ни до, ни после. Тонкий, в темно-синей водолазке. Мы знакомы лишь недавно. Его лицо омыто невероятным светом – я никогда не забуду этого дня, этого его сияния, *умытости слезами*: я знаю от общих друзей, что вчера он похоронил Джима. Ну что я могу сделать для этого человека?

Только что в России погиб М., мой друг и Сашин знакомый. Я впервые за эти дни еду в город. Это уже 1997, лето. Еду к Саше, который в тот день, ранним утром и сообщил мне о гибели М.- и добавил с болью: «Простите, что я звоню с такой вестью».

У Саши работа – работа, которая его кормит: переводы. Нас ведь уже давно выперли из конторы. Но он отодвигает все в сторону. Я сижу напротив него недолго. Может, час. Но если б надо было – он сидел бы со мной столько, сколько мне было бы нужно, слушал мое бормотание.

Мы сидим у окна, тут светлее. Я снимаю темные очки и вижу его, освещенное грустью, лицо. Он внимательно слушает. Говорит ласково, беря мои руки в свои: «Он еще что-то хорошее для Вас сделает, вот увидите». Это Саша-то, атеист. Мы говорим о литературном даре М. «Сашенька, – почему-то вдруг спрашиваю я, – Вы возьмете к себе мои стихи, если со мной что-то случится?» И Саша очень серьезно отвечает: «Да».

Делаю ли я сейчас для него то, что он сделал бы для меня?

В один из его последних дней рождения я говорю ему: «Знаете, ведь Вы мой учитель». И он не смеется. Так, чуть-чуть. «Я, когда не знаю, как поступить, я думаю – а как бы сделали Вы? Или что бы мне посоветовали – и поступаю так, как Вы. Как Вы бы мне

сказали». «Свет мой...» – говорит он. Но не отнекивается Я думаю, не одна я так.

Поворотный момент в моей жизни. Сентябрь, 2002 год. Пожар, смятение. Я мечусь в отчаянье. Я должна принять решение. И я бросаюсь – конечно, к Саше. Почти ночь, я избегаю на этот его этаж – не то второй, не то третий, верчу головой в поисках потерявшейся двери – я тут почему-то всегда путаюсь – он стоит в дверях маршем выше и улыбается.

Мы пьем вино, я исповедываюсь – а он с нескрываемым интересом и даже азартом слушает мою историю – как он слушает! Как роман. Рассказывает, в ответ, свое, о своей семье – то, чего я раньше не знала. Его совет определенен, как благословение.

Мы стоим в дверях, договаривая, я вдруг показываю ему на кольцо – и он целует мне *эту* руку. На его лице такое счастье за меня, такая нежность и вера, он *лучится* – я почти вижу и никогда не забуду эти лучи. Я оборачиваюсь на лестнице, он стоит в дверях, как свечка.

Каждый день что-то напоминает о нем. Улочка в East Village (имгновеннаясамопоправка: *Восточная Деревня!*) и особое освещение этого места – чуть сумеречное даже в солнце... Одинокая, никем не подбираемая сигарета на тротуаре, запахи любимой им еды. Слово «бьялый». Помидоры в лотках – Саша покупал их только раз в году, когда они *настоящие*. Бродвейские линии метро – N и R. Когда я вижу хороший CD, и он стоит \$5.99. Реклама магазина J&R – его магазина. Когда по 13 каналу передают оперу. Наш с ним – с того сентябрьского вечера – британский сериал «As Time Goes By». Имена его любимых исполнителей. А главное – имена и лица наших общих друзей.

Последние пару лет мы стали более регулярно собираться – у Сони и Митчелла, раз в месяц. Компания двуязычная, разговор – двух-трехголосный, как фуга – одновременно по-английски и по-русски. Но есть вещи непереводаемые. В который раз предпринимается попытка объяснить не говорящему по-русски милому, тонкому хозяину суть анекдота про Чапаева и его лошадь. «И она говорит: «Я чего пришла», – начинает Саша на своем безупречном английском – и не может продолжать, закрывает рот ладошкой. Русская часть компании стонет и слабеет от смеха. Бедный Митя печально и обиженно молчит. На его лице написано отчаяние.

Я чего пришла, – так часто начинались мои с Сашей телефонные разговоры.

Его сообщения на автоответчике! Если б можно было их сохранить! Одно из первых – я поднимаю трубку, солнце, пылинки, Сашин чудесный голос. Я помню даже свою позу у телефона. «Ирочка, милая, я вот сейчас отправляюсь к дантисту, и может быть, не вернусь. И Вы тогда никогда не узнаете, что мне о Вас сказал NN.... И он просил Вас ему скорей позвонить!»

Его щедрость. Бесконечно занятый, он на службе в перерыве дает мне первый урок на компьютере. На стене перед ним листок с обозначением операций: F1, F2... «Вот так выбираем шрифт», – и он крупно печатает: IROCHKA'S RADIANT SMILE. «Но сейчас, – таинственно, – уже появились эти замечательные *Окна*». Так турист Саша называет Windows.

С ним, так или иначе, связаны в моей жизни все чудеса. Именно он организует представление моей первой маленькой книжечки, подготовленной с его горячим и радостным участием. Станный, чудесный летний вечер в студии фотографа Нисневича – без Тамары Нисневич, сделавшей макет, книжки тоже не было б. Жара. На какой-то этаж втаскиваются непонятно зачем микрофон и тяжелые данамики. Саша, в белой застиранной футболочке и джинсах, долго говорит вступительное слово, я, оглушенная событием, ничего не слышу. В этот вечер я впервые знакомясь с приглашенной Сашей Мариной – они вместе работают в «Новом Журнале» у Ю.Кашкарова. Происходят странные сюрреалистические вещи – например, в публице неожиданно оказываются трое русских витязей, из газеты узнавших о вечере. Они, как выясняется позже, перегоняют лошадей через весь континент, с востока на запад. Ночуют (с лошадьми же) на открытых парковках. Один из них романтически читает мне стихи. В микрофон, волнуясь. Мы потом тот вечер так и называем: это *когда приходили конники*.

Его записочки, его открытки, его сложенные вдвое и спрятанные в дары листочки, мелким почерком – аккуратным, простодушным, чуть детским.

Переписанная им музыка – вначале кассеты, потом «диски». После смерти Саши я сложила их в отдельную большую коробку. И все равно попадают новые, то тут, то там. Они не кончаются. Кассеты надписаны аккуратно, но кратко, толково: композитор, произведение, исполнитель. Ничего лишнего, пространныго.

Его записочки уже по интернету: *Ваш С.* Удивительным образом даже в них – *его почерк*.

Да, Сашины подарки – любовно собранные пакеты, сумочки, где всегда есть музыка и всегда – наш любимый горький шоко-

лад. Я впервые еду в Париж, и первая моя покупка – шоколадка для Саши. «И мороженое, – блаженно и терпеливо наставляет Саша, – только у Бертильона – запомните: кассис».

Дарить Саше нелегко. Впрочем, обычно он облегчает задачу: практически предлагает подарить карточку в Tower Records. (Они ушли почти одновременно – Саша и его пластиночный магазин). На заре нашей дружбы я повсюду ищу ему красный чайник – потому что его сгорел, а ему нравятся красные. Наконец, нахожу нечто близкое. Чайник маленький, красный, то, что надо, но вот по кругу идут такие... гуси. Довольно небольшие бледные гуси, не очень, кажется мне, заметные. Несусь к нему с этим чайником. «Нет, – печально говорит Саша. – Тигры этого не едят». Чайник с гусями – отныне это становится в нашем кругу обозначением всего неуместного, глупого.

Ибо Сашино *нет* – это *нет*. С ним не стоит спорить. Его, такого нежного, оценки людей – и событий – и произведений искусства – могут быть уничтожающими. И все точно. Он тихо проносит пару слов – и человека нет. Мокрое место.

Он уже очень болен. Наши разговоры кратки. Саше говорить трудно, он больше слушает. Я говорю ему о возмущившей меня книге о Бродском, я горячусь, «не могу молчать», хочу написать письмо автору. «Ирочка, милая, – говорит Саша, – ведь именно *это* ему и нужно. Лучше – в редакцию, к читателям». «Коротко, да? Пощечина?» – «Да, – отвечает Саша жестко, – именно. Только не ждите, что он примет вызов». И добавляет пару уничтожающих слов.

Вот так же когда-то он, готовя переиздание ардисовской серии, не принимал слабый перевод прозы Бродского, волновался, боролся. Он стоял посреди редакции и кричал. Саша – кричал! Я никогда не видела его в такой ярости. Его твердость, иногда жесткость – оборотная сторона любви.

Я везу его к Марине на Лонг Айленд. Мы уже близко, выходим на какой-то залитой предзакатным солнцем торговой площади размяться и проверить, так ли едем. Саша, кажется, не утомлен. Он с удовольствием переживает приключение. Залезая снова в машину, я меняю CD. До этого мы слушали Сати («Зародыши», – поощрительно кивнул Саша). Я ставлю Эллу и Луи, дуэты. Когда-то именно Саша, зная мою любовь к обоим, записал мне такую же кассету. «Stars shining right above you», вступает Элла, сверкает не-

повторимая труба – и мы совершенно одновременно восклицаем: «Какие все-таки они ... теплые!»

Это был хороший день, почти счастливый. Марине было легче. Тогда, сразу по приезде, Саша обрил ей голову привезенной машинкой. У Марины оказалась прелестная форма головы. Она стала похожа на Нефертити. Мы ездили на ледяной еще океан, они бродили по пляжу – Марина, Саша, Маринин папа, Маринины друзья. Я заплыла далеко, и Саша забавно беспокоился, что меня долго нет. Ехали по гористой лесной дороге – такой крутой, что всем становилось немного страшно – вверх, вниз – и Маринка терпела. Долго ужинали и спорили о том, в какие блинчики влезает больше начинки: в треугольные, такие, как прислала моя мама, – или в прямоугольные. Яростный спор, чертежи на салфетках. Марина посмеивалась. Это, правда, был счастливый день. Саша потом долго его вспоминал.

Ночь. Мы с Сашей возвращаемся из Лонг Айленда в город. Я предлагаю Саше выбрать музыку. Удивительным образом, он выбирает Бетховена. Это именно то, что я слушаю последнее время – ре мажорный скрипичный концерт – вот он как раз с краю – Саша осторожно вытаскивает диск. Играет – Анна Софи Муттер. Эта ее чуть хрипловатая скрипка, долгожданное вступление ее. Мы мчимся по совершенно пустой черной дороге. В какой-то момент мне кажется, что я не перешла на нужное шоссе, я уже не совсем понимаю, где мы. «Но так или иначе, – безответственно заявляю я поверх музыки, – мы все равно едем в правильную сторону, к Манхэттену, куда-нибудь да приедем». Саша откликается так же беспечно и радостно. Это лучший, самый легкий пассажир на свете. Мы мчимся посреди ночного мира и слушаем бесконечно прекрасную первую часть... вторую. Поворачиваясь, я вижу Сашин профиль.

Как часто, возвращаясь от друзей, мы ехали вот так через буйную к ночи, развеселую Деревню, и Саша руководил поворотами и помогал мне никого не задавить, и, пока на заднем сиденье разговаривали, мы слушали то, что он хотел, или то что предлагала я: Джона Льюиса или незнакомый диск его любимой Вероники Долиной (еще одно имя и увлечение – *от Саши*). Он любил эти короткие поездки. А для меня это были праздники. *Я помню их наперечет...* Мы почти не говорили. Он слушал так внимательно, сдержанно, спокойно, так вдумчиво. Этот чудесный, ясный профиль, освещенный прихотливым ночным светом большого города; сумеркинская полуулыбка; выставленная вперед, упирающаяся в

переднюю стенку палочка. Потом мы оказывались у его дома, он выходил, и перегнувшись через опустевшее кресло, я прощалась с ним, так мило, так ласково меня благодарившим.

В ту июньскую ночь, подкатив к его подъезду на St. Mark's, сидя в машине, несколько минут дослушиваем финал бетховенского концерта – как будто мы дочитываем книгу, чтоб узнать, чем кончится.

Через полгода я написала о Саше:

«Ему по-детски хотелось подражать, соответствовать, потому что абсолютно все осознавали этот высочайший класс – человеческий и профессиональный; эту теплоту, нежность к другому, лишенную и тени слащавости – и бескомпромиссность; это бесконечное благородство, достоинство, которое обычно называют «аристократическим»– и откровенную демократичность (в том числе и языковую), даже нелюбовь к «аристократичности»; вдумчивость – и всегдашнюю радостную готовность к смешному и неожиданному; товарищество, глубину и искренность человеческого участия – до подвига – и некую отдельность ото всего и от всех; горячность отношения, порою экстравагантность вкусов и взглядов – и особую светлую тихость его, мудрость, покой. И с каждым были свои, отдельные, особенные, *единственные* отношения, и никому с ним не хотелось спорить и доказывать свое и себя, а только быть рядом и дорожить каждой минутой этого счастья».

Я в последний раз прихожу к Саше в больницу. С Сашей друзья. Сажу несколько минут, встаю. Я боюсь его утомить. Он делает слабое движение рукой и прощается тихо, но почти обыденно: «Ирочка, милая. Созвонимся, да?»

Апрель 2008

АВТОРЫ

Бардин, Сергей (1949). По образованию инженер-физик. Работал в Академии наук, учился в Театральном училище им. Щукина на режиссерском отделении, работал корреспондентом центральных журналов и газет. Автор книг рассказов «Целый день город» и «Ломбард». Автор книги документальной прозы «Мысли холодное пламя». Книга «Целый день город» удостоена премии им. Максима Горького за первую книгу автора. Публиковался как автор художественной прозы в журналах «Знамя», «Золотой век», «Октябрь» и многих других изданиях. Рассказы публиковались и переводились в Венгрии, Германии, Израиле, Чехии, Канаде, США. Живет в Москве.

Барскова, Полина (1976 г., Ленинград). Закончила классическое отделение филфака, уехала в США в 1998, закончила аспирантуру - славистика - в UC Berkeley, преподаёт русский язык, литературу и кино в Hampshire College, MA. Опубликовала семь поэтических сборников.

Бонч-Осмоловская, Татьяна. Родилась в Симферополе. Закончила Московский физико-технический институт (1980-1987) и французский университетский колледж (1999-2001). Работала в Объединённом институте ядерных исследований, издательствах «Мастер», «Свента», «Гранть». Кандидат филологических наук (диссертация о творчестве Раймона Кено, РГГУ, 2003). Вела авторский учебный курс комбинаторной литературы на факультете гуманитарных наук, МФТИ. Член консультативного комитета ISA (International Symmetry Association). В настоящее время - аспирант UNSW (Сидней, Австралия).

Вейцман, Александр. Закончил Гарвардский и Йельский университеты (степени бакалавра и магистра в области экономики и финансов). Пишет стихи, прозу, эссе. Переводит на русский и английский (стихи И. Бродского, Н. Гумилева, К. Кавафиса, Г. Максвелла и др.) Живет в Нью-Йорке.

Вулф, Олег (1954, Молдавия). Работал в геофизических экспедициях на Урале, Памире, Алтае, Кавказе. С 1989-го живёт в США. Главный редактор журнала 'Стороны света'. Книга стихов, рассказов и эссе «Снег в Унгенах» (2008).

Гандельсман, Владимир (1948), поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1948-м в Ленинграде. С 90-х - в Петербурге, Нью-Йорке. Автор одиннадцати книг стихов, переводов, эссе.

Генис, Александр. Родился в 1953 г. в Риге. Окончил филологический факультет Латвийского университета. С конца 1970-х годов живет в США. Многократно публиковался в постперестроечной России и за рубежом. Автор ряда эссеистических книг, написанных совместно с Петром Вайлем («60-е: мир советского человека», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «Америка-

на»), и нескольких книг критики и эссе о литературе и культуре («Вавилонская башня», «Иван Петрович умер», «Довлатов и окрестности»). Премия ж-ла «Звезда» (1997). Живет в Нью-Джерси.

Горбаневская, Наталья (1936), поэт, переводчик, редактор. По образованию филолог, в Москве работала библиотекарем, библиографом, техническим и научным переводчиком, была автором, машинисткой и редактором самиздата. В апреле 1968 г. стала первым редактором самиздатского информационного бюллетеня «Хроника текущих событий», а 25 августа того же года участвовала в демонстрации на Красной площади против советского вторжения в Чехословакию. Оставшись после демонстрации на свободе, составила документальную книгу «Полдень. Дело о демонстрации на Красной площади» (вышла по-русски в «Посеве» в 1970, в 1970 вышла по-французски, по-английски – в Англии и в США, по-испански в Мексике, а в 2006 – в Польше). В декабре 1969 г. арестована и отправлена на принудительное лечение в Казанскую психиатрическую тюрьму («психиатрическую больницу специального типа»). Освобождена в феврале 1972 г. В декабре 1975 г. вместе с двумя сыновьями эмигрировала, с февраля 1976 г. живет в Париже. Работала в редакции журнала «Континент» (в последние годы парижского издания «Континента» была зам. главного редактора), до 1988 была внештатным сотрудником радио «Свобода», с начала 80-х годов и до 2003 работала в газете «Русская мысль». С 1999 – член редколлегии (а также постоянный автор и переводчик) журнала «Новая Польша», выходящего в Варшаве на русском языке.

Горланова, Нина (1947) окончила филол. ф-т Пермского ун-та (1970). Работала лаборантом в Пермском фармацевтическом ин-те (1970-71) и Пермском политехническом ин-те (1971-72), младшим научным сотрудником в Пермском ун-те (1972-77), библиотекарем в школе рабочей молодежи (1977-89). Методист в Доме пионеров и школьников. Печатается как прозаик с 1980. Многочисленные публикации в толстых журналах. Автор книг прозы: Радуга каждый день. Рассказы. Пермь, 1987; Родные люди. М., «Молодая гвардия», 1990; Вся Пермь. Пермь, фонд «Юрятин», 1997 (предисл. М.Абашевой); Любовь в резиновых перчатках. СПб, «Лимбус Пресс», 1999; Дом со всеми неудобствами. М., «Вагриус», 2000. Произведения Нины Горлановой переводились на английский, испанский, немецкий, польский, французский языки. Член СРП (1992). Первая премия Междун. конкурса женского прозы (1992), спец. премия американских ун-тов (1992), премии журналов «Урал» (1981), «Октябрь» (1992), «НМ» (1995), Пермской обл. (1996). Живет в Перми.

Жажоян, Манук (1963 – 1997). Закончил Литературный институт в Москве. С 1992 по 1996 жил в Париже, в 1996-97 гг. – в Париже, Петербурге и Москве. Был литературным обозревателем «Русской Мысли». Автор многочисленных критических и публицистических статей, эссе, а также единственной книги стихов «Селект». 30 июня 1997 сбит машиной в Петербурге, куда выехал для продления французской визы.

Ивантер, Алексей (1961 г.). Учился в педагогическом институте, был рабочим в геологической партии на Верхоянском хребте, строил на Алтае линии электропередач, жил сезонным сбором яблок под Россошью и никогда не придавал значения фактам своей биографии.

Клоков, Виктор. Родился и живёт в Риге. Программист, тридцать лет занимается авиарасписанием. Организатор своего Стосвет-форума на www.art-in-exile.com/forums.

Кружков, Григорий (1945). Автор пяти сборников стихов, в том числе «Бу-меранг» (1998), «На берегах реки Увы» (2002) и «Гостья» (2004); переводчик классической английской поэзии. Сборник его избранных переводов «Англосахаб. 115 английских, ирландских и американских поэтов» издан в 2002 г. Автор книги о поэзии английского Возрождения (статьи и переводы) «Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова» (2002), перевода «Охоты на Снарка» Л. Кэрролла (1991) и антологии английской абсурдной поэзии «Книга NONсенса» (2000; 2003). Также составил и перевел поэтические сборники: Роберт Фрост «Другая дорога» (1999), Джеймс Джойс «Лирика» (2000), Уоллес Стивенс «13 способов нарисовать дрозда» (2000), Уильям Батлер Йейтс «Избранное» (2001), Джон Донн «Избранное» (1994) и «Алхимия любви» (2005), Джон Китс «Гиперион и другие стихотворения» (2005). Выпускал книги для детей, переводные и оригинальные, в том числе: «Чашка по-английски» (1991; 1993), «Посыпайте голову перцем» (1994), «Неуловимый ковбой» (1995), «Сказки Биг-Бена» (1993), «Единорог» (2003), «Сказки медвежьи, одуванчиковые, свиные» (2005). Награжден Почетным дипломом Международного совета по детской книге (1996 г.). Его литературоведческие исследования и эссе печатались во многих научных и толстых журналах; часть их собрана в сборнике «Ностальгия обелисков» (2001). В эту же книгу вошла расширенная версия диссертации по Йейтсу и русскому символизму, защищенная Г. Кружковым в Колумбийском университете (Ph.D., 2001). Награжден рядом премий, в том числе «Иллюминатор» журнала «Иностранная литература» (2002), «Венец» Союза писателей Москвы (2004), Государственной премией Российской Федерации по литературе (2003). Живет в Москве, преподает в Российском государственном гуманитарном университете.

Макушинский, Алексей (1960, Москва). Поэт, прозаик, историк литературы. По образованию филолог, кандидат наук. Автор книг «Макс. Роман» (Москва, 1998). «Свет за деревьями. Стихи» (Санкт-Петербург, «Алетейя», 2007). Член редколлегии журнала «Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte» и его русской сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Сотрудник кафедры Восточноевропейской истории Католического университета Эйхштетт-Ингольштадт. В Германии с 1992 года. Живёт в Мюнхене.

Маши́нская, Ирина. Поэт, переводчик, прозаик. Родилась в Москве. Окончила факультет географии и аспирантуру МГУ. Участник литературной студии «Сокольники» (руководитель Е.С.Винников). Основатель и первый руководитель детской литературной студии «Снегирь» (Москва). Живёт в штате Нью-Джерси, США. Автор пяти поэтических сборников, книги переводов. Соредактор (вместе с Олегом Вулфом) журнала «Стороны света».

Медведев, Александр (1945). Учился в ремесленном, работал на заводах, шахте, стройках Пермского края, позже – Питера, Москвы.

С 1976 г. – в Союзе писателей. В 70-80 г. минувшего века издал в московских издательствах пять книг лирики. В 2003 году написал роман в стихах «Нулёвые годы». Живет в Москве.

Мордерер, Валентина (1941). Закончила Киевский геолого-разведочный техникум. Живет в Москве. Принимала участие в составлении, комментариях и публикации следующих изданий: «Владимир Маяковский. Хроника жизни и деятельности». М., 1985; «Велимир Хлебников. Творения». М., 1986; «Б. Лившиц. Полупораглый стрелец». Л., 1989; «Анна Ахматова. Пять книг: Десять лет. После всего. Поэма без героя. Реквием. Фотобиография». М., 1990.

Полухина, Валентина. Professor Emeritus Кильского университета в Англии. С 1977 г. специализировалась в области современной русской поэзии; является автором нескольких исследований творчества И. А. Бродского.

Рамадански, Драгиня (1953). Переводчик с русского и венгерского языков. Родилась в в сербском городе Сента, окончила филфак Белградского университета. Кандидатская диссертация по теме «Конструктивные особенности прозы В.В.Розанова», докторская – «Пародийный план романа «Село Степанчиково и его обитатели». Переводила стихи Иосифа Бродского, Михаила Кузмина, Марины Цветаевой, Николая Заболоцкого и Довида Кнута. Составила антологию переводов из женской русской поэзии в которую вошли произведения десяти «собеседниц» (Наталья Крандиевская, Мария Игнатьева, Ирина Маши́нская, Света Литвак, Юлия Скородумова, Фаина Гринберг, Татьяна Щербина, Светлана Бодрунова, Вера Павлова, Мария Степанова). Переводила прозу И. Анненского, В. Розанова, А. Аверченко, А. Белого, Ю. Лотмана, В. Шмида, Б. Парамонова, А. Чернова, Т. Толстой, Ю. Матвеевой, Ф. Искандера, О. Комаровой, Н. Байтова, С. Гандлевского, Ю. Шифферса, Д. Кузьмина, И. Яркевича и др. Опубликовала 25 книг переводов с русского и венгерского языков (Ф. Солмогуб, М. Башикирцева, В. Шкловский, М. Цветаева, М. Эпштейн, А. Генис, Вик. Ерофеев, П. Крусанов, К. Ладик, Ю. Сивери, И. Конц, В. Сорокин (День опричника) и др.) Поле литературных интересов (пока) составляет старая русская литература и литература 18 в. (лингвострановедение).

Служевская, Ирина. Филолог, критик. Родилась в Ташкенте, преподавала в пединституте, защитила диссертацию о лирике Ахматовой. С 1989 года

живет под Нью-Йорком, в Хобокене. Продолжает писать о русской поэзии. Книга «Три статьи о Бродском» (М., «Квартет») вышла в 2004 году. Книга «Китежанка» (о поэзии Ахматовой тридцатых годов) готовится к изданию.

Сыромятникова, Елена (1974), живёт в Академгородке, работает дизайнером-верстальщиком в журнале «АкадемСити».

Фролов, Игорь (1963). Родился в городе Алдане Якутской АССР в семье геологов. Окончил Уфимский авиационный институт. В 1985-1987 годах - служба в СА офицером ВВС СССР. Служил на Дальнем Востоке и в Афганистане бортехником вертолета Ми-8. После армии работал сторожем, около десяти лет отдал медицине. Работает в еженедельнике «Истоки». Член редакционной коллегии журнала Стороны Света.

Чандлер, Роберт (Robert Chandler), английский переводчик с русского и других языков. Среди его переводов – роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», пушкинский «Дубровский» и «Леди Макбет Миценского уезда» Николая Лескова. Его участие в работе над переводами из Андрея Платонова было отмечено премиями как в Англии, так и в США. Роберт Чандлер – редактор издания «Русские новеллы от Пушкина до Буйды». Переводы с других языков включают избранное из Сапфо и Аполлинера. Роберт Чандлер любит переводить в тесном творческом сотрудничестве с другими переводчиками. Он преподаёт в колледже Королевы Мери (Queen Mary College) Лондонского Университета, и в настоящее время работает над переводами пушкинской «Капитанской дочки», романа Андрея Платонова «Чевенгур» и произведений Василия Гроссмана, включая повесть «Всё течёт», а также планирует приступить к составлению антологии русских сказок. Член редакционной коллегии журнала Стороны Света.

Черешня, Валерий (1948, Одесса). С начала 70-х годов живет в Санкт-Петербурге. Автор книги стихотворений «Сдвиг» (изд-во «Абель», СПб., 1991), сборника «Вид из себя» (записные книжки, изд-во «Urbi», СПб., 2001), многочисленных публикаций в толстых журналах, автобиографической прозы «Герой ушедшего времени», а также стихотворений периода 2000-2004 годов, не вошедших в книги.

Элтанг, Лена (1964). Закончила факультет журналистики Ленинградского университета. С 1988 г. жила в Париже, Копенгагене, Лондоне, в последние годы в Вильнюсе. Публикации в журналах «Знамя», «Октябрь», а также в Интернете. Изданы две книги стихов и роман «Побег куманики», вошедший в шорт-лист Премии Андрея Белого (2007).



ПРОЗА

Нина Горланова <i>Повесть журнала живаго</i>	5
Александр Медведев <i>Придурки</i>	87
Лена Элтанг <i>Каменные клёны. Отрывок из романа</i>	106
Елена Сыромятникова <i>Баньши</i>	115
Татьяна Бонч-Осмоловская <i>Вверх по дороге с курицей в корзине</i>	126
Манук Жажоян <i>Рассказы</i>	130

ПОЭЗИЯ

Полина Барскова <i>Скобки</i>	138
Алексей Ивантер <i>Между низким и высоким</i>	154
Натаалья Горбаневская <i>Мартовские стихи</i>	156
Лариса Миллер <i>Стихи: январь - май 2008 г.</i>	159
Михаил Яснов <i>Мы живём в обратной перспективе</i>	163
Валерий Черешня <i>Три стихотворения</i>	168
Алексей Макушинский <i>Свет за деревьями</i>	171

ЭССЕ

Владимир Гандельсман <i>Био</i>	179
Олег Вулф <i>Три эссе</i>	189

КРИТИКА

Роберт Чандлер <i>Из жизни стрелочников и поездов</i>	193
Сергей Бардин <i>Окопный капитан, или любовь к электричеству</i>	198
Ирина Служевская <i>Диалог о Данте</i>	217
Валентна Мордерер <i>"Меркнут знаки зодиака..."</i>	225
Валентина Полухина <i>Литературное восприятие Бродского в Англии</i> ...	230

ПЕРЕВОДЫ

Григорий Кружков <i>Рассказ по картинке</i>	247
Драгиня Рамадански <i>Лицом к лицу с переводчиком</i>	257
Ирина Машинская <i>Об стекле</i>	264
Александр Вейцман <i>Максвелл и переводы</i>	270

ОКНО В ЕВРОПУ

Ирина Машинская *Жертвенник*277

СТОСВЕТ-ФОРУМ

Виктор Клоков *О Борисе Рыжем*284

Игорь Фролов *Рыжий, но не конопатый*302

ПЛАВАНИЕ

Александр Генис *Тени в Нью-Йорке*314

IN MEMORIAM

Константин Плешаков *Александр Сумеркин: труды и дни*..321

Нина Аловерт *Милейший Саша Сумеркин*324

София Чандлер *Только был бы*326

Ирина Машинская *Свет мой*329

Об авторах.....337

ИЗДАТЕЛЬСТВО
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА СТОРОНЫ СВЕТА
www.stosvet.net/lib

Ответственный редактор Ирина Машинская.
Номер составлен при участии Эдуарда Хвиловского.
Обложка, оформление Сергея Самсонова.

© 2009, all rights reserved.

Нью-Йорк
США